Всеволод Н.
Иванов

ОГНИ В ТУМАНЕ

РЕРИХ — ХУДОЖНИК — МЫСЛИТЕЛЬ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1991

Составитель
Юрий Викторович Коноплянников

Всеволод Никанорович Иванов

ОГНИ В ТУМАНЕ
РЕРИХ — ХУДОЖНИК-МЫСЛИТЕЛЬ

Художник *И. В. Френкель*

Редактор И. А. Николенко
Художественный редактор Е. Ф. Капустин
Технический редактор Г В. Климушкина
Корректор Г И. Иванова

ИБ № 8290

Сдано в набор 27.09.90. Подписано к печати 18.04.91. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 20,36. Тираж 75 000 экз. Заказ № 670. Цена 3 р. 20 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Государственного комитета СССР по печати, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Иванов Всеволод Н.

И 20 Огни в тумане. Рерих — художник-мыслитель.— М.: Советский писатель, 1991.— 384 с.

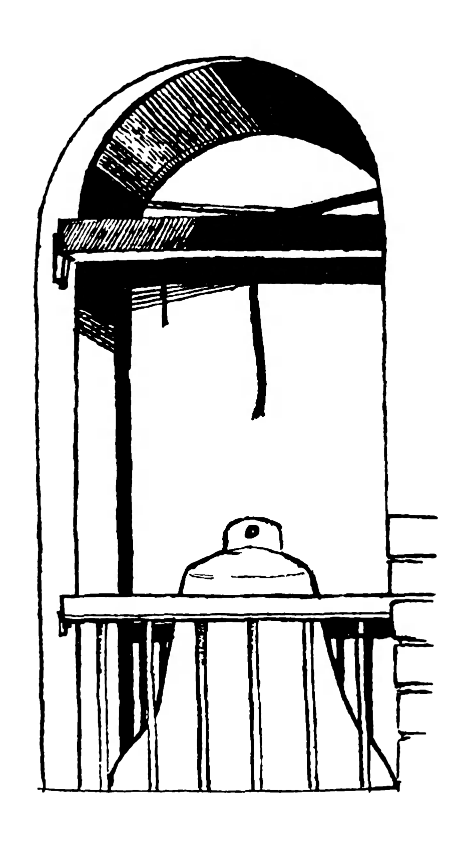
ISBN 5—265—02163—9

Вниманию читателя предлагаются очерки известного русского писателя Всеволода Никаноровича Иванова (1888—1971), долгое время находившегося в эмиграции. «Огни в тумане» — блестящая политическая оценка Октябрьской революции — увидели свет в эмигрантском Харбине в 1932 году. В 1940 году в Риге были опубликованы очерки «Рерих — художник-мыслитель», посвященные нравственным исканиям оригинальнейшего русского ученого.

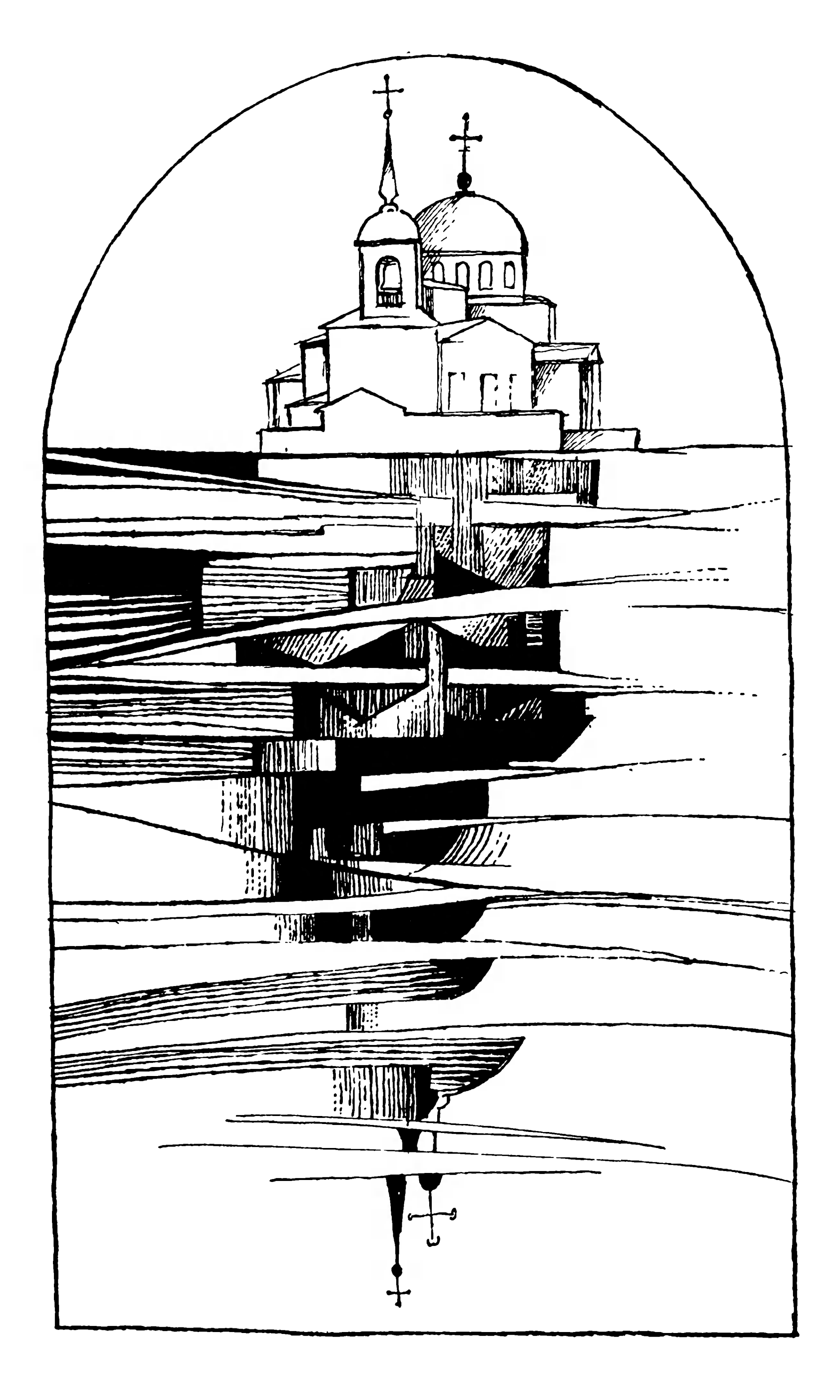
Публикация этой книги — свидетельство продолжающейся революции мышления.

И $\frac{4702010201-156}{083(02)-91}$ КБ—17—33—90 ББК 84 Р7

ОГНИ В ТУМАНЕ



ДУМЫ О РУССКОМ ОПЫТЕ



Туман над Россией

Пурпурное солнце над изумрудными, серыми водами садится, пылая над Владивостоком.

Курятся аметистовые дали сопок. Тонкий, предвечерний дымок овевает их, усугубляя воздушную перспективу. Между домов, между зданий поднимаются сопки, словно из картона вырезанные, одна за другой, слой за слоем. Скоро фиолетовая тьма нальется в долины, подобная вину из дикого винограда, и там, в глубинах долин, словно сыпь, выступят первые огоньки домов.

Зеркала Золотого Рога, изогнувшись, обегут черные берега. Гуще мрак моря, солнце все дальше, и вот через сопки, перегнувшись, как огромная гусеница, брюхом шурша по лесистым, аметистовым острым вершинам, ползет страшный туман. Он распространяется над водами залива, где тараканами ползают «юли-юли», и скоро вступит как победитель в город.

Но пока этого нет. Пока еще нет сияющих тускло пятен вокруг электрических фонарей. По Светланке, роскошной улице, на которой видны еще следы былого величия и которая блестяща, как хорошо сшитый, хотя и сильно поношенный костюм, льется толпа. Вечный флирт, вечное одно и то же, в фиолетовый вечер — голубая любовь.

Еще пахнет зноем, еще дышат нагретые улицы, бензин автомобилей щекочет ноздри. Вот, как пробуждающееся чувство в пошлых словах, как отличная песенка в обычном репертуаре, дохнет запах, густой, пряный запах весны, сырой запах зелени из низенького сада.

Толпой нахлынут воспоминания:

Люблю я приют ваш печальный,
И вечер деревни глухой,
И за лесом благовест дальний,
И кровлю, и крест золотой...
Люблю я немятого луга
К окну подползающий пар,
И тихого, тесного круга
Не раз долитой самовар...

И только когда встанет это чувство, яркое и победительное, только тогда понимаешь, как много потеряно. Все как

будто бы то же. Вот море, вечное зыбучее море, изумрудная Талатта древних, и этот болотистый запах ландышей, и звезды, что проглядывают уже в синеватой парче небес, и огни нагорных домов, что сливаются со звездами. И все-таки — не то. Что-то потеряно, отсутствует какая-то уверенность восприятия...

Американские моряки, в своих поварских шапочках, в обнимку идут к себе на крейсер. Они только что простояли часа два-три перед стойкой в кабаке на Китайской и танцуют ван-степ. Уверенна походка, уверенны движения. Крейсер встретит их, как своих; где-то есть край, куда им хочется поехать, вернуться, куда, наконец, они могут поехать. Правда, они от него далеко.

А мы — мы как будто бы повисли в воздухе. Нам до всего одинаково далеко, до всего близко. Домой нам нельзя, хотя мы словно и дома.

Генерал К. П. Нечаев, ведший своих людей в каппелевском походе, говорил мне про своих солдат:

— Я говорю им: ну вот, братцы, скоро к Тихому океану подойдем... А один меня и спрашивает: «А что, ваше превосходительство, он замерзает?» Он, понимаете, и через океан готов!..

Мы изгнанники. Дом, край, родной быт заслонило что-то, чего не понять, но мерзость чего чувствуешь всеми фибрами души. Нельзя спать спокойно! Нельзя думать спокойно. И нет дома! И нет базы!

В каждой душе живет, просыпается это сознание невозможности далее такого существования. Ни вино, ни любовь! Легка, доступна весенняя любовь в такое время — но она не веселит сердца человека.

Густой сырой запах ландышей носится в крепнущих сумерках. Из-за гор пришел туман и уже втянулся походом в город. Сырость и мрак. Тревога и неясность. Огни в тумане...

— Туман над Россией...

О горькой истине

Истина, Правда! Какие высокие, прекрасные слова.

Стыд, кто бессмысленно тужит —
Листья прошепчут — «он нем»!..—

пели у нас в Костроме семинаристы, катаясь в лодках по ало-золотой, парчовой Волге в тихие майские вечера, когда веет с берегов сырым, сладким и тяжким духом цветущих черемух, а с колокольни в стиле барокко Успенского кафедрального собора несется мелодичный перезвон соборных часов, регулируемых отцом протодьяконом, часовщиком-любителем...

Слава, кто Истине служит —
Истине жертвует всем!..

Так пели у нас семинаристы... Им и книги в руки; да и им, как и нам, Истина в юношеских снах являлась некою прекрасною девою, с пылающим светочем над гордой головой, каковой изображали ее картинки в знаменитой «Ниве». Нага она была, и если облекалась в какие-нибудь одежды, то в одежды бурно стремящейся вперед, увенчанной фригийской шапочкой Марсельской Девы, Марсельезы. Вот почему искание правды всегда у нас как-то сводилось к потрясению тронов и к чтению «политических экономий», где таились все премудрости. «О Боге, мире, душе и всех вещах вообще», как гласило название одной старинной философской книги,— и все это за 20 копеек на плохом одесском языке.

Во всех таких обиходах и закоулках нашего быта с самою Истиною произошло что-то страшное... Мы позабыли, затеряли где-то ее огненный облик, облик Огненной Девы. Она не ужилась в облысевших головах, истертых форменных фуражках с разноцветными кантами различных ведомств.

Ушла.

Она превратилась в столь нам знакомую, скучную, как обыденность, привычную, как жена,— горькую правду.

Я вам должен сказать всю, всю правду, хотя и горькую правду,— говорит некто, и глаза его пылают...— Вы — свинья!..

Забыты порывы, увлекавшие нас в общем вихре за огненной мантией Прекрасной Девы; забыты слова этических категорий — товарищ, брат, которыми в славном подъеме обменивались, перебрасывались спутники... Ибо нет самой ведущей их за собой Истины, нет духовного родства между собою.

Каждая уважающая себя газета, дабы избегнуть подозрения в бутербродности, должна была непременно говорить «правду, только правду», причем чем правдивее газета, тем правда, непременно, горше.

N. N. слямзил миллион,— говорит такую правду какая-нибудь демократическая, независимая газета,— уберите его ко всем чертям, а то он сопрет еще вдвое.

Заглавия пикантных, самых интересных статей полагались приблизительно следующие:

«Закулисные материи»...

«Больше света»...

«У общественного пирога» и т. д.

И ради такой «правды» человек был готов на все: на штраф, на суд, на смерть, на ссылку — все равно. Он готов пострадать, он готов отдать душу за «изобличение».

И горькая правда становится смертной правдой. Человек начинает осматриваться, вынюхивать своего ближнего: «черт его знает, не прохвост ли он?» А у самого за пазухой припасен уже этот камень: «а знаете, м. г.», и т. д.

Я не знаю, куда делась прекрасная дева Истина, воительница. Я знаю только, что перед нами стоит и холодно смотрит на нас это костистое, сухое существо с бесстрастными, холодными глазами — Горькая Правда.

Что ж! Имя Правды существо это носит по полному на то праву... Это правда, но правда особенная.

Можно, например, весь мир рассматривать с ассенизационной точки зрения; это — тоже правда, от этого никуда не деваешься. И если видный оппозиционный общественный деятель устанавливает наблюдение за женой другого общественного деятеля — не слишком ли она дорога для того, то, во-первых, он пользуется этой санитарной точкой зрения, а во-вторых, отсюда уже готова родиться правда: «Я должен сказать прямо и откровенно. Туалеты мадам Сидоровой в три с лишком раза превышают своей стоимостью доходы мусью Сидорова. Кавеант консулес!»

О, оппозиционные деятели! Заметьте, что именно они всегда выступают, как представители общественности, под знаменем Горькой Правды... Путешественники передают,

что во время оставления Перми пепеляевскими войсками представители той части населения, которая по преимуществу называется общественностью, напечатали свой манифест, в котором они заявили, что они не раз указывали уже правительству на его ошибки, но оно им не вняло...

Не послушал,
Вот покушал —
Ну, теперь вина твоя!

Они же уходят и умывают руки...

Необходимо отметить, что прокламации эти в Перми уже расклеены не были — не успели,— а ехали в чемоданах вместе с парой рубах и прочим необходимым походным имуществом и расклеивались лишь по дороге, в виде прощального привета.

Грешен, но мне кажется, что и вся наша общественность, вся наша демократия в широкой публике понимается именно под знаком горькой правды, именно как гарантия, как бы кто бы кого бы не обдул. Вспомните все популярные статьи в газетах после революции с обоснованием народоправства. Суть их сводилась к следующему: «Правил нами один человек, царь, и втихомолку обделывал свои делишки... Кшесинская! Распутин! Протопопов! (Аргументация в государственном праве от спальни и полицейского участка.) А вот теперь весь народ будет править, так такого безобразия не допустит».

Никакого доказательства от достоинства демократии, как бывало это в прежнее доброе время.

— Общая воля — святая воля,— заявляла Великая французская революция,— она непогрешима, она не может ошибаться. Мы казним во имя ее, мы истребляем все недостойное...

Народ в недостойном большевизме у нас показал кузькину мать народоправству

— Или это — тоже горькая правда?

Железный век

Неизмеримо трудны в настоящее время задачи русского человека, который бы захотел сознать окружающую обстановку для отчетливого действия в ней. Беспощадна действительность после крушений, и надо много мужества, чтобы взглянуть ей в глаза.

Еще более трудно это потому, что — как банкрот после разорения — боимся мы, после недавних побед и упоений, поднять глаза на беспощадные итоги, на отчетливые, трезвые цифры.

А между тем сделать это совершенно необходимо, и то колебание в публицистике в последнее время, которое мы наблюдаем, означает, что за привычными косными лозунгами слышны уже шаги новых мыслей.

«Единая Россия» — вот тот лозунг, который воздвигали «мы», и «Единая Россия» — вот тот лозунг, который выдвигают теперь «они» — красные. И если выражением лучших надежд и чаяний служил он для нас, то тем больнее удары, которые наносятся по нему.

События, яркие и беспощадные,— события, правда, сильно затушеванные тем газетным флером подбора специального материала, к которому привыкли мы за последние годы,— материалом волнений, стачек, убийств, деклараций и требований, так что нам уже просто трудно читать иной материал о спокойной и трудовой жизни,— события все же мало-помалу просачиваются через этот материал в наш мозг и начинают там звучать.

И первое, что мы видим, что жизнь мира идет своим чередом без нас, без России. Америка великолепно сыграла на войне и выиграла. Англия уже перевела всю промышленность на мирное состояние и довела свой экспорт и импорт до размеров довоенного времени. Франция подравнивается. И даже в побежденной Германии, ограбленной и казненной, все время не могущей найти политического внутреннего равновесия, движение экономической жизни означается неудержимым подъемом марки.

Жизнь идет мимо курящихся развалин революционной России, и что-то не слышно о грядущей мировой революции

даже сквозь преступно подтасованную информацию газетных князей мира сего, даже сами революционные Наполеоны наши занялись беседами о... возобновлении торговли.

В этом воздухе, пропитанном топотом беспощадной живой конкуренции, в этом пыльном и потном дне мирового труда и борьбы все слабее и слабее звучат голоса русских лозунгов:

— Единая Россия.

Более того, даже сам этот переход означенного лозунга из одного лагеря в другой, из белого в красный, что и означает, как не торжество западного мира с его культурным укладом против трагедии России?

В самом деле. Тот, «наш» лозунг «Единая Россия» не был лишь формальным, географическим понятием. В этот лозунг вносилось все содержание обаяния силы, мощи и проч., чем было для нас окутано имя Россия и что мы желали бы видеть восстановленным в том же объеме некий золотой век Сатурна.

— Прежняя великая Россия — вот что стояло на том векселе, по которому нужно было получить с Европы, с союзников — за нашу кровь в Великой войне. Требование и справедливое и совершенно конкретное.

«Единой России» требовали мы, когда мы потеряли нашу Россию, когда у нас отняли ее большевики.

«Единую Россию» требуют теперь большевики, их Россию, ту единую, великую Россию, которую захватили они в 1917 году, с теми дворцами, куда они вошли, полные надежд на скорое осуществление своих задач, где еще чуялось дыхание былой царственной жизни России с той экономически развитой жизнью, при которой захваченные еще не пыльные конторские книги были полны цифр, облеченных в плоть и кровь, и которую развеяли революционеры на сквозняке интернациональных вожделений и международной конкуренции.

Требуют того, чего нет. Мы требовали нашей России, в том прежнем облике, который до сих пор сохранился у нас в памяти и прикреплял нас к образам прошлого, к тому облику культуры и мысли, которые всегда характеризовались как русские и пользовались количественно столь малым влиянием в обществе. Они требуют их Россию, привязанную воспоминаниями к эффектному моменту революции, к жарким потерянным надеждам устроиться посвоему, правда, по-новому, но в старом уютном родном доме.

Требуют того, чего нет,— и именно требуем мы Россию, не поем ей гимны, в наших лозунгах, как существующей.

Вспомним только: ни мы, ни они — ни белые, ни красные гимна не создали, хотя у нас, как равно и у них, были «конкурсы» на сей предмет.

Мы требуем единой России — следовательно, таковой нет.

* * *

Нет?

Да, нет!

Оставив в стороне весь идеологический материал — посмотрим на карту России с карандашом в руках и увидим там лишь прочные чужие закупорки при помощи лимитрофов окон в Европу, полную разрозненность этих новообразований. Единая Россия была, но ее нет.

Что, далее, представляет собой экономически тот переход к натуральному хозяйству, о котором теперь так много говорится, как не разъединение России? Ведь лишь деревня экономически сильна в современной России, только она и кормит город, да и сама ест. Город становится для нее только лишь нахлебником в остающейся еще части его населения, так как другая, большая, пополняет собой кадры деревенских жителей и производителей, замыкающих обмен в тесном своем кругу. Администрация города в настоящее время не польза, а обуза народонаселению, пока она составляет не налаженный аппарат помощи и опосредствования прямых нужд деревни, земли, а жестокую, скрипящую машину для поддержания неотложных, минимальных нужд нерассосавшегося городского населения да нужд красной армии, ведомой воинствующими коммунистами.

А ведь город представлял до сих пор собрание земли, и мы видим, что и город умирает в России. Даже умирает и Москва, та самая Москва, которая стала живым символом и для рвущихся в Москву, и для зовущих к обороне ее. Единая Россия была, но ее нет.

И чем дальше, чем идеальнее становится взыскуемый образ единой России, чем более отрешается он от реальных черт, тем глубже идет фактический распад ее. Ведь изо всех этих групп, на которые распадается она, каждая имеет в виду создать свою «собинную», особую Россию, приемлемую для нее и где нет места противному лагерю. Неживой,

бесплотный характер «единства» этого особо ярко чувствуется в тех совершенно конкретных переговорах об объединении, которые у нас повсюду наталкиваются на самый резкий и решительный отказ. Единство мыслится лишь как единство с приемлемыми группами, за непременной «ликвидацией» некоторых неподходящих элементов. Действительно, как конкретно объедините вы группы русской действительности, образовавшиеся до и после 17-го года, не ограничиваясь лишь созданием гомункулов, не могущих покинуть своей банки?

* * *

Мы живем в жестокий век для русского народа, и самое жестокое для нас, что единой, а значит, и великой России нет.

Что же у нас есть?

Как банкрот, переживающий тягостные дни разорения, обид и горя, пересчитывая, что осталось, разбирает серебряные ложки, женины кольца и серьги, свой уцелевший золотой портсигар, чтобы с этого снова ковать свое благополучие, так и мы должны подсчитать свой материальный и моральный скарб, который нам оставила буря революции.

Нечего стыдиться этого. История говорит, что *со всяким бывает*! И если теперь принято искать аналогии между кн. Пожарским и Наполеоном, на звучных именах сих пытаясь построить в маниловских мечтаниях скорое благополучное будущее для России, то не лучше ли вспомнить тот ворох цветной и металлической рухляди, который однажды был развален на Нижегородской площади! Нам нужны не Пожарские, которые живут до поры до времени на покое, нам нужны сейчас Минины.

Отнюдь не хотим мы сказать этим, что вот-де, братья, раскройте-ка мошны! К сожалению, у нас раскрытая мошна оказывает слишком большую тенденцию таять совершенно непроизводительно. Нам нужна не рухлядь, не запасы, нам нужна осторожная и твердая рука, которая сумела бы воспользоваться тем, что еще осталось, не растаяло, не растащено разного звания воровскими людьми, нужно использование, и практическое использование этих средств.

А эти средства есть, конечно, не в размерах, годных для построения сразу целого государства. Мы должны

обстроить то, что у нас под руками,— окраины, Сибирь, Крым, дабы из этих ячеек потом явилось органическое влечение к целому. Тогда, потом, будет единая Россия, когда естественный прогресс грануляции объединит разрозненное. До тех же пор это будет попытками с негодными средствами.

И первый путь к единству отмежевание от того, что привело к распаду этому, т. е. от большевизма.

Самое тяжелое, что встретится нам на этом пути,— реальное объединение. Не словесное, парламентарное, о котором мечтаем мы быстрою мыслью, а реальное. Не идеальную женщину любим мы, а какую-нибудь совершенно определенную Марью Ивановну, со всеми ее хорошими качествами и недостатками; и объединение, в котором нуждаются сейчас русские люди, не объединение идеальных, туманных, бестелесных граждан, а определенных людей — в погонах и привычках военного, которому и трудно отрешиться от них, да который и не хочет делать этого вовсе, не собираясь считать свою прежнюю долголетнюю службу родине аннулированной и сплошной глупостью; и купца с его привычками и самоваром; и социалиста, который может не видеть крупных успехов русского народа в зверствах каторжан-партизан Тряпицыных в Николаевске-на-Амуре; и всех других, которые как-никак стоят еще на счету жизни в качестве и материала и строителей.

Пока этого нет, пока не призван здравый смысл в голову, пусть стимулом к этому стоит единая мысль, содержание этого жестокого железного века

— Единой России нет!

Кровь царя

Мне только раз удалось видеть покойного императора. Был один из тех изумительных петербургских прозрачных зимних дней, когда Невский проспект в легком морозце казался ослепительным. По солнечной стороне его мимо желтых и багровых старых стен шумел и лился, шаркая ногами по тротуару, поток мужчин в шубах, в легких осенних пальто, дам в мехах.

Сияли окна магазинов, часы Публичной библиотеки показывали своими ампирными стрелками половину второго, когда раздалась громовая команда — Смирно! — над проходившей железным шагом какой-то воинской частью, и в бесшумном черном автомобиле, прикладывая руку к козырьку в ответ на приветствия публики, проехал русский император.

А под вечер, когда в розовом, прозрачном небе чеканился черный адмиралтейский шпиц и бледно-зелеными, аквамариновыми гирляндами сияли могучие фонари Невского, мы сидели компанией в студенческой комнате на Васильевском острове. На стене картинки: босой Толстой, Остров Мертвых, студент в шитой рубашке, сжигающий какие-то рукописи, узники в вагонах, кормящие голубей, и т. д.

В великолепной столице, в этой каменной музыке Воронихина, Растрелли, Фальконета, сидели мы, студенты, сыновья и дочери страны, занимающей одну шестую часть мировой суши, воспитанники огромного 12000-ого университета. И наши книги были: «Журнал для всех», где как-то в одном номере однажды все рассказы были посвящены проституткам; «Современник», где обличался «дурной городовой» и т. д. была и газета «Речь», посвященная тончайшим вопросам конституционного английского права.

И когда я заикнулся о том сильном впечатлении, которое произвела на меня сегодняшняя встреча,— в ответ раздались известные слова:

— Мишура!..

Мишура!..

Они были, в общем, хорошие люди, эти приятели в студенческой комнатке у хозяйки-эстонки Лизы Федоровны. Но был какой-то крупный дефект в их душах. Волга раз-

вертывала перед нами на наших каникулах свои широкие воды: труд и предприимчивость кипели в промышленном размахе, побивая слабых, укрепляя сильных,— а они не знали слова Родина, эти молодые люди, и пели на вечеринках каторжные песни:

Выдь на Волгу. Чей стон раздается...

Или:

Долго я тяжкие цепи носил!..

Какое наваждение! Какая нелепость! Словно кто отвел глаза от бодрого труда, и вот — закружились, заметались бесы...

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам...
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам...

Словно сырым серым туманом затянуло прекрасные, пышные, сильные и изобильные ландшафты родины моей. Нет, не туманом, а кошмарной снежной метелью.

Черный вечер,
Белый снег...
Ветер, ветер,
На ногах не стоит человек...

И вот над всей необозримой русской равниной гудит смертная метель и несутся клубом вещие «Бесы» Достоевского:

Сколько их? Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

— Мы провозгласим разрушение,— говорит подвыпивший, кривляющийся бес — революционер Верховенский — Ставрогину, возвращаясь с «заседания» у Виргинских.— Почему идейка эта так обаятельна? Но надо, надо косточки, косточки поразмять! Мы пустим пожары! Мы пустим легенды! Ну, и начнется смута. Раскачка такая пойдет, какой мир не видел!..

И два, всего два начала для достижения этой раскачки. Во-первых, кривляющийся Верховенский — «не социалист, а мошенник» — заявляет:

> Социализм у нас распространяется преимущественно из сантиментальности. Но самая главная сила, цемент, все связующий,— это стыд собственного мнения. Вот это так сила...

Чужое, чье-то губительное и страстное мнение влекло их, безвольных и слабых, на поводу.

Второе начало блестяще охарактеризовал Достоевский в такой тираде:

> Ненависть тоже тут есть,— говорит Шатов.— Они первые были б страшно несчастливы, если б Россия перестроилась, хотя даже на их лад, и как-нибудь стала счастлива и богата. Некого бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над кем издеваться. Тут только одна животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся!

И эта ненависть, чужая ненависть, как туманом кры́ла все величественные картины нашего исторического прошлого, искажала до неузнаваемости все пышные формы исторической традиции.

— Без исторической традиции нет нации! Мы порвали наши традиции, а вместе с кафтаном — умерла нация! — сказал недавно один умный раскольничий поп. Да оно и понятно. Как можно вести веру «по отцам», когда отцы эти ходили в длинных кафтанах, когда длинные бороды были связаны с культом, когда русская спесь вошла в пословицу; как можно вести традицию от этих чудаков нам, людям в испорченном немецком платье, не то что бритым, а плохо бритым, заменившим спесь — Интернационалкой.

Мало того, что мы порвали с традицией,— мы не просто оставили ее в стороне. Мы возненавидели ее смертельной ненавистью, ненавистью к родному. Правда, мы чувствуем это родство, когда смотрим в театре хотя бы, как лунный свет сияет на обнявшуюся пару в драме Островского «Сон на Волге». Здесь родное! Оно дано нам в искусстве и потому нейтрально. Но попробуйте заменить ваши внутренние идейные действительные стимулы тем национальным содержанием, которое дышало в груди старых строителей России,— и вы увидите, как навстречу вам уже обернулось чье-то искаженное злобой и сарказмом лицо:

— Квасной патриотизм!

Бедняки, живущие на окраинах города,— мы перестали замечать, как гнетут нас маленькие, низкие наши комнатки, где словно предосудителен комфорт и неизбежна печальная богемистость. Мы забыли, что у нас есть легкие, красивые

своды суздальских и ростовских церквей, изящные взлеты веселых костромских и ярославских церквушек, этого подлинного искусства здоровой буржуазии. И как ненавидели мы нацию, так же возненавидели и религию.

> — Об атеизме говорили,— рассказывает тот же Верховенский,— и уже, разумеется, Бога раскассировали. Рады, визжат! Кстати, Шатов уверяет, что если Россия будет начинать, то чтобы непременно начать с атеизма. Может, и правда!

Правда! Мы теперь видим, что правда. В Интернационале мы распяли нацию, убивая свою душу. А Христос? О, если бы Он пришел теперь, Он был бы не распят, а расстрелян в Чека.

> Желтое тело Христа
> Вздыбливаем в Чрезвычайке...

поет один из молодых поэтов.

Вот оно, пожалуйте!

Ну что же, какая же участь при этом всем могла ожидать нашего императора, как носителя единоличной власти, третьего исконного утверждения былой действенной русской души?

В Екатеринбурге, на площади, как раз против собора и Харитоновского сада с трескучим кафешантаном, словно врос в землю маленький домик купца Ипатьева, где был расстрелян Юровским русский император... Ипатьевский монастырь и Ипатьевский дом обнялись в едином трагичном цикле.

Живя в Петербурге, мы отрицали Петербург. Живя в нации, мы отрицали нацию. По паспорту православные, мы глумились над верой и над попами. Мудрено ли, что, гонясь за народом, мы истребили свою народную государственную власть?

Много крови было не омыто за это время, но выше всех кровей, выше миллиона пурпурных столбов курится кровь русского царя. Уже теперь, через три года после этой беспримерной жертвы царей за Россию, начинает все ярче и ярче вставать сознание — да что же мы сделали?

Молчаливы поруганные тени предков и национальных героев. Молчат сброшенные с пьедесталов их монументы, несказанно оскорбляя тех, кто их ставил. Молчит поруганное Божество, не отвечая на кощунства над освидетельствуемыми мощами,— ибо грозно сказано: «Не искушай Господа Бога твоего». Но говорит голос, который ничем нельзя заглушить,— голос пролитой крови.

Мы не знаем долга. Мы знаем только грех и его покаянное искупление. И этот великий грех русского народа — путь к его искуплению.

Кровь русского императора будет поворотной осью к тому, о чем говорит неиспорченный полунаукой русский рассудок и русская трезвая совесть, о чем говорит Волга и русские церкви,— к неиссякаемой радости жизни, творчества, к той силе, о которой пророчествует Достоевский:

> — Народы слагаются и движутся силой повелевающей и господствующей, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Это есть сила беспрестанного и беспрерывного подтверждения своего бытия и отрицания смерти,— реки воды живой..

И как эта сила, пусть так же животворна да будет кровь русского царя нашим внукам:

— Ибо она на нас и ча детях наших!

В дымных лесах

В то лето 1918 г под Пермью горели леса. Сизый дым висел в воздухе, синими были от него камские дали, солнце смотрело оранжевым тусклым шаром, и оранжевым светом отливала серая Кама.

И подобная этому же дыму, но незримая, вечная тревога висела в самом городе. Только живший под советскою властью может понять это всегдашнее чувство небезопасности, тревоги, гнета, эту постоянную ломку всех бытовых отношений.

Утром, развертывая бездарные местные «Известия», вы уже ждали, что вам прикажут их ровные строки. Сегодня это было приказание не выходить на улицу позднее 10 часов вечера, завтра извещение, что в случае появления в нетрезвом виде вас ждет казнь, послезавтра вы должны были под угрозой революционного трибунала отнести и сдать имеющиеся у вас мешки. Словно чье-то недреманное, подобное алому солнцу, некое всевидящее око все время следило за вами, регламентируя каждый ваш жест, каждый ваш поступок. Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни предприняли, вы непременно натыкались там на ждущую вас волю. И она особенно подстерегала вас на тех тропинках быта, которыми наиболее широко шла толпа,— на путях материальных потребностей.

Ваша воля крепко спаяна с вашим желудком, и рука власти давила на вас исключительно через ваш желудок. Исчезли, после нелепой, но умышленной нормировки цен, базары. Бесконечные хвосты горожан стояли на улицах у тех пустых мест, у которых *должны были бы* остановиться телеги с молоком или картошкой. Подобно сказочному герою, который увел за собой весь город, не имевший сил отцепиться при прикосновении к его соблазнительному золотому гусю, за такими заветными телегами по улицам, до мест удобной остановки, ползли движущиеся хвосты...

Это желудок тогда двинул толпы пермских жителей вокруг города по деревням, в мошенничество; это он переполнил ими пароходы, ободранные, ограбленные и грязные, с кожаными оревольверенными комиссарами. Появились

удобные жестяные бидоны для молока. Дорожный мешок с лямками через плечо удобно лежал на плечах какого-нибудь «б». статского советника или профессора университета, в то время как его владелец мерно отшагивал версту за верстой, соблазняя имущих крестьян какими-нибудь штанами.

Изощрение шло еще дальше: при подвале парохода к пристани ждала уже вас голодная авторитетная толпа красноармейцев. Штыками бродили они в молоке, ища яиц, прикладом толкали их в корзинах. Искали муку в подушках, и ловкие пермские дамы проносили ее, скрывши... на животе, под видом беременных.

Я видел, как огорбател мешком с мукой один знакомый мальчик. И не было ничего иного, к чему была направлена мысль этого стотысячного города, кроме еды, платья, еды...

Это было два года тому назад. До каких же ступеней теперь доведена эта страшная пытка!..

Этот успокаивающий и отвлекающий режим — режим голода — был специально создан для масс. О, большевики не зря не борются с голодом, они культивируют его, ибо только благодаря этому они и существуют. Голодный народ не забунтует.

Для успокоения же одиночек применялся другой метод. Дом пермского Мариинского Земельного банка, красное трехэтажное здание, было занято чрезвычайкой. Как сейчас вижу товарища Малкова, ее председателя, в широкополой шляпе мальчишку лет 22—23. Когда над Камой отгорал золотой фиолетовый закат и на запрещенных для движения улицах воцарялась теплая прозрачная настороженная июньская тишина, то начинался треск автомобилей. О, этот треск! Люди в шляпах и кожаных фуражках мчались по всем направлениям, и глухие залпы у тюрьмы на сером рассвете означали, что кто-то стал безвредным для дальнейшего процветания советской власти... Так было подавлено все, что только можно было подавить для беспрепятственной работы «ответственных работников». А работы было по горло!..

Наряду с забитым населением, запуганным, нивелированным голодом, смертями, выселениями, выделялись «их» энергичные, бритые или бородатые физиономии. Высокие башмаки на шнурках до колен, кожаные штаны, куртки, которые они давали чистить чистильщикам сапог на улицах, подставляя им свою широкую спину. И женщины одевались точно так же: как сейчас помню одну такую деятельницу на улице. Шла она с портфелем под мышкой, в кожаной курт-

ке, и дымный ветер охлестывал тонкую юбку вокруг тонких ног в высоких сапогах...

У «них» в воздухе висела война. Формировались какие-то части, приезжали части с разных заводов. Вся эта серая расхлестанная шпана переполняла кофейные, кинематографы, сады. Подобно саранче, лилась она по базару, реквизируя, отбирая, почти воруя у редких торговок все подходящее. Она толпилась у ворот своего клуба, на месте былого Благородного собрания, где по вечерам сияли красные лампионы и неслись певучие вальсы.

Это война была всецело их частной войной — народ ее не касался нисколько. Привозили раненых, уходили роты так, как бы это уезжали частные лица. Отсутствие всеобщей мобилизации позволяло не обращать на это никакого внимания. Зато появилось много красного офицерства. Уезжая однажды на пароходике в Нижнюю Курью на дачу, видел, как грузилось из автомобиля на него множество вещей. Тут были кожаные элегантные чемоданы, кофера, баулы, три велосипеда — два дамских и мужской, отличное охотничье ружье,— какое-то нарочитое собрание буржуазных роскошей. Вещи суетливо и точно, по-денщицки грузили два красноармейца. Потом они остановились, вытянулись, и огромного роста молодой офицер, с двумя дамами под руку, прошел на пароход, ласково бросив: «Скоро, товарищи?»

По улицам замелькали автомобили с местными дамами в обществе «б». бравых полковников и капитанов, которые при безопасном представлении неукоснительно называли свой чин. Лился рекой легко доставаемый из акциза спирт, и всем этим «спецам» покамест приуготована была веселая, легкая, не требующая размышления жизнь.

А у них все шло своим чередом. Ночуя как-то из опаски не дома, у одного недорезанного буржуя, я в продолжение целой ночи сквозь тюлевую занавеску окна наблюдал, как вечером, с наступлением запретного часа, омертвившего улицу, ожила, как по волшебству, гостиница напротив, занятая под «ответственных работников». Мы сидели в темноте, а она сияла квадратами своих окон; к подъезду то и дело подкатывали автомобили, причем наиболее ретивые из приехавших кожаных курток лезли прямо в окно. В верхнем этаже замелькали женские силуэты и зазвенело пение...

Это была изумительная, фантастическая картина! Может быть, только Эдгару По было бы под силу описать ее. В пурпурно-синих сумерках еще раннего часа, грохоча и

дымя, мчались по улицам автомобили-грузовики, на которых из интендантских складов «эвакуировалось» снаряжение. На них, нелепые, раскоряченные, вцепившись обеими руками в веревки, сидели и мчались с развевающимися волосами монахи и священники, работающие по погрузке... Блистая прожекторами, пролетел автомобиль Степки Окулова, военкома. Мерно, точно тяжко вздыхая в вечерней тишине, мягко гремел паровой молот под прибрежной горой в Мотовилихе, и вдруг вздохи эти прорезались отчаянным заводским гудком:

— По каким-то причинам ночью происходила экстренная мобилизация...

Толпы людей в одну из таких ночей ломились в архиерейский дом, чтобы взять епископа Андроника. Им не отпирали, пономарь на колокольне кафедрального собора ударил в набат, по нем открыли стрельбу, и колокола жалобно и тоненько звенели на весь город под пулями. В освещенную лампадами и свечами ночную домовую церковь, полную мужчин и женщин, сторожащих владыку, выбивая стекла и двери, лезли с ругательствами вооруженные люди.

Епископа, в последний раз благословляющего свою паству, все-таки увезли в синие сумерки дымящейся ночи, и больше его никогда никто не видел...

В одну из таких ночей также бесследно исчез из номеров Королева великий князь Михаил Александрович, и тоже по направлению к Мотовилихе.

В одну из таких ночей в Екатеринбурге бесследно исчез император Николай II.

Сторож духовной семинарии, где помещался военкомиссариат, рассказывал мне, как в саду, над ночной в звездах Камой, убивали двое из револьверов девушку-машинистку, отказавшую одному из них в любви... Другой же был просто добрым товарищем...

* * *

И в этих, темных ночью, а днем думающих о хлебе домиках Перми жила одна общая дума, одна общая мечта-избавление. Там, знаете, не было разговора об интервенции... Взятие Екатеринбурга чехами прозвучало как благовест в такую дымную ночь... Известия об успехах Корнилова на Дону звучали как молитвы... А чехи, чехи! Какими героями казались они нам тогда!

После 25 июля, после взятия Екатеринбурга, власти объявили мобилизацию всех офицеров. Это был решительный шаг. Раньше они ограничивались лишь приглашениями...

В назначенный день пошел я в комиссариат. Длинные очереди офицеров по родам оружия тянулись к столам. За столами их записывали, заносили, как баранов, в списки, несмотря на их ворчанье и насмешливые разговоры. А ранее приспособившиеся снизу уже уносили ботинки, белье и даже — даже по фунту колбасы! Вот — чечевичная похлебка!

И во всем этом душном людском стаде, сбившемся по пропахшим прежними семинарскими запахами коридорам, чувствовалось одно — не было вождя, не было того, который бы построил его в порядке, скомандовал... и оно бы с радостью пошло за ним.

Не было стержня, не было выхода, а надо было на что-то решиться. И вот трое нас, офицеров, прямо из семинарии, не записавшись, ушло в лес, в дымные, сизые, полные гнуса, т. е. мошкары и комарья, леса, что сплошным зеленым кольцом окружают Пермь...

К нам подобрался еще народ. С револьверами в карманах, грязные, прокопченные дымом вечных курушек от комаров, лишь изредка выходящие на берег Камы, питавшиеся зачастую молоком, надоенным у заблудшего в чащу стада, мы если еще и не были партизанами, то, во всяком случае, людьми, впивавшими в себя прелесть свободы и впервые ощутившими благодетельную, освободительную прелесть оружия.

Дни в зеленых залах лесов, заваленных буреломом и трухлявыми трупами лесных великанов, медвежьи следы, ночевки в курных зимовьях, перевалы с места на место, наконец, изумительные, потухающие над лесными озерами, истекающие кровью вечера, ночи, полные особых, никогда не познанных переживаний и ощущений,— все это было, все это было так далеко от коммунистического бедлама, что мы отстреливались, как дикари, уходя десятки верст от наседавшей на нас погони после одного неудачного поджога железнодорожного моста.

И все сильнее становился стон...— Да где же связь? Где же начальство? Где же поддержка?

Казалось, что скоро придут из Екатеринбурга. В этом нас уверял бравый полковник Н., которого мы с его женой, пол-

ной барыней на высоких каблучках, уводили лунной лесной ночью в безопасное место.

Через две недели они будут уже здесь,— говорил он, поддерживая под руку свою измученную супругу.— Через две недели... Но, дорогая, крепись, крепись!.. Мы должны быть комильфо здесь, как и на паркете...

И вот в это время и узнали мы о восстаниях в Ижевске и Воткинске. Все эти несчастные теоретики, которые в войне видят только «бойню», не поймут никогда, сколько радости может принести такая весть! Вы видите, что вы не одиноки. Вы видите, что вы правы, находя себе подтверждение в других.

Мы праздновали эту весть купанием и костром на берегу Камы, которая вся сияла под солнцем серебром в тот послеполуденный час, под густой, черной, прямо под солнце уходящей вершиной горы. Мы знали, что есть такие же, как и мы, и что мы, Бог даст, встретимся...

И мы встретились...

А сколько по всей России таких людей в лесах, которые ждут не дождутся единого зова?..

Но будет такой зов, и мы его услышим здесь, на берегу Тихого океана!.. Мы крепко верим в это!..

Воинствующая буржуазия

Вопрос о буржуазии — кардинальный вопрос русской революции.

Таковым он является не только для нас, правых, самих буржуа. Ведь и левыми русская революция опасливо воспринималась как «буржуазная», и что означало пресловутое, кол ему в могилу, «углубление революции», как не боязнь именно «захватов» буржуазией «результатов» революционной грозы?

Буржуазия и пролетариат — альфа и омега, Ормузд и Ариман русской дореволюционной общественной мысли. И если острый еврейский ум Карла Маркса или расчетливость немецких националистов и видели в буржуазии непререкаемые заслуги как в деле демократии, так и в деле революционного введения новых форм производства, то для русской мысли, лишенной объективности и втянутой в теорию исторического процесса исключительно как в идеологию борьбы, этого не было.

В гегельянском закономерно-автоматическом развитии не «мирового духа», а «мировой материи» Карл Маркс признавал за буржуазией известное право в известные моменты производить социальные катастрофы, каковой, например, была катастрофа 1789 года. Но он признавал в буржуазии вместе с тем огромную творческую способность. Буржуа, как и инженер, были самыми настоящими творцами нового, следовательно, революционерами. Но каждому обществу свое время — и революция буржуа, исходившая из идеологии Просвещения, должна уступить свое место еще более рациональному построению социализма. Процесс истории, таким образом, для К. Маркса был, в сущности, однозначным, постоянно нарастающим процессом, равнодушным к своим участникам, процессом улучшения распределения и производства, а следовательно, и улучшения социального бытия.

Но то, что чудилось фанатику социального рационализма в тиши его кабинета, то, вынесенное на улицу, воспылало ярким светом социальной ненависти, и кровь брызнула из этих квазинаучных построений.

Это случилось в России, стране татарского социализма, о котором говорил тот же Карл Маркс неумному портному Вейтлингу в присутствии Энгельса и П. В. Анненкова, нашего типичного мягкотелого барина, крепостника-интеллигента, праздно бродившего за границей в поисках «новых идей».

Целый поток неглубоких, плоских, но острых мыслей, культивированных на остатках, отбросах, черных пятнах европейской культуры, но лукаво облеченных в тогу «научности», вздорных, но импонировавших своим заграничным происхождением, хлынул в Россию, неся ненависть против буржуазии, формуя в чужие отчетливые формулы, вроде знаменитой теории прибавочной стоимости, свои внутренние национальные недовольства.

По всей нашей стране прокатился единый, созданный кем-то чужим миф о капитале. Если проф. Риккерт в своих толкованиях Рихарда Вагнера говорил о том, что в «Кольце Нибелунгов» именно страшный капитализм является нам в виде могучего дракона Фафнера, то что уж говорить о матушке-России! Всемогущество капитала привлекало наше внимание, и всемогущество косное, давящая сила необычайная, царское великолепие быта.

Чтобы охарактеризовать, как русская и не рядовая интеллигенция представляла себе капитал, напомню, что министр Вр. правительства Скобелев, тот самый, что выступал на Донском кругу в легкомысленной рубашечке и с гребешком на поясе, в качестве явного признака демократичности, допустил однажды в одной своей речи к «народу» следующее заявление:

Деньги, которые нужны народу для его нужд, народ возьмет в банке!

Анализируйте это заявление, и вы увидите, что оно нисколько не отличается от того примитивного представления о банке как о кубышке с деньгами, которое имел русский народ. По Скобелеву выходит, что банк — это большая комната (сейф!), где лежат деньги и где можно брать их сколько влезет.

Скользящая, переменчивая, творческая сторона банковской работы стала наглядно известна народу только теперь, когда, правда, кладовые банков полны «денег», но деньги-то эти ни черта не стоят.

Но миф о капитале как о кубышке, неподвижной и косной, как о собрании чужих слез и крови, как о средстве одного порабощать другого все ширился и рос. Он не отно-

сился уже к области отвлеченности. Он заполнялся содержанием, и в этом всенародном наполнении огромную роль сыграл предреволюционный кинематограф с его обстановочными драмами.

Вот она, пьющая кофе в кровати, развратная и бездельная буржуазия, та самая, к которой приучили нас Щедрины, Писаревы,— все эти Колупаевы, Разуваевы, Подхалюзины,— вот она во всем блеске ослепительных и оскорбительных социальных противоречий, она на экране кино!

И случилось так, что это огромное царство творческой работы и предприимчивости буржуазии, царство фабрик и дорог, торговли, всего того, что наполняло собой материальную сторону жизни нашей страны,— оказалось «темным царством». По крайней мере так ославил его Добролюбов, и все мы наслаждались «рубашечными» драмами и милыми комедиями Островского, видели перед собой не подлинный русский радостный или трагический быт, а вот это самое «темное царство».

Целую область русской жизни и быта мы выбросили за борт в качестве «темноты», «диких нравов», «самодурства», выкинув с этим вместе много подлинных черт русского характера. И интересно подметить диковинный, чисто русский нюанс: откуда это всеобщее презрение к люду «лабазников», «аршинников», «самоварников» и т. д., которое так и светит в каждой строчке писания интеллигентных разночинцев? Откуда это слишком нервное благородство и подчеркивание своих традиций,— не из прогоревшего ли дворянства, неумолимо умирающего и боящегося нового твердого и жестокого конкурента — третьего элемента?

— Может быть!

* * *

Но как ни ошельмована буржуазия и святыми простаками от пролетариата, и бестолковыми мучениками от лукаво мудрствующей интеллигенции,— она жива, жила и будет жить.

Помнится, на картине Кустодиева, талантливого художника, живописующего сладостную буйственную жизнь, хотя сам он был калекой со схваченным железным корсетом позвоночным столбом, изображено «Чаепитие». За столом, под лиловыми гроздьями сирени, вокруг огромного красного самовара, на фоне фундаментальных ворот и тына располо-

жилась купеческая семья. И невольно вспоминается Рубенс, глядя на эти пышущие здоровьем, могучие формы тела, эти простые с хитрецой лица.

Как далек этот быт от привычного интеллигентского, писательского быта, магическими кругами неизбежно уложенного в пределы нескольких «печек»! Печка демократизма, печка западничества, печка дурных городовых и печка постоянных «душевных ломок». Здесь же основной, первостепенный, кондовый, устойчивый фундамент, те элементарно простые отношения, которые, в конечном счете, определяют собой житейские формы.

То апплике под дворянский быт, которое мы именовали воспитанием, увы, удерживало нас от сближения с этим царством. Это ведь — темное царство. Этому нас учил на школьной скамье учитель, в молодости — студент и эсер, в зрелых годах — отличный пьяница, а в старости — повторяющий зады педагог, статский советник. Там, в темном царстве, вообще все необразовано и непросвещено. Там перед дедовскими образáми еще теплились драгоценные лампады. Там еще жили рассказы об Афоне и других святых местах. Там духовник имел вес и слово в семейном совете. Там еще по-старому кичились тем, что они русские, и самодержавие не считали печальным историческим недоразумением и следствием своей дикости, и не горевали, что, сообщая своей молодежи старые, накопленные веками опыты своих дедов и отцов, они тем самым не позволяют ей волочиться чуть ли не в свальном грехе, исследуя так называемую модернистскую половую проблему.

Да, надо сознаться, что это именно было так. И ведь нельзя сказать, чтоб мы не любили этого быта. Даже очень. Мы рассказывали и купеческие анекдоты, разные «случаи из практики», и как-то считали все это недостойным находиться в гостиных нашего духа. В гостиных же сидели половые проблемы, Маркс и Энгельс, английская конституция и хабеас корпусы, Флоренции и Возрождения, а на чердаках, в боковушках жалось то, что принадлежало нам как русским людям, в отличие от интернационального всечеловека, и что, явленное в искусстве в переливчатых красках таких художников слова, как Евгений Замятин, Клюев или Есенин, наш дух наполняет крепким, как запах сушеных яблок, ароматом нашего быта.

Но мало того. Не только замалчивали мы этот быт, а даже были просто несправедливы к нему. Культура делается теперь руками буржуазии, и тем, что мы имели после царя

Петра, обязаны ей. У нас были такие самородки, люди высочайшего и крепчайшего ума, вроде Николая Васильевича Мешкова, человека, пришедшего в Пермь в лаптях, а перед революцией державшего чуть ли не весь камский флот в своих руках и создавшего Пермский университет

И таких русских народных гениев каждый может назвать сколько угодно. Но не в них сила повседневного жизненного дела. Она в том, кто ведет широкую повседневную работу.

На кровавом опыте, на своей шкуре мы убедились, что проблема и техника распределения — огромной важности проблема. Оказывается, простой купец, с его небольшим процентом прибыли, движимый простым естественным инстинктом к стяжанию, поставленный в рамки мудрого закона, может куда больше сделать, нежели идиоты с их тысячами барышень-пишмашек в Главкожах, Центроспичках и как их там еще! Оказывается, и мы на опыте это увидали, что выгоднее платить купцу маленький, сдавленный свободной конкуренцией процент, нежели подвергаться карам Чека за провоз 20 лишних фунтов соли.

Оказывается ныне перед взором неунывающего россиянина, что так называемое «темное царство» — уже не такая плохая вещь, это собрание Колупаевых и Разуваевых. Социалистические Колупаевы и Разуваевы раздели куда лучше Россию! Неумолимый, насмешливый и наглядный исторический задний ум заставляет теперь чесать затылок всех этих певцов потребилок и заставляет требовать назад «темное меркантильное царство».

Коммунизма быть не должно — вот что выносим мы из исторических передряг. Значит, должен быть строй буржуазный. Значит, буржуазия должна быть положена во главу угла будущей России.

— Да, но какая буржуазия?

В одном романе, если не ошибаюсь, Г. Манна, есть такая сцена. В кабинете фешенебельного ресторана кутит веселая буржуазная и аристократическая компания. Смеху ради они затаскивают с собой рабочего, любовника какой-то из хористок. Тот напивается и в качестве пролетария произносит обличительную речь. Он грозит, что, в конце концов, «они» разнесут эти роскошные дома и заберут все капиталы, как награбленные. Тогда возмущается глава компании, купец-рыбник, начавший свою карьеру простым рабочим.

— Да,— кричит он,— а ты не знаешь, как целыми днями

стоял я в холодной воде? Ты думаешь, я не умею драться? Ого, мы еще потопаем!

И вот в этом «потопаем» столько веры в себя, в свою миссию, что больно становится за русскую буржуазию.

Тут — нет этого «потопаем». Русская буржуазия смирна, как овца. Как-то раз в начале 1918 г. встретил я одного своего приятеля-купца. Дело было в Перми. Шел он под мелким уютным снегом в осеннем пальтишке для конспирации и нес под мышкой сверток.

— Ты куда, Федор Васильевич? — спрашиваю.

— А в совет собачьих депутатов! Деньги несу — контрибуцию, сволочи, наложили!

— Сколько?

— Двести тысяч. До чего жалко!

А в то время в Финляндии генерал Маннергейм производил в городах по ночам пробные тревоги. По тревожному гудку пустынные улицы переполнялись бегущим народом. Окна светились, надевалась дома форма, схватывалось оружие, и один Гельсингфорс в 15 минут выстраивал 18 000 человек, в отрядах разного оружия.

Это была знаменитая организация белой финской армии. То вооружалась буржуазия не для того, чобы при помощи изуверских Чека проводить новый государственный строй, а для того, чтобы защищать свое право и свободный порядок*.

Известны и поучительны те методы, которыми пользовались финны-буржуи для борьбы с красным зверем. О, это же их методы. Конечно, уничтожались всякие рабочие политические организации. Конфисковывались средства профессиональных союзов и т. д.

И какую решительность и силу проявили в том же году германские буржуа, которые в одном из городов Германии блестяще провели забастовку буржуазии.

Крепкие люди из-за чайного стола под тыном в России — не столь крепки, увы. По лукавству, отсутствию решительности, отсутствию навыка к общественности, к организации,— все это накладывает на них свою печать, и потому поголовное беженство (на что сетовал покойный Верховный Правитель, адмирал Колчак) почти единственный ответ русской буржуазии на совершающееся над нею издевательство.

---

* Удивительно, что до сих пор, кажется, эмиграция наша не имеет ни одной книжки об этой организации.

И прав Достоевский, говоря, что «Россия, это — страна, где все может произойти без всякого сопротивления».

У буржуазии нашей не было развито классовое самосознание. Если большевики взяли власть, она поддалась им так, как привыкла поддаваться всякой власти. К тому же у нее ранее выбит был и политический ее устой, привычный политический строй. Ведь о монархии не говорили даже конституционалисты-демократы — ка-де, а Керенский издал такой «основной закон», что в России-де обязательно должна быть республика! Послушает ли его история, нет ли, а у буржуазии, любившей, правда, побаловаться в либерализм, отнято было всякое конкретное представление о конкретном государственном порядке.

И если по ходу событий буржуазия должна была бы стать воинствующей, технически она не могла этого сделать. У нее не было идеологии.

А мысль так ясна. Если социализм — учение пролетариата, то несоциализм — учение буржуазии. Ясно.

Поэтому Несоциалистический съезд во Владивостоке образует целую эпоху в русской общественной мысли. Решительно и твердо пошло отмежевание от социализма, впервые начался поход на социализм.

Поход начался под лозунгом буржуазии, а именно — все демократические права, но в чистом виде, а не в виде переходной ступени в царство социализма. Национальное солидарное государство, а не удобства отдельных тех или иных классов — вот мерило для целесообразных действий и цель всех стремлений. Наконец, разумное использование всех подручных сил страны.

Просматривая, что пишут западные русские газеты, просто диву даешься, до какой степени мало нового в этих бесконечных препирательствах. Все, оказывается, за народ. И все обвиняют друг друга, что за ними нет народа. Народ оказывается, таким образом, подобием того рыбьего дома, который в окошки ушел от хозяина.

Владивосток поставил проблему иначе. Под знаком социализма разваливали Россию. Под знаком несоциализма пойдет ее собирание, и Приморское государственное образование — полный пример возможности такового.

Пусть воют «демократические» газеты — в насыщенный, готовый для кристаллизации раствор русской жизни Владивосток окунул определенный кристалл как точку будущей кристаллизации. Здесь впервые вялая, безвольная русская

буржуазия явилась воинствующей, и на долю братьев Н. Д и С. Д. Меркуловых выпала честь быть первыми в этом деле.

О, конечно, я уже вижу улыбки на лицах! Ну как же так! Меркуловы могут ли быть пророками в своем отечестве? Лабазники! Вот то ли дело еврейчик из Центросоюза,— он может править Приморьем, ибо есть сама воплощенная гарантия демократизма. Разве могут быть у нас Минины?

И то, что не в центральной России, где буржуазия была скована сетью дедовских традиций, впервые выступила буржуазия на защиту своих прав, а здесь, на Д. В. где пионерская смелость и размах сливаются с морскими просторами, есть неоспоримое указание на внутреннюю силу проявления воинствующей силы буржуазии. Здесь раздалось впервые это «*потопаем*», которого долго ждут и молчат в центральной России.

— Потопаем!

Долго и вяло идет вначале организация русских. Вот, например, в каких муках рождается объединение тех же беженцев торгово-промышленников. А между тем это так просто! Люди обладают миллиардным недвижимым имуществом. Организовать общество, установить круговую поруку и занять под это имущество деньги под хорошие проценты, хотя бы в той же Америке, ибо невероятно, чтобы коммунистический строй не сдох. Разве невозможно? Однако мы видим, как бьются здесь эти люди в самом начале их организации и у них ничего не выходит.

Но придет пора. Откроются крепкие ворота у еще уцелевших от погромов домов, выйдут оттуда эти крепкие здравомыслящие люди, заявив свое право на управление своей страной и своей судьбой, поняв, *что* они представляют собой для государства, и тогда брызнут новые, свежие зеленые побеги на изуродованных, обрубленных стволах русской народности, потому что не могут истребить чрезвычайки в три года то, что жило целые столетия. Но для этого буржуазия должна стать воинствующей,— и это кардинальный вопрос нашей революции.

Проф. Д. В. Болдырев

Год тому назад, в мае месяце, в Иркутской тюремной больнице умер от последствий сыпного тифа, весь в ранах и язвах, молодой профессор Пермского государственного университета по кафедре философии Дмитрий Васильевич Болдырев. Умер, не дождавшись над собой суда Омского революционного трибунала, которым был приговорен к смерти и расстрелян наш общий друг, руководитель и соратник по Омскому бюро печати А. К. Клафтон.

Трудно гадать о том, что было бы на этом суде с Дмитрием Васильевичем, но думается, что и на той дороге его ждала смерть.

Слишком прям, слишком резок был этот чистый человек для нашего смутного времени, и время поглотило его.

Но он остается жить в нашей памяти, памяти всех, знавших его, как воплощение Омска, не того Омска, который опошлили интеллигентски-революционным хлестким именем «колчаковцы» — явления российски сумбурного, вроде «керенщины», «атаманщины» и т. п. Был у нас еще один Омск, который занял в историческом ходе судеб России неотъемлемое свое место, как первое, на много лет, выражение русской идеи.

Мы настойчиво требуем признания светлых мест омской жизни. Ведь не там ли создано то, что нам, теперь рассеянным, в Голусе сущим, кажется недосягаемою далекою целью:

— Национальная русская власть над национальным русским обществом!

* * *

— Омск!

Маленький сибирский городок над бескрайними просторами сибирских киргизских степей, с крепостцой, напоминающей Белогорскую крепость в «Капитанской дочке», оберегавшей когда-то подступы к государству, сибирский Омск, где в ссылке билась национальная мысль, где на путях,

истоптанных протопопом Аввакумом, стремились возродиться национальные московские традиции как залог самого существования национальной идеи.

Трагедия, которую оценит наше потомство, трагедия, пылающая из самых ярких идеологических контрастов.

Наше время проходит под знаком разрыва, под звездой противоположности, ибо русская революция, такая свежая и полнокровная в своей сущности, диалектически положила свое отрицание в бездушном и мертвом «татарском» социализме.

В этих восьми стихах безвестного, затерянного в журналах автора противоположности эти встают во всей наготе

Бог дал тело русской свободе,
Только душу он не дал ей;
Не растут души в природе,
Как травы, в несколько дней!
И осталась в ней жить лихая
Прадедовская душа.
Помесь ископыти Мамая
И петровского палаша..

Что на одной стороне? Бездушие полное, теоретический скелет, аракчеевский злой регламентаризм, сплошные, принудительные, проклятые фаланстеры с нищенским, подлым, унизительным равенством еды, в котором, как атомы, взаимозаместимы все обитатели социального рая,— вот одна сторона, московская действительность.

И тем разительнее выступала тогда другая сторона, тогдашняя сибирская жизнь и деятельность. Чего стоили эти свежие утренние базары Омска, где в буйной щедрости из корзин вываливались, лезли, переполняли их огромные перламутровые рыбы, овощи сверкали всеми цветами, от ярко-зеленого до пурпурного, где так блистал кровавый мрамор мяса, «столь приятный», по слову Анатоля Франса, «твердому взгляду римлян»

Той стороне, националистически бесплодной, сухой, как ежедневная вобла интеллигентских обедов, здесь самым бытом, toto geneve отличным от нее, было противопоставлено буйственное изобилие жизни, «фламандской школы пестрый вздор», шумиха и щедрость быта...

Эту противоположность, перемахивающую из рыночного в космический характер, отмечают и сами социалисты Социализм есть социальный рационализм,— обмолвился как-то один из столпов русского теоретического

социализма П. Юшкевич. И действительно, на наших глазах эта продовольственная логика вбирает в себя, шнуряет в испанский сапог голода живую мысль в теоретически любовных построениях по отношению к «ближнему», сама не только оставаясь бесплодною, как посвященная Богу монахиня, но, как фараонова худая корова, пожирая эту тучную действительность по всей России и нисколько не становясь от этого толще.

Пожирается во имя земных благ личное, индивидуальное, пышное, радостное сияние, цветение широкой русской души.

Куда девается она в этой мертвой схеме, в какие пески уходят теперь ее родники?

А из родников этих ведь лился раньше целый кипучий поток русского искусства. На зеленом холме Свияжска, как на бархатной подушке прилежной красавицы рукодельницы золотые головки булавок, вырастали золотые купола русских церквей. Природа претворялась наивно, грациозно и легко в пышные вышивки фантастических коньков, петухов и елочек. Иконостасы зорь перегораживают мечтательные задумчивые вечера, и в золотых иконостасах ее темных церквей от лампад и свечей сияют тоже алые зори Вечернего, Тихого Света... И разве не тем же сладостным перезвоном звучат слова старой бабкиной сказки: «И видит Иван-царевич зарево над лесом, будто месяц встает...»

Нас, русских, всегда окружало это тончайшее эфирное облако удивительных переживаний, которые, затвердев в русском творчестве, алмазами сияют в нашей поэзии.

Но слишком мало всегда у нас было людей, которые, веря в себя, прислушивались бы к этому исконному «перезвону сосен» в своей душе. Этим всегда жила душа; но логические рациональные слова нашего века и нашей идеологии были совсем иными: хотя они говорили о всегда родной нам свободе, но наполняли это понятие иным, не русским содержанием.

Революционная свобода была всегда рационалистична, механистична, а следовательно, социалистична. Мы были косноязычны, думая об нашем тайном и называя его избитыми политико-экономическими терминами...

Но тем и ценнее тогда в эти периоды разрухи и крушения те фигуры, которые слушают, не смущаясь, в своем сердце это цветение души. Какая бездна переживаний и настроений волнуется тогда перед нами в такой личности, объеди-

няя в себе те действительные элементы, которые органически создавали все, что называем мы русским.

Такой именно личностью был покойный Дмитрий Васильевич Болдырев. В нем был огромный непередаваемый дар подойти вплотную к самому явлению, заглянуть в его суть, остаться пораженным новыми открытыми нитями и связями...

* * *

...Омск осенью 1919 года уже трепещет от близкой катастрофы. Фальшивой стала казаться толпа иностранцев, лихим потоком, в упоении победой над немцами, лившаяся в Сибирь, словно в увеселительную поездку от агентства Кука. Беспомощны теоретические «коалиции» политических импотентов. Беспочвенны, безжертвенны, неоправданны все речи, стерты, как старая монета, все, и устные и печатные, слова об «несчастной нашей родине». Надо было что-то элементарно простое, что-то библейское, сильное, свежее, как вода.

В день Преображения Господня, в Патриарший день проф. Болдырев, посвященный в стихарь, выступает перед площадью с проповедью с паперти Омского собора.— Зло надвигается,— говорит он,— красный, безбожный, отвергающий религию коммунизм идет на Сибирь. Этой дьявольской силе должна быть противопоставлена сила св. Креста. Вера мертва без дел; она требует от христианства взять в руки винтовку.

Так началось крестоносное движение, первое, нашедшее доступ к массам, хотя и исходило само от интеллигенции. Начались мобилизационные горячие собрания беженцев, систематическая проповедь в Алтайском, Барнаульском, Бийском, Новониколаевском уездах. Поднимались беженцы, поднималось старообрядчество, мусульманство, и отклики истинной проповеди этой живут еще в тех районах в виде непрестанных восстаний против коммунизма.

Появились на фронте бешено дравшиеся дружины св. Креста и Зеленого Знамени Пророка, и все это было сделано решительностью и пылом горячего профессора и младшего унтер-офицера Д. В. Болдырева.

Целая буря поднялась против дела Дмитрия Васильевича; сетовали на «ничтожные результаты». На фронт было послано до 6000 человек дружинников, не считая готовых в тылу, и это было за полтора месяца работы! Военные,

конечно, критиковали, указывая на «необычный способ набора», и, по обычному невежеству своему, распыляли добровольцев по отдельным частям либо брали из них людей в разные конвои и т. д. Интеллигенция принялась немедленно исследовать это движение с точки зрения лояльности его в еврейской проблеме, на этом несчастном пробном камне на социабельность.

Некоторые резкие выпады в этом направлении вождей старообрядцев дали ей возможность заклеймить «черносотенством» поднимаемое национальное и религиозное движение и на том успокоиться в своем косном покое.

А покойный Дмитрий Васильевич все же был первым новым русским интеллигентом, нашедшим дорогу в сердце народа, дорогу национальную и религиозную.

*

Иначе он действовать и не мог!

Его действия, увенчавшие его жизнь, не были рассчитанным политиканством, ловкой позой, необходимой для увлечения масс.

То был естественный процесс его крепкой, как камень, уверенной в себе души, души героя. Он абсолютно целен и последователен в своих воззрениях.

Выросший в культурной военной семье, давшей целый ряд ученых деятелей, воспитанник Петроградского университета и последователь Н. О. Лосского, он и в философских взглядах своих был идеал-реалистом.

Если, действительно, у крупных философов философия сливается с мудростью, воплощая тем самым жизненный идеал, как то было в пленительные времена античной мысли, то именно таким был Дмитрий Васильевич. Он был абсолютным реалистом в области познания. Все дано, все существует в этой данности, и все есть, о чем мы знаем; время чревато грядущим, и грядущее это так же существует, как и настоящее, разнясь лишь от него степенью существования. Ворота познания вовсе не ограничены одними чувствами. Нет, Бог существует так же реально, как и мир, добро существует так же, как и зло, и они широкими потоками льются в нашу душу. Имеющий уши да слышит их размеренный и торжественный ход.

— Об этом вникании в мировую жизнь божественно поведал Тютчев,— ссылался Дмитрий Васильевич Болдырев:

Померкнул день, настала ночь,
Пришла и с мира рокового
Ткань благодатную покрова
Сорвав, отбрасывает прочь,
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами.

Вот отчего нам ночь страшна!

Ученый, в исследованиях своих по психологии умевший создать своеобразную теорию памяти, он был мистиком, и туда ему была открыта свободная дорога его воззрениями.

В один ненастный октябрьский вечер, трясясь со мной по Новониколаевску на извозчике, возбужденный только что произнесенной в кафедральном соборе проповедью, Дмитрий Васильевич рассказывал о том, как расспрашивал он о мистическом познании у какого-то отшельника, жившего где-то среди лесов и болот Тверской губернии.

— Понимаете ли вы, В. Н.,— говорил он,— ведь этот сухой, маленький старичок с такими ясными глазами, с настроением благословения, вот так же, как и св. Франциск Ассизский,— «брат мой огонь», «брат мой волк»,— ведь он видел и знал и благодать и зло. Когда я спросил его про благодать, он смутился и быстро ответил: бывает, бывает! А об том, как его мучит «он», как сбрасывает с лавки, тащит к лохани, монах рассказывал с жуткими подробностями...

Извозчик, сидевший на козлах, оказался скептиком; покачал он головой и отозвался на речь Дмитрия Васильевича:

Это так-то раньше бывало. Теперь нет.

Почему нет? Или раньше люди не те же были?

— Нет,— обернулся извозчик.— Нынче сволочь народ стал!

Но какая бездна впечатлений должна была литься в так широко отверстую душу! Как широк и богат для нее океан мира, его опыт и как отлично это состояние душевного и духовного богатства, этой полноты душевного цветения от другой, столь привычной схемы:

— Человек произошел от обезьяны. Все продукты производства он должен делить поровну, а его мышление лишь «надстройка над производственными отношениями».

Но не следует отнюдь думать, что как мистик Дмитрий Васильевич был человеком не от мира сего. Думать так — значит иметь превратнейшее понятие о мистиках. Мистики

видят и знают столько реального, что в этом океане реального захлебывается, тонет скала чувственного реального, но вовсе не исчезает совсем. Они слишком реальны, у них — весь мир, и это соединение мистицизма, как распространительного знания, и здравого смысла, как его оценки, всегда составляло свойство русского духа, которое так «тонко и умно», отметил Вячеслав Иванов,

Как через тучи взор орлиный
Обследывает прах долины.
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле.

Не в особом потустороннем мире, «an und für sich» чуял Дмитрий Васильевич и живую силу и живую красоту. Нет, они разлиты здесь, вот в этом самом мире, имманентны ему, и весь мир этот пронизан св. Софией. Премудростью Божией.

В притворе древнего Софийского собора в Новгороде Великом видел он это изображение св. Софии, которое навсегда осталось в его душе. Крепкий стан, девичий лик, шесть крыльев за спиной — вот как воплощена была София, Премудрость Божия, пришедшая в мир.

Профессор Болдырев — один из участников-основателей в 1917 году в Петрограде «Братства св. Софии», вместе с А. В. Карташевым и Н. О. Лосским.

Но «Братство св. Софии» — не просто общество.

В надвигающееся безбожное лихолетие братство это — братская спаянность единою крепкою верою родственных душ, брошенных Роком в этот ночной мир и верящих, что в нем, в его культуре осуществляется внутренняя, имманентно разлитая Премудрость Божия.

И в Перми было основано Дмитрием Васильевичем отделение этого братства. Но бурями хаоса раскидан этот огонь и тлеет теперь разве под спудом...

Проблема св. Софии — проблема культуры, которую выдвигает теперь на первый план западноевропейская водительствующая мысль, вернее — это русское решение проблемы о культуре, распадающееся на две части. Если решается первый вопрос о культуре — что она ко благу, то должен быть и решен второй вопрос — каковы же пути, которыми идет она.

В докладе своем в «Обществе философских и социальных наук при Пермском университете» Дмитрий Васильевич поставил себе и разрешил эти вопросы в докладе о «Школе св. Софии».

Все великие культуры мира, говорил он, имеют под собой религиозное основание. У древнего храма происходят и олимпийские игры и философские собеседования. Но понятие Бога изгнано из нашей совращенной школы. Оно заменено понятием временного «прогресса», странным и противоречивым.

В убийственно меткой, саркастической картине вскрываются Дмитрием Васильевичем все области нашей школы. Естественная наука в механическом естественном законе развития, меняющая живую жизнь, по слову Фауста,

На тлен, на хлам,
На символ смерти, на скелет,—

выдвигает на первый план именно это служение «прогрессу».

А более всех наук повинна в удушении живой жизни история... Что она сделала с нею! Религиозные самые полноценные явления представляются нам в ней какими-то недоразумениями, предшествующими революции; некий французский король, истребивший свою семью, является в ней нам, однако, в качестве верного служителя «прогресса», семь пламенных Крестовых походов проходят в изложении гимназического учителя медленно и печально, «как семь похоронных процессий»...

Наконец — fin de siecle — спорт.

Какому богу служат эти голоногие юноши, гоняющие мяч по зеленому полю? Где, вокруг чего объединены их национальные и религиозные мечты?

*

Нет, только вокруг камня св. Петра, вокруг Церкви должна строиться культура, ибо Церковь — настоящая носительница культуры. Все рушится кругом, вечен лишь он, этот седой камень, старый ствол, зеленеющий свежими побегами, сам недвижимый, но движущий собою все...

Церковь — носительница жизни.

И так велика ее жизненная сила (о, чудесная мысль!), святые ее настолько живы, что не разлагаются и после смерти; и их мощи — сами источники жизни!..

Поэтому на Церкви должны быть решены вопросы социальной педагогики, в Церкви должна обрести свою базу новая грядущая школа, школа св. Софии.

Пышным цветом цветет душа Дмитрия Васильевича, этого великолепного стилиста, когда он описывает красоту, которую вопьют в себя дети, которой причастятся они, когда будут участвовать в роскошных богослужениях, когда в самой природе увидят служение Богу...

Красота разлита в мире, красота спасает мир — говорил своими творениями Дмитрий Васильевич,— но, однако, это лишь одна часть мира.

Весь мир не таков. В нем есть и реальное зло, которое, подобно антихристу, принимает вид добра, чем и блазнит живущих. И вот появляется великолепная статья Дмитрия Васильевича «Пролеткульт», погребенная на страницах омской «Сибирской речи» от 16—17 июня 1919 года.

Основоположения этой статьи таковы:

Идеологами углубляемой русской революции на роль варвара, разрушителя и обновителя старого мира выдвигается пролетарий. Кто же таков этот самый пролетарий. Чего он хочет?

Дмитрий Васильевич говорит:

Надо сказать, он весьма мало напоминает того мясистого дядю с молотом и знаменем, как нам его показывают в гипсовых барельефах и статуях во время революционных торжеств.

Напротив того, мы видим перед собою существо худосочное, со впалой грудью, с бледным лицом в ореоле синих кругов под глазами... Печальный цвет угольных копей, он бесплоден, как та почва, что его возрастила.

Соответственно этому складывается и мировоззрение пролетария. Оно не есть что-либо новое, а жалкая смесь материализма, позитивизма, дарвинизма, атеизма и прочих опивок с буржуазного пира. Но чтобы посмотреть золотые сны пролетария, нужно пойти в кинематограф.

В остроумном изложении Дмитрий Васильевич указывает далее, что издавна уже отмечена туманность положительного идеала социализма. И только в грезах кинематографа видит живая конкретная толпа те пленительные образы, которые и кладет во главу угла своих мечтаний.

Кинематограф дает как раз те грезы, которые отвечают самым заповедным томлениям масс. Он облекает их в формы и показывает затем на экране.

— Это не какой-нибудь рай попов, это рай земных удовольствий, предназначенный для широких демократических масс.

И вот каковы эти удовольствия:

> И как цветок летом в мире, распускается экран картинами деликатнейшей жизни. Воздвигаются чертоги ресторанного шика, возникают виллы среди райских садов, расстилаются экзотические ландшафты с балконов первоклассных отелей. Учтивые проборы склоняются к ручкам дам, скользят лимузины, легкими движениями плеч падает небрежно манто на смокинг и хризантему. Словом, приоткрывается жизнь почти сказочной роскоши, насыщенная удовольствиями, как оранжерея — одуряющим ароматом; какое-то золотое царство праздности и комфорта, где нажим кнопки непременно вызывает лакея и пара магических слов, набросанных на бумаге, открывает несгораемые шкафы банков.

Странная, притягивающая для масс жизнь — интернациональная жизнь, и именно эта роскошная жизнь тщится теперь бушевать в столицах наших:

> — Еще в прошлом году трамваи в красной столице были оклеены афишами о пролетарских вечерах-танцах с конфетти, серпантином, котильоном, летучей почтой, словом, со всеми ухищрениями буржуазной больной фантазии, и не раз в белые ночи доносилось до меня из окон пролетарских танцулек:
>
> — Товарищи, соединяйтесь в гран-рон!..

Таким образом, она ничего не заключает в себе нового, эта quasi-пролетарская культура, ибо она состоит просто в распылении культуры буржуазной с известным ослаблением.

Пролеткульт — это невообразимая смесь убогой роскоши, составленная из разоренных гостиных и выпотрошенных будуаров.

Все эти «социалистические академии», школы «ораторского искусства» — все та же буржуазная наука, но только безмерно разжиженная, разреженная и пульверизируемая в невероятных курсах.

— Дьявол гуляет в мире, в его «идеологической надстройке»,— говорит Дмитрий Васильевич,— дьявол, как начало разрушительное...

И гуляет он не только в безбожных грезах о близком рае бедного городского населения. Большевизм проникает всюду.

В последней книжке «Русской мысли» (ноябрь — де-

кабрь 1917 года) появилась статья Дмитрия Васильевича «Большевизм в Церкви», изумительно воспроизводящая картину состояния русской церкви в указанном году.

Два начала усматривает автор, присутствующий на одном из епархиальных съездов, на выборах делегатов на церковный собор. Государственная власть пала. Нет в Церкви услужливых городовых, осаживающих назад народ. И вот архиепископ, может быть, впервые стоит лицом к лицу со своей паствой.

Архиепископ говорит о том, что поколебалась не только Россия. Нет, Церковь, стоящая на камне апостольских преданий и веры, тоже поколебалась. Идет поход против власти епископа:

> — Но наша церковь епископальная. Если не будете повиноваться епископу, то все погибнете,— говорил с гневной одышкой епископ.— Ибо согласно апостольским преданиям и Отцам Церкви...

Дмитрий Васильевич с грустным сарказмом говорит здесь, что анахронизмом дышали эти слова об Отцах Церкви. Ибо нет Отцов Церкви, а есть товарищи церкви...

И вот, пока владыка с такой жуткой силой говорил о расшатывании церковных основ, дьякона и псаломщики «сорганизовались» в одном из трактиров и там, подобно Самсонам, ослепленным ненавистью к князьям Церкви, «готовились повалить один из столпов ея»...

Это — другое начало. И не удивительно. Церковь ведь только часть, гвардия великой отступающей армии, имя которой — Россия...

Ревут на заседании дьякона, по кочкам обличительного красноречия мчатся псаломщики. Сам епископ не может совершить чуда их усмирения...

Баллотировкою дьякона и молодые люди, укрывавшиеся от воинской повинности во время войны в клире, вотируют архиепископу «недоверие».

> — Одно верю, что человеческое море уходит в своем большевизме из Церкви. На смену массам идут единицы. Настало время разрушения наружных стен Церкви и сокращения ее внутренних цитаделей, до завязи новой жизни и новой культуры.

— Дьявол гуляет в мире,— своим низким, глухим голосом повторял часто Дмитрий Васильевич и, заложив руки в карманы жилета, поворачивался на каблуках.

Всюду вставала, отовсюду надвигалась эта колоссальная российская нелепица. В статье «Парад демократии» («Современная Пермь», февраль 1919 г.) он вскрывает это отсутствие духовного порыва и духовного горения у представителей революционной демократии меньшевистского типа, речи которых на праздновании второй годовщины революции «скучны, как кооперативная лавка»; в статье «Общественность» («Сибирская речь», июль 1919 г.) он зло и едко высмеивает русскую общественность, лишенную в себе творческих сил и поднимаемую по команде, как декорация на блоках, когда государственный корабль попадает в тяжелое положение.

Иные нужны пути, иные, более верные, прочные, утоляющие жажду.

Это — пути веры. Еще в 1917 году предсказывает он возвращение интеллигенции нашей к вере, что наблюдаем мы теперь:

> — Вера есть дитя ужаса и отчаяния. Так, во времена нормандских, лангобардских, татарских нашествий лучшие умы охватывались сильнейшим влечением к монастырям. И теперь, когда высококультурнейший немец обнаружился лангобардом (а теперь и союзники! — *В. И.*), а русский — татарином, лучшие умы скоро поймут, как отчасти уже понимают, что лишь за стеной Церкви сохранят они себя от бесовского одичания. При нашей внутренней немощности смешно говорить о творчестве, о расширении. Нам подобает лишь помнить о сосредоточении, о сохранении, о неугашении искр...

Надо было оборонять последнюю цитадель этого изначально простого, и Дмитрий Васильевич указывает тех, кто должен был делать. Три имени выставлял он в статье «Большевизм в Церкви». И эти три имени суть: Вл. Соловьев, Ф. Достоевский, К. Леонтьев...

* *

Итак, держать огонь под спудом, лелеять искры под пеплом в тяжких стенах русских монастырей, отсиживаться в этих цитаделях...

Таковы были петербургские настроения Дмитрия Васильевича. Взбаламученное море русской действительности поднялось слишком высоко, не оставляя в приливе своем ни малейшего островка.

Но и тогда звучали в писаниях иные мотивы. И тогда уже, в той же статье «Большевизм в Церкви», он указывает, что, «кроме дара благословлять, у церкви есть дар проклинать».

И тогда он готовился выступить грозным изобличителем восстания дьявола.

Тем легче это было сделать в Сибири. Здесь в виде зародившегося и обладавшего уже известной значительностью национального движения Дмитрию Васильевичу представлялся второй камень, второе основание для горячих его выступлений, это — национальность.

Но как неясно было понятие этой русской национальности в том же Омске! В годичный срок существования Омска оно претерпело значительные изменения. Развернутое легко и свободно в 1918 году, в виде клича — «в Москву», в виде нашего великолепного трехцветного флага, трепетавшего так легко и свободно в вихре беспрерывных побед, мчавшихся к Волге, в дальнейшем оно потребовало серьезных поправок.

В первый период изживания наследия и обаятельности былой России, период систематического восстановления старых государственных отношений, период иностранной помощи, понятие национальности нашей было, так сказать, интеллигентским. Интеллигенция первая приняла его, почувствовала и, так или иначе, бесповоротно обрекла себя на сознательную связь с национальной Россией. Последующие переходы ее, страха ради иудейска,— в ряды ли коммунизма, в ряды ли изумляющихся силе совvласти, как то было с дальневосточной прессой и ее писателями,— не снимут, однако, с нее принятых на себя общим восторгом в 1918—19 годах обязательств.

Тем яснее в этом русском интеллигентском национализме выразились все качества нашей интеллигенции. Он оказался весьма легковесным, оторванным от корней.

Из всей триады государства — власти, народа и территории этот национализм упирал более всего именно в территорию, протестуя против ее утраты, радуясь по поводу расширения ее за счет большевизма

И поэтому сразу же обнаружилась бедность его идеологии Москва, Москва! этот клич оказался именно желанием держать в своих руках территориальный ключ к земле русской.

Идеологически желание Москвы было овеяно, подкреплено чуть ли не Чеховым или Художественным театром!

Во всяком случае, они (вместе с московским «Яром») принимали самое горячее участие в сладости грез о Москве.

Надо отметить и то обстоятельство, что освобождение Сибири шло под знаком сибирского областничества, захватившего значительные слои и демократии и кооперации и вносившего значительную путаницу в мозги.

С этими сбивчивыми территориальными понятиями нельзя было подойти к самому народу,— в этом постепенном сдавании национальных позиций было несчастье Омска. Коммунизм захватывал все большие и большие позиции, и невозможно было остановить его шествия, не изменив, не углубив, не уширив национальных лозунгов.

Перед Дмитрием Васильевичем и встала эта задача. В понятие национальности нужно было влить живое содержание ее духа, ее традицию, и здесь он совершенно решительно выдвинул на первый план религиозный элемент.

Церковь выдвинута была базисом для нее. Церковь в ее реальном значении, в реальных членах. А вместе с тем выделилось в своем значении старообрядчество, как наиболее сохранившее дух русской Церкви.

Старообрядчество в разруху революции выделилось своей духовной крепостью и сплоченностью. Уральское казачье войско известно своей стойкостью против «гулявшего в мире дьявола». И оказалось, что не тихие уюты монастырей должны хранить искры немеркнущего света, а хотя бы старообрядческие поселения в пропитанных запахом меда зеленых долинах Алтая, под алмазными шапками его снежных вершин.

К укладу старообрядчества, к его национальному патриотизму особенно сильно лежала душа Дмитрия Васильевича...

— Ведь это было возвращение к допетровской Руси, к ее создавшим Россию устоям!

Так перед ним стояла задача обновления православия, вернее — исполнение Церкви*.

Дмитрий Васильевич явился в качестве пионера подлинной русской культуры, связанной традицией со всею Русью, связанной с народом, как ее носителем,— культуры, нисколько не теряющей в своей тонкости и изысканности.

Как западная массовая культура создана на фоне собора

---

* Карташев А. В. Реформа, реформация и исполнение Церкви. Пг., 1917

готического, так и русская должна проектироваться на ростовский либо суздальский собор, на веселую расписную башню ярославской церквушки — вот была мысль Дмитрия Васильевича.

С неутомимой страстностью, даже яростью громил он опустевший дух русской интеллигенции. Перед ним стояла стена, которую нужно было пробить, и вот, вместо «Братства св. Софии», в Омске учреждается им «Братство святителя Ергомена, митрополита Московского» как знак неустанной национальной патриотической борьбы.

И не только большевизм приходилось побороть Дмитрию Васильевичу...

Своеобразная традиция последних двух столетий нашей культуры встала перед ним сплошной массой, традиция, увенчанная, как своим острием, русской интеллигенцией. Склонность к механическому мировоззрению, знаменитый соловьевский силлогизм «мы произошли от обезьяны, следовательно, должны любить друг друга», русский атеизм, все те «опивки со стола всемирной буржуазии», наконец, пресловутый еврейский вопрос — все стало против него. Даже в стане его единомышленников, национал-демократов, против него гудел протестующий прибой, как против вырвавшейся из глубины моря одинокой скалы.

Своим упорством, упрямством, своей неистовостью он напоминал другого обличителя дьявола, сына цветущей Италии, Савонаролу.

Подобно ему, пылал он совестью, но не больною, а здоровой совестью и, не пожелав предать и оставить национального вождя, обреченного лукавым Западом, адмирала Колчака, погиб в муках и темнице, на костре тифа.

Лишь на фоне Омска, на фоне той русской атмосферы, которая царила в Омске, в этом не уловленном, не оформленном пока еще сознании национального единства была возможна фигура Дмитрия Васильевича. Он первый увидал далекие, первые зарницы национальной грозы, первый возвестил великие грядущие повороты нашей национальной культуры среди косноязычия, непонимания, шума, ренегатства и легкомыслия толпы.

Он был библейски прост, как просты пророки. Смотрите, как проста его «платформа».

> — Час был еще ранний,— пишет он.— Я вышел на набережную. На том берегу белокаменный монастырь только что выступил из туманной пелены утра и слегка розовел. В том монастыре был заду-

шен святитель Филипп. Вот — наша совесть. Задушена ли она рукою Малюты?

Или она еще выйдет из кельи митрополита Филиппа, подобно тому, как Лазарь вышел однажды из пелены смерти? Во всяком случае, все чающие ее воскресения пусть соберутся у этой кельи, у этой гробницы нашей национальной совести, чтобы там основать не временную, а вечную партию митрополита Филиппа. Страх Божий будет ее девизом, бесстрашие перед самодержавным зверем — ее программой, святитель Филипп — ее духовным вождем.

Мы стоим перед радостным морем будущего, но вокруг нас печальное настоящее...— «Скоро утро, но еще ночь...

Это утро видел Дмитрий Васильевич и погиб ради Света Немеркнущего...

Дерзновенны наши речи,
Но на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны.

Василий Федорович Иванов

Да здравствует новая династия
Рабочего Ивана Иванова!
Маяковский

Мы встретились с ним в Омске на Гасфортовской, на зеленом бархатном диване, в маленьком кабинете директора РТА, покойного С. П. Сверженского. Я только что прибыл тогда с фронта из-под Глазова в этот столичный кипящий национальный Омск, с его национальными флагами и особыми горячими позывами к работе. Шумящий Любинский проспект, гудящие автомобили, союзники, иностранные Красные Кресты — все это развернулось в своем неудержимом, ослепительном потоке, тем более еще ослепительном для нас, пермских провинциалов, в Омске привыкших видеть свою подлинную столицу.

Один омский поэт, А. Вощакин, тогда писал:

— Ex oriente lux! — сказали,
Так возрожденье совершится!
Вот веют флаги на вокзале
Над новою столицей.
Прикрыв лицо степного зверства
Культурной беженскою пленкой —
Такою призрачной и тонкой,—
Возникли в Омске министерства...

Так едешь долго до вокзала.
Свистят, шипят, ревут машины...
А всюду — в окнах, на витринах —
Видны портреты адмирала.

Почти ежедневно мы, работники Русского бюро печати, собирались в этом кабинете для информации. И, просматривая наскоро цветные и белые бюллетени пробегающих телеграмм, слушая такие же быстрые отрывистые речи казненного впоследствии А. К. Клафтона, горячие филиппики тоже покойного, теперь талантливого Д. В. Болдырева или слегка в нос тенорково-интеллигентские исторические аналогии Н. В. Устрялова,— я также чувствовал себя оглушенным, как на улице.

Мы знали там на фронте под Пермью и Оханском, что мы делали определенное большое дело На гулких, румяных 40 морозах нас встречали в занимаемых деревнях как желанных гостей. Сидя в жарких избах в наслаждении жирными щами или рисовой кашей, которой кормили тогда пепеляевские части, мы слушали бесконечные рассказы, от к о г о мы избавили этих простодушных людей, наших хозяев. Там была элементарная ясность, гомерическая простота, вроде слов Ницше о том, что «не ваше сострадание, а ваша храбрость спасает людей» Но зато тут, в Омске, как трудно было подвести под нее фундамент!

Мы спорили об исторических путях России там, на зеленом диване, и ни до чего не могли договориться. Как раз ошибочно напрактикованные пальцы при игре на рояле неудержимо будут стремиться повторить ошибку, так и мы неудер жимо повторяли те же ошибки, к которым привыкли еще с детства и юношества, которые мы, русская интеллигенция, всосали с молоком матери.

Конечно, тут, во-первых, была наивная, молодая вера дикаря или, если угодно, «вера угольщика» в могущество Запада. Все мистеры и сэры разных Гэмпширских полков, в Екатеринбурге обучавшие наших Михрюток чистке зубов, доверчиво казались нам носителями самой первоклассной, заграничной культуры, комфортабельной и прочной, вроде английских пружинных кроватей или брюк, и вместе с тем магически сильной культуры, одно прикосновение которой должно было повергнуть во прах всякий некультурный, азиатский большевизм...

Во-вторых, это было несмотрение, как говорят немцы, на то, что такое русский народ так, как понимали его все русские демократические интеллигенты, в образе этакого, получившего образование в высшем начальном, мужичка.

Мужичок этот должен был быть очень практичен, дол жен был понимать, куда идут налоги, сколько стоит ему мужичку, цивильный лист царя и почему ему гораздо более выгодно управляться демократическими министрами в пиджаках, тем более что при таком строе будет «гарантирована» его святая святых, четырехвостка, прямое, всеоб щее, равное и тайное право, самый лучший, на манер английских кроватей и брюк, патентованный способ безошибочно определить волю народную.

Вот поэтому-то мы гадали и рядили о делах союзников, долженствовавших оказывать нам всемерную поддерж-

ку. Вот поэтому-то так жадно мы строили волю народную в виде общественности.

Иностранцы, эти военные коммивояжеры, конечно, надували нас. В общественности мы надувались сами. Подите-ка, создайте «граждан» из беженцев, по самой своей сути гонимых, как сухие листья осенним ветром, из промышленников, ютящихся по комнатам, демократов, трижды менявших ориентацию, с гривами на обе стороны, либо из Кролей, в своей экспансивности забывающих сегодня то, о чем говорили вчера!

Об ком же мы говорили?

Да не о подлинном народе, а о той фикции, которую мы создали для себя через окошко нашего интеллигентского, полунаучного, полусентиментального условно-жеманного воспитания.

В такой-то атмосфере встретился я в первый раз с Василием Федоровичем Ивановым.

Он сам тогда был тоже не такой, тоже еще не умудренный до конца гигантским опытом трех последних лет. У него мысль была тоже скована известной традицией, правда, иного сорта, и на наши реплики он бросал с характерным жестом вывернутой правой руки, с отогнутыми назад пальцами:

— Сословная монархия — вот в чем выход!

Принято ведь думать, что тот способ управления, которым управлялась Россия в течение тысячелетия,— монархия — наиболее нелепый и неудачный способ. И мысль эта, изумительная по полному отсутствию того, что можно назвать хотя бы тенью политического практицизма, настолько была навинчена сознанию широких масс, что неудержимо выталкивала прочь всякие тирады, подобные этой тираде Василия Федоровича.

Он стоял тогда в стороне в Омске, как горячий, интересный, но непрактичный чудак.

Но надвигались испытания. Август месяц. Омск уже трепещет в близкой агонии. А атмосфере близких поражений тускнеют все слова, все найденные и ненайденные лозунги. Это чувствуют все, начиная от чистого сердцем рыцаря — покойного адмирала — до бесталанного Осведверха во главе с милым рамоли — ген. Рябиковым и ныне знаменитым полковником Клерже.— Дайте лозунг! — вот что было лозунгом дня. А кто мог дать народный лозунг, если все находилось в плоской тарелке интеллигентских навыков?

И вот в этой планетной атмосфере куются тогда еще незаметные, но тем не менее значительные национальные лозунги, которым предстоят еще великие пути. Они не новы, эти лозунги. Мы видим их в Достоевском, в К. Леонтьеве, во Вл. Соловьеве. Но лишь теперь они спускаются с неба на землю, входят в толпу, начинают свой культурно-народный путь, когда пламенный проф. Д. В. Болдырев, посвященный в стихарь в Патриарший день, 6 августа 1919 г., произносит с паперти Омского собора проповедь, призывающую в дружину Кр. Креста для борьбы с мировым злом.

Это лишь первый этап. Движение нашло себе отклик. Агитационный отдел РБП *, возглавляемый старым раскаявшимся эсером и кооператором А. Г Соболевым, принужден был как бы расколоться на две части: одну — демократическую, стоящую на точке зрения народного волеизъявления, и другую — национально-воинствующе-религиозную, во главе которой стал вместе с проф. Болдыревым и Василий Федорович Иванов.

Зазвучали его речи, великолепные, пламенные речи, в громадных омских железнодорожных мастерских. Небывалые речи! Кто смел до тех пор, подчиненный какому-то навязанному этикету, говорить подобные речи рабочим? Разве не стало у нас жалкой традицией все речи, обращенные к рабочему, строить на нелепой Марксовой теории ценности, яростно толкуя ему, что толкующий и сам-то плохо понимал из дурно переваренных одесских брошюрок? Кто первый увидал в этом «рабочем» вообще русского рабочего, кто понял его как буйную русскую мастеровщину, революционность которой стала чем-то вроде цехового ее качества?

Это должно быть полной заслугой Василия Федоровича Иванова. До того никто не выходил на действительно народную трибуну с проповедью отнюдь не церковно-ханжеского стиля, а проповедью, построенной исключительно на здравом русском смысле и на национальном чувстве.

Но то, что не удалось тогда в Омске по многим причинам, гораздо глубже было посеяно в Новониколаевске. Цветущий и богатый Новониколаевск, этот в полном смысле Новгород Сибирский, явил картину национального подъема. Зажиточное население его, все время держащее связь со старообрядческими центрами Алтая, представляло

* Русское бюро печати.

из себя чрезвычайно благоприятную почву для национальной организации.

В богатых, изобильных домах сибирских новониколаевских чалдонов, далеких каких-либо ханжества и ригоризма, нашли себе полный отклик речи Василия Иванова, нашли тот неуловимый, чисто русский оттенок понимания, который характеризуется как «свой». Такие фигуры, как Мельников, Дробинин, Копылов, не задумываясь встали во главе этого движения, впервые внося в русскую общественность подлинный национальный элемент.

Известна история новониколаевского совещания общественных деятелей (см. мою книгу «В гражданской войне»). Известны его попытки спасти дело Адмирала от окончательного развала, попытки, которым много мешали глупые и предательские личности, окружавшие Колчака.

Достаточно сказать, что и до сих пор движение это не умерло. Возникшее как крестовые дружины по мысли проф. Болдырева, сорганизованное и подогретое Вас. Фед. во время его деятельности в Новониколаевске, придавшем ему общественный характер, оно живет теперь в виде тысячных отрядов в районе Барнаула, Бийска, Алтая, Канска и Новониколаевска; так, старик-бородач Копылов, новониколаевский купец, сам командует в настоящее время отрядом Св. Креста*

Мы все скорбим по самодеятельности русского народа. Мы мечтаем, что таковая, наконец, проявится, и мечтания наши о том, что кровавое зло — большевизм будет, наконец, сброшен изнутри. Так говорим мы в раздражении на «интервентов», забывая о том, что и интервенты с ними были бы иными, если бы мы сами могли что-нибудь.

Мы скорбим, мы ждем. Но вот приходят люди, которые, оказывается, «могут». Это подлинные народные правые трибуны. Они создают живучие, самодеятельные организации. В чем залог успеха? В чем залог успеха того Василия Федоровича, который именно может?

Он «свой» — вот в чем дело. Происходящий из крестьянско-купеческой семьи, до 18 лет не выезжал в город, выгнанный за «политику» отцом на три года из дому, он после Казанского университета — блестящий казанский адвокат. Но жизнь не сломила его буйную широкую натуру. Вместе с простой, крепкою кровью он несет с собой горячую радость, которая ключом бьет в нашем простонародье,

* Сведения имелись до 1924 г.

в его шутке и юморе в трудную минуту и которой давно не знает интеллигент, сменивший добровольно мировую радость на «мировую скорбь». Он не говорит о служении народу, ибо он сам народ, а народ не думает, не любит думать о себе. Он не ригорист, ибо русский человек не может быть ригористом, так как знает его. В ясном и светлом, язычески-православном гедонизме влечет его к радостям жизни, и не тут ли разгадка этого стремления к буржуазному пиршественному житью-бытью, которое так ясно выражается в революционных роскошествах той же матросни?

Когда я после каппелевского Ледяного похода явился в мартовские дни 1920 года в Читу, меня встретил Василий Федорович Иванов не восторгами перед «героизмом» и «стойкостью», а водкой, великолепной кулебякой с хрустальным бульоном — классической работой его закадычного друга, одного казанского ресторатора. И в этом было столько языческого утверждения, что не хотелось думать о том, что осталось позади, и невольно вспомнился наивный бесстыдный Гомер, рассказывающий о том, как плыли спутники Одиссея:

— ...Далее поплыли мы в сокрушеньи великом о милых Мертвых, но радуясь в сердце, что сами спаслися от смерти...

Вас. Фед. Иванов весь в том мире, куда образованным людям как бы нет хода, потому что там нет никаких проблем. Этот мир здравого смысла, вековых устоев отношений людей между собой, чуткого, совестливого восприятия вековечных идей, не укладывающихся ни в какие прокрустовы ложа «прогресса».

Все это охватывается ясным словом — Родина.

Родина — благая мать в полном смысле этого слова. Недаром у китайцев иероглиф «хорошо» означен двумя знаками — матери и ребенка, соединенных вместе. Это не та Родина, которая воспринимает на свое лоно всякого, кто способен чувствовать ее изобилие, радоваться ее радостью и ее жизнью.

— Да святится имя твое, великая и прекрасная Россия,— закончил свой доклад Василий Федорович на первом Несоциалистическом съезде, в марте текущего года во Владивостоке. И это не слова. Для него она именно такова.

Кого нам надо, каких людей, чтобы избавиться от теоретического кошмара новой аракчеевщины, идеологического коммунизма? Кто должен восстать против этого идиотского утверждения, что социализм, т. е. высшее благо жизни,—

это учет? Конечно, те, которые ярко чувствуют богатства бытия и жизни, те, которые, не боясь смерти, ибо чуют изобилие жизни, тратят жизнь огромными мазками, а не отпускают ее по позорным карточкам.

Как волны вокруг скалы, льнут к Вас. Фед. такие русские люди, ибо чувствуют в нем «своего».

Ах, сердцу не сыскать дороги,
Коли из сердца не исшел! —

говорит еще Фауст.

Только лелея в себе невнятные голоса предков, не стыдясь их, как голосов человеческих, не стыдясь их еще и потому, что они старые, ибо они, кроме того, еще вечны, мог Вас. Фед. неустанно зажигать национальный пожар на Д. Востоке и, наконец, принять участие в том костре, который ярко горит единственно здесь, в Приморье, зажженный Несоциалистическим съездом, первым за время революции выражением русской национальной идеи.

Это не случайно, что Вас. Фед. в этом деле сошелся с братьями Меркуловыми и с ат. Семеновым. Это голос времени, голос тех новых сильных людей, которые, похерив все старые таблицы, выйдут на арену государственной деятельности, и выйдут они не из недр тех идей и групп, которые проиграли революцию и развалили государство, а из тех, которые его строили, выйдут из буржуазии, новой буржуазии, крестьянства, духовенства.

— Какое время, какое время,— пишет Каролина Шлегель своему мужу про эпоху «Бури и натиска».— Какое время! Идеи бушуют, льются, как из водосточной трубы.

Так у нас скоро польются национальные идеи. Они носятся в воздухе, они — в снах, на мокрых от ночных слез подушках заграничной эмигрантщины, в ее намеках — о национальной революции. Они близко, при дверях!

И только теперь, после стольких испытаний, начинаешь ценить не голые идеи, а те личности, кои являются их сосудом, понимать и любить их. Один из таковых — В. Ф. Иванов. Идея в людях живых, а не наоборот — неживые люди, замаринованные в идеях, как там,— вот лозунг И пусть «несть пророка в отечестве своем», пусть «нет великого человека для его лакея», но да послужат эти строки слабым выражением той дружбы, которая стягивает и тем укрепляет сердца для борьбы в этом ночном мире.

Ведь это весело, потому что «вражда — начало всех вещей» (Гераклит).

Генерал Пепеляев

В конце 1918 года я ехал из Москвы в Пермь. По дороге в купе «штабного вагона», куда меня занесла судьба, вошел молодой вихрастый парень в кожаной тужурке и с «декретом» (револьвером) на боку. Держался он чрезвычайно заносчиво, и после скандала с проверяющим документы оказалось, что перед нами — председатель Чеки одного из маленьких городков Костромской губернии — Кологрива.

Разговорились.

Парень оказался не кончившим небогатый курс наук Ораниенбаумской школы прапорщиков, откуда он убежал с революцией.

— И у нас, в Кологриве, было восстание,— хмыкнул довольно презрительно он.— Восстали кто — чиновники, попы, офицеры, прямо сказать — сволочь. Они ко мне ворвались, я чай пил, с женой... Спасибо, жена собой меня заслонила — я из-за нее отстрелялся, а они в женщину стрелять постеснялись... Убежал я... Подошли наши, подтянули артиллерию, стали по городу палить. В городе народ, к снарядам непривычный, белогвардейцев просят — уходите... Они, конечно, и ушли, постеснялись...

— Преследовали их? — спросил я.

— Зачем? — вопросом возразил вихрастый революционер.— Они, белые, походят, походят кругом да назад вернутся... Не вышло, думают, мы забыли! А мы не забыли, нет, мы ждем, когда они назад воротятся. Стеснительные они, конфузливые... А ты — стой!

И грозное промелькнуло в его вихрастом личике.

Когда очередной генерал едет в Совдепию или туда же «репатриируется» (спасибо братьям чехам за словцо!) очередной Михрютка,— я всегда вспоминаю мудрые слова вихрастого парня в кожаной куртке. И генерал, и Михрютка — они смотрят на вещи совершенно одинаково:

— Авось пройдет номер! Авось — забыли!

Скорябает чернильным карандашом Михрютка — своим комбаттантам:

Советская власть очень хороша, езжайте сюды, чего и вам желаем!..

Лихо выстукивает на застрявшей казенной машинке очередное показание генерал:

— В течение шести лет я боролся против советской власти, но я ничего, ничего в этом деле не понимал... Только теперь, на сороковом, на пятидесятом году открылись мои глаза, и я увидел свет истины. Будьте любезны, примите меня на службу...

Вихрастый чекист из Кологрива мудр, очень мудр! Действительно, белые — народ чрезвычайно стеснительный. Как до появления в какой-нибудь газетной большевистской балалайке такого «покаяния» белые не видели, кто стоял в их рядах!

Контрразведчики белые, как опереточные жандармы, приходят всегда слишком поздно. Слишком поздно! Они специалисты по части подозрений, а не по части факта. А подозрение — это сама стеснительность.

Полковник Карпенко, ныне начальник Владивостокского ГПУ, генерал Брусилов, генерал Гаврила Сахаров, клубмен, генерал Слащев, теперь генерал Пепеляев, демократ... И сколько их, таких, кладущих под пятку крест и всенародно кающихся перед силой антихристовой:

Христа своего распинают,
Отчизну свою продают, —

причем проделок своих не стесняются, а, наоборот, ими гордятся. Несчастное время, в которое возможны такие «лозунги», как пресловутый «смена вех», признание права на нравственные пьяные мысли в жизни и в действительности!

И Пепеляев выписывает свои мысли всенародно на страницах архипродажных красных газет. Он — кается.

Я как сейчас помню, как однажды Пепеляев скакал на белом коне в вихре ясного клубящегося снега под бело-зеленым флагом в Перми, по Сенной площади, вдоль огромного фронта только что сформированной для борьбы большевиками доблестной Пермской дивизии, а за ним, по раскаты «ура», летел его конвой в шапках с малиновыми верхами. И эта блестящая на морозном зимнем солнце картина была, как оказывается теперь, только «ошибкой» генерала, хотя кругом пермяки плакали от умиления и совали в руки самого генерала и его штаба золото на борьбу. Ведь это пермяки только что разгружали трупное население Семинарского сада, после бывшего там военного комиссариата.

Только одно объяснение можно найти этой чудовищной нелепости. Пепеляев получил от адмирала Колчака Георгия на шею за взятие Перми. Если бы действия Пепеляева были так же успешны и дальше, то, я думаю, никакой «смены вех» не было бы.

Увы! Пепеляев и все ему подобные «перелеты» полагали и полагают в успехе, в собственном своем ослепительном успехе всю свою антибольшевистскую деятельность. Успех! Это — слава, значение, влияние; недаром так волновался Омск, чтобы, спаси Господи, Деникин не дошел до Москвы раньше!

Драма Пепеляева — драма Кречинского.— Сорвалось!.. Попробую другим манером... Наплевать, что я скакал по площади на белом коне, перед белыми... Поскачу на рыжем перед красными.

У этих людей — даже ошибки их планетарны. Жажда успеха, как своего успеха,— это отсутствие элементарной моральности, веры в святость идеи, веры в долг, отсутствие сознания аскетической необходимости ограничивать себя и свои аппетиты — хотя бы только честолюбие — во имя высшей объединяющей идеи Родины.

Хотя Пепеляева и осудили на расстрел, но я думаю почему-то, что его не расстреляют. Возможно, что он и будет скакать под красным знаменем вдоль полков Красной Армии.

Печальное время печальных склизких вождей.
Но кто же виноват в их неуспехе?

Должны признать одно. Генерал Пепеляев был хорошим воином.

В морозную ночь на 24 декабря 1918 года четыреста человек 4-го Енисейского полка ворвались в Пермь, где взято было до 12 000 человек одних пленных красных. С другой стороны подходил штурмовой батальон молодого полковника без страха и упрека Урбанковского, сохранивший железнодорожный мост от взрыва.

Это был успех.

Через два дня я видел генерала Пепеляева, краснощекого, здоровенного сибиряка с генеральскими погонами, в кресле кабинета дома Любимовой, где помещался штаб Средне-Сибирского корпуса.

Зазвонисто только что говорил в коридоре начальник штаба дивизии, толстый полковник Турбин, в телефон:

— От села Култаева идут красные толпы... Очевидно — сдаваться... Выслать приемщиков!..

Так же уверенно, брезгливо говорил и генерал Пепеляев сидевшей перед ним городской депутации:

— Наше дело — воевать... Вы устраивайте ваши общественные дела сами. Это нас не касается. Мы — военные!

В этих двух апломбных заявлениях и была сама опасность.

Оказалось, что красные шли не сдаваться, а едва-едва не отбили Пермь. И штабной поезд уже вытягивался со станции Пермь по старой ветке на Екатеринбург.

Оказалось, что общественного порядка в Перми единственно по способу невмешательства создать не удалось. Эсеровская Дума продолжала политику обобществления торговли, распределяла, «регистрировала», жала купцов и была глубоко бездарна, как всякий кооператив. Войска требовали запасов, интендантство реквизировало их, конечно, у тех же купцов. Биржевой комитет плакал, зря ходил к Пепеляеву и на ушко друг другу передавал штабные веселенькие историйки.

Чем громче и авторитетнее было заявление генерала об «общественности», тем хуже у него было под боком.

Представителям газет были в его салон-вагоне возвещены истины насчет демократичности. А на Каме расстреливали еженощно; «отправить в штакор» было обиходным термином, исполнители торговали на базаре пимами, в комендантской команде в вагоне пороли шомполами и т. д.

Я утверждаю, что боевой генерал был неспособен установить политического порядка в непосредственном своем подчинении. Пусть он на досуге вспомнит историю с вагоном спирта в адрес штакора, распродаваемого по дешевой цене по пермским кабакам. Что уж говорить о политике!

Это было причиной тылового неуспеха. Но так как боевые успехи у Пепеляева были и счастье неизменно сопутствовало ему, то по отношению к окружающей его разрухе у него создавалось чувство какой-то презрительной обиды. Известно, что при посещении его верховным правителем генерал Пепеляев в высшей степени в резкой форме стал жаловаться на наше интендантство, бездарное, как всегда. Это была правда. А то обстоятельство, что оказавшиеся на ст. Пермь-II, при взятии ее, огромные интендантские грузы были разграблены и на армию не поступили, было промахом Пепеляева с его штабом, и никого больше.

Взятие Перми, Оханска, Глазова, продвижение в Вятскую губернию — это были успехи, раздуваемые милыми барынями из омских бюро. А кругом, на том пространстве,

которое вполне зависело от Пепеляева, все шло как Бог положит на душу, создавая дальнейший неуспех.

И при первом моем свидании с генералом и при последующих я видел на лице печать какой-то обиды, затаенного недовольства, протеста. И постепенно его окружили такие же обиженные люди — остатки учредиловской Самары, сперва в пепеляевской Северной группе, а потом и в его 1-й армии.

Начальник его штаба, генерального штаба полковник Кононов — давно уже в Советской России. Это была загадочная фигура. Он был в непосредственном соприкосновении со штабом Гайды; известны фигуры Галкина, заведующего информацией у Гайды; поручика Кашкадамова, впоследствии коменданта г. Иркутска в декабре 1919 года, и многих других. После истории с Гайдой и его отъезда на Восток я получил в Омске от полковника Кононова телеграмму с просьбой указать, где Гайда и как с ним установить связь.

Пока на фронте было все благополучно, эти группы были относительно устойчивы. Как только наступали времена похуже, оттуда начинал вырастать разлагающий подозрительный протест, саботаж и критика. Вплоть до арестов. Так было при оставлении Омска, когда генерал Пепеляев арестовал на станции «Тайга» верховного правителя, заставив сменить главнокомандующего, ген. К. П. Сахарова.

Уже в октябре 1919 года пепеляевская армия начала отходить назад, за плечи второй — генерала Лохвицкого, впоследствии генерала Войцеховского, третьей — генерала Сахарова, направляясь в Томск для формирования. И как я заявлял в моей книжке «В гражданской войне»*, в Томске, на квартире Н. П. Зеленского, сразу же пошли совещания о передаче власти социалистами большевикам.

В последнем моем свидании с ген. Пепеляевым в Харбине он подтвердил мне все мои сведения, прибавив, что все это делал его начальник штаба Кононов.

Война кончена! — заявил мне самому в Томске этот Кононов.— Сопротивление будет только бесполезным!

А когда я подошел к нему в Мариинске, он, улыбаясь, сказал:

— Теперь в Красноярске генерал Зиневич, начальник 1-й дивизии, передал всю власть земству, и все будет очень хорошо!

---

* Вс. Иванов. В гражданской войне. Из записок омского журналиста. Харбин, 1921.

Когда мы в Красноярске испытывали своими боками это «очень хорошо», Кононов был уже у красных.

Дерущийся в рядах с винтовкой, генерал Пепеляев был не способен организовать что-либо большее, тем более в гражданской войне,— вот причина его неуспеха, его раздражения.

Читинская эпопея генерала Пепеляева при атамане Семенове у всех на глазах. Пепеляев выявился в Харбине, ходя враскачку в гимнастерке, в лихо надвинутой на ухо коричневой шляпе. И пошли полные таинственности совещания его с сибирскими кооператорами с А. Г Соболевым во главе, в результате которых и была предпринята кончившаяся таким провалом экспедиция на Якутск и Иркутск, через Камчатку.

Что эта экспедиция организовалась крайне скороспело и неудачно, без полного оружия, почти без патронов, без пулеметов и артиллерии — это знали все во Владивостоке Распри между военными были таковы, что тормозили всякими путями выдачу оружия ген. Пепеляеву. За день или за два до его выступления весь Владивосток был наводнен гербовыми марками, выданными для Якутского казначейства, которые «загонял» штаб генерала Пепеляева, так как у них не было средств. Не было и снабжения полностью, и в то же время вся подготовка экспедиции производила впечатление какой-то специальной торопливости:

— Абы только скорее уйти и установить свой собственный порядок!

И правда. Только что пароход отбыл из меркуловского Владивостока, как на фуражках пепеляевских отрядников появились бело-зеленые ленточки, взвился бело-зеленый флаг вместо трехцветного, под каковым и кончилась вся эта легкомысленная история.

И Пепеляев теперь у красных.

*   *

Будет ли он расстрелян, будет ли он, что весьма вероятно, помилован, это — все равно.

Перед нами образ человека, крайне активного и в то же время совершенно не обладающего организационными способностями в политической борьбе, не знающего, за что он дерется в гражданской войне, какой-то наполеонистый Фигаро. Прожил он свой век при монархии, не понимая ее

смысла, и в смутную годину оказался таким же темным человеком, руководимым всеми политическими фантазерами и мошенниками. То, что он принес покаяние советской власти, не значит, что он стал на ее сторону. У таких людей, не привыкших действовать принципиально, нет сторон: они листья, облетающие с дерева дореволюционного российского общества, подточенные червем интеллигентщины.

Для советской власти их переход — дар данайцев. Правда, теперь они уже не изменят,— их соединит общность совершаемого преступления, фатально накладываемого на всякого советского деятеля. Может быть, возможность драться не размышляя — желанное убежище для этих, своеобразное asylum.

Но везде они символ раздора, протеста, анархии, подвоха, предательства, усугубления положения как своего, так и своих соратников, одним словом, igno rantine того, чем зарекомендовал в гражданской войне себя обиженный тип эсера:

— Грива на обе стороны!

Семеновщина

Когда могучий Сейсмос, поддерживающий поверхность Земли, двигается, то в ее недрах идет гул, начинается землетрясение.

Но это было, черт возьми, давно, тогда еще, когда «народы коснели во мраке невежества». Могучий Сейсмос теперь упразднен, а желание потрясти Землю досталось на долю другим:

— Так называемым семеновцам...

Положим, с этим стремлением, собственно, ничего не выходит, но по временам вы слышите легкий гул, идущий по газетам:

— Атаман надел китайское платье и занимается восточной философией...

— Атаман выехал из Шанхая в Японию...

— Атаман под именем Миллера поселился в Харбине ждет, чтобы ехать во Владивосток...

— К атаману едет генерал Жоффр...

— Атаман выезжает в Америку...

Гул идет, но землетрясения нет, потому что нет Сейсмоса.

Остались одни оповестители, которые и гудят об атамане.

Но что же такое, в сущности, атаман Семенов?

Молодой, легкий, решительный есаул в Харбине, в гостинице «Портсмут», формирует отряд, разоружает большевистскую дружину на ст. Маньчжурия, входит на территорию Забайкалья, отходит назад, продвигается вперед, смыкается с частями, идущими с Запада,— барнаульцами и другими и начинается знаменитый читинский период.

С 1918 года началось начало Читы — начало конца атамана Семенова. Бегло просматривая его историю, право, не знаешь, на чем остановиться.

Даны все возможности. Таможня на Маньчжурии, постоянно заваливаемая все новыми и новыми товарами, приток которых продолжается механически. Расположение населения и казачества. Дружественная полоса отчуждения К.-В. ж. д. Победоносное и, казалось бы, недалекое занятие Москвы и торжество Омска поднимало и Читу, державшуюся запанибрата с Омском, спорившую за первенство и призна

ние... Все это давало полную надежду на прекрасное управление своей областью, и изо всего этого — нуль, пуф, кровавый блеф, семеновщина...

Маленький песчаный, пыльный городок Чита, потонувший среди хвойных лесов, аметистовых долин, стал какой-то профанацией, извращением всех верных, в сущности, идей о Родине, нации, борьбе за них... Кто-то лукавый словно вывернул наизнанку эти идеи, дабы тем от противного рождать большевизм...

Чита стала собранием скандалов. Верховный правитель в Омске рвал и метал, бил телефоны и употреблял морские выражения, когда его попытки честного и благожелательного правления разрушались административными кунстштюками Читы, которые с азартом и радостно подхватывались демократическими кругами Иркутска.

В сущности — удивляться было нечему, повторялась старая картина Великой войны. Армия, пешие Михрютки шли вперед, а сзади ехала вольная, разбитная казачья вольница, которая при въезде в деревню на рысях пикой умела приколоть свинью и на скорую руку у живой еще отхватить окорок на ходу

Генералом Пепеляевым взята в декабре 1918 г. Пермь. Неизгладимое впечатление, которое производило на население, на рабочих пушечных мотовилихинских заводов появление там Верховного, а в это время из Читы приходят сведения о «непризнании» Колгоха атаманом Семеновым. Июльский горячий предсмертный Омск задыхается от наседающих толп красных, а Чита задерживает и реквизирует вагоны с золотом...

Стало пошлостью сказать, что Омск развален тылом. Но вполне можно сказать, что именно Чита и семеновщина стали этим тылом, его символом, покойным и недосягаемым, в котором гуляла лихая, полупьяная военщина.

Пал Омск, прошел Ледяной поход — и вот все вынесшая каппелевская армия в Чите. Надо было только радоваться этому объединению армий. Только радоваться усилению общей противобольшевистской мощи. Ничего подобного! Мы знаем, как принята была каппелевская армия в Чите, какие разговоры начались о взаимных арестах!

И все это потому, что у атамана Семенова удивительный дар подбирать себе таких деятелей, что хоть всех святых вон вынести. Вокруг атамана образовался двор, твердый, непроницаемый, и во дворе этом все служили не делу, а лицу атамана, а через него — лишь себе.

Так как атаман из Читы никуда сам не двигался, то вся энергия уходила на разные внутренние дела. И, Господи, сколько там было интриг!

Они все глубоко и страстно ненавидели друг друга, эти читинские люди, номинально занимавшиеся «возрождением России». Доносили, сплетничали, арестовывали друг друга. Мало того. Просто гробили.

Я никогда не забуду эпического рассказа, который слышал от молодого студента-офицера, прежде — командира броневика «Мститель», того самого, который дрался в Хабаровске с американцами...

— Поймали мы одного полковника нашего, в Чите раньше служил, а потом в Харбин поехал и про атамана там чего-то написал. Привели в боевой вагон. «Молись». И застрелили... Не пиши про атамана!..

Война — жестокая вещь, а гражданская война — в особенности. Но никогда не может она быть бессмысленной и еще более мстит жестоко тем, кто делал ее такой.

Так как сам атаман жил своим честолюбием, то и все его окружающее жило тоже за счет этого самолюбия. Говорят, как это ни чудовищно, но в Чите радовались, когда «свалился Колчак». Предсмертный акт адмирала от 7 января 1920 г. поставил атамана в призрачную зависимость лишь от генерала Деникина, в качестве главнокомандующего всеми вооруженными силами дальневосточной окраины. Казалось, сбылись мечты Читы, когда она стала во главе дела спасения Родины с востока, но этот дар судьбы оказался плохим.

Поставленная лицом к лицу с опасностью, с армией красных, населением, наконец, Чита не выдерживает — не выдерживает семеновщина, приобвыкшая быть захребетником.

Разваливается армия, переходят на сторону красных 14 казачьих полков...

Один за другим исчезают политические деятели с ее горизонта, ежели только не задерживаются затем, чтобы прихватить ампоше, вроде министра Окорокона, почтившего Читу своим омским авторитетом. В течение 20-го года судорожно перестраиваются, вернее, пытаются быть перестроенными методы управления. Собирается Народное собрание из 7 человек. Собирается пресловутый казачий съезд; во главе дела становится горячий генерал Сыробоярский, прибывший из Японии спасать положение.

Как образец горячей искренности ген. А. В. Сыробоярского может быть приведена его телеграмма на Гонготту,

делегации от большевистского Верхнеудинска, под председательством Петрова, что «он-де удивлен, что она обратилась за разрешением приезда не к нему, военному и морскому министру Читы, а к японцам». В это время в Чите появляется Завойко, проводит свои знаменитые маневры по части образования Дальневосточных Штатов, проект которых у него в кармане, получает до 200 000 золотом, бежит из Читы на экстренном поезде, и наконец «партизаны», о которых «Дальта» сообщает за два дня до их появления оперативные сведения, кончают читинское дело. Атаман в Порт-Артуре.

Порт-Артур — вторая Чита атамана, Чита общественная, как та была Читой военно-административной. Тут налицо та же, но сильно поредевшая братия, сбитый гонор военных в печальном экс-русском, опустевшем и заглохшем городке, та же тоска по общественности и та же полная неудача в этом.

Передняя атамана в Порт-Артуре полна прожектерами. Тут и минфин, ныне управляющий коммерческой частью К.-В. ж. д. Тут все эти кооператоры, за закрытием кооперации «делающие ставку на сильных»,— все Берсеневы, Шишкановы, Балакшины из отелей Шанхая, Соболевы и другие, гудевшие, как пчелы-разбойницы над мертвым ульем. Тут старый интриган, американский протеже, юдофоб и монархист, одесский ген. Толмачев, таинственно шепчущий простакам по закоулкам, и вся та толпа, за содержание которой атаману приходилось платить по тридцать тысяч йен в месяц «Ямато-Отелю» — былому русскому офицерскому собранию Порт-Артура.

Семеновщина оставила свое былое неприкрашенное, читинское лицо в пьяном Гродекове, а туда явилась в общественно-демократическом виде. И как стержень всех этих дел, податчик советов, сидит и усиленно работает в Порт-Артуре генерального штаба генерал-майор Клерже, председатель общества ревнителей военных знаний.

Масса планов, масса комбинаций. Унгерн берет Монголию и Читу. Китайские войска под предводительством русских генералов «ударят» с Сахалина и с Маньчжурии. Семеновские войска занимают Маньчжурию. «Детонация» в Забайкалье...

Только массовым психозом можно было объяснить, что этим господам верили!

И вот когда появились проблески возможности русского дела на Д. В.— во Владивостоке, когда атаману, как известной величине, стали развивать эти планы, чтобы здесь,

в Приморье, создать этот клочок, этот осторожный трамплин, вот — буквальные слова атамана по этому поводу:

Я не заинтересован в Приморье! Чем скорее каппелевцы перейдут к красным, тем лучше...

Что это — полная неспособность понять обстановку или просто нежелание с ней считаться?

Пароход «Киодо-Мару» был последним актом этого трагикинофарса. Приглашенный сюда во Владивосток своими неразбирающимися сотрудниками, атаман Семенов поступил так, как может только поступить прямой человек, вовлеченный в невыгодную сделку своими недобросовестными дружинниками.

О, теперь их с ним нет! Клерже пытается захватить какие-то концессии, кооператоры строят свое «мужицкое правительство», Харбин занят историческими предсказаниями лет на сто по крайней мере, и только неизвестно откуда-то издали доносятся глухие раскаты грома:

Атаман выехал в Японию...

Атаман выехал в Америку...

Атаман занимается восточной философией...

— 99 офицеров французского генерального штаба уже прибыли в Японию...

О, мы знаем этих людей, которые, не заботясь о реальном благе родины, создают видимость раскатов грома под землей. Это они в Японии танцевали в голом виде на столах в японском ресторане, вроде полковника Карпенки, перешедшего затем к красным.

Это они написали в «Последних известиях» Гродекова статьи под чужими фамилиями. Это они проделывают скандальные истории с отъездом полковника Кронковского, подданного всех стран, у которого японцы отобрали в конце концов визы... Это они дискредитировали атамана на всех перекрестках, усиленно состоя в разных контрразведках и осведомительных пунктах, ни разу не создав ничего на деньги, которые у него брали...

И когда, после этих тяжелых крушений умных и смелых людей, захваченных ворами и проходимцами, я слышу раскаты подземного грома — я знаю: нет ничего серьезного, кроме известной привычки танцевать от печки в исторических танцах.

Нет Сейсмоса — Семенова.

Молодого, предприимчивого и смелого атамана Семенова погубила глупая, хитрая, жестокая семеновщина.

Голубая роза

Он снял пенсне, протер со скрипом глаза и опять водрузил это оптическое приспособление на свой нос картофелиной.

— Вот, пишут: возвращайтесь в Россию! В России-де хорошо. Комиссии там разные репатриационные и вообще. Нет-с, дудки!

— Вам и тут хорошо?! — поддакнул я ему.

— Хорошо-о? — даже протянул он.— Отлично! Служу в оранжерее, я — морской офицер. Цветочки разные взращиваю. Это, батенька, только в романсах поется: «Лилия лилию нежно лобзала, фиалка к фиалке лепестки простирала... Я, батенька, не лилия, а старший лейтенант, и поэтому лилии эти самые английские поливаешь, а сам чертыхаешься. Мое дело пеленг взять, курс проложить, из пушек, на случай, стрелять, а никак уже не лилии растить... Извините-с!

Рассердился человек.

— Намедни приходит к нам англичанин.— Желтые розы есть? — Пожалуйте! — Красные есть? — Олл райт!..— А нет ли, говорит, голубых? — Такой, говорю, покамест не имеется.— Как зафырчит носом.— Есть, говорит... Американец Бурбэнк изобрел, а леди моя хочет голубую специально... Вы, говорит, отстаете...

Даже рукой махнул мой морячок.

— Да как же он говорить смеет — отстаете, когда мы что ни на есть самый передовой народ! Нашу революцию ни один Бурбэнк не переплюнет Найдите, пожалуйста, мне такое государство, чтобы роза, хотя и не голубая, выведена была руками спеца по морской части, кавалера ордена Святой Анны и Святого Георгия 4-й степени! Нет, наши Бурбэнки почище!

— Так значит, несмотря ни на что, вы в ваших убеждениях тверды и возвращаться ни за что не желаете? — подзадориваю я его.

— Хмы! — рассмеялся он из-под пенсне, обнажая прокуренные до черноты зубы.— Да где ж вы это такого русского человека найдете, в своих убеждениях твердого? К слову сказать, кого вы, например, ни попросите из наших, тот непременно пойдет с вами и выпьет... И вялостью, готов-

ностью своей вам именно и окажет самое глубокое уважение.

— Но вы в Россию-то не поедете? Вы тверды в убеждениях? А? Вот тут я вас и поймал!

Ни черта не поймали, батенька, ничего подобного, я уподобился бы в таком случае голубой розе, выгнанной нашими гениальнейшими Бурбэнками... Я был бы в этом случае не натуральным. Да, я тверд в убеждениях... Адамант!.. Скала! Кремень! Но убеждение мое, так сказать, характера чисто натурального, могло бы быть выражено только одним словом: сволочи!

То есть как это так? Кто же это?

А вот Бурбэнки-то эти самые, которые гениальных результатов достигают своей изумительной отвратительностью... Надо вам сказать, была со мной следующая забавная история... Забрали меня после Омска, на великом Сибирском пути, социалисты всех стран и, прежде всего, четыре дня не кормили... Не кормили, покамест не привезли в Канский лагерь. Привезли, а я по стеночке хожу. Ну, думаю, только бы лежать и не шевелиться. Спать очень хочется, но голоду нету... Улегся это я на полу тамошнего ремесленного училища, построенного коммерции советником, каким-то купчиной местным, которого потом за это самое лихие Бурбэнки в пруду с женой утопили. Пролежал в пальтишке демисезонном пятые сутки. На дворе морозище, стекла все запушило, под вечер зори — огонь! Ну, сами знаете, сибирская зима. Красота! На другой день приносят нам круп, картошки, дров. Варите-ста себе сами суп!..

А, кормили все-таки!

Как видите. Только должен вам доложить, что до прихода власти из центра кормили нас левые эсеры. Этим их партийная программа кормить не запрещала.

Какая чепуха! А тем, Бурбэнкам-то этим самым, разве запрещала?

— Нет, не чепуха,— серьезно протянул мой собеседник.— Я обращался было как-то к одному Бурбэнку, что-де холодно, товарищ, и очень. Помираем, мол, прямо!.. А он величественно посмотрел эдак: холода, говорит, работают в полном контакте с советской властью... Слыхали? Все стихии с нами... Я, пожалуй, и сам бы помер тогда, да печка выручила. Сизый дым, банный дух пошел по комнате, сначала чихали, а потом шевелиться стали. Двое только на тепло никакого внимания не обратили...

Почему же это? — деловито спросили вы, наконец,

вмешавшись в разговор, Лидия Александровна, рассеянно оправляя шу у черного шелкового пояса.

— А потому что они померли! Да! Померли, и их вынесли в сугробы, где и положили в штабель...

— Почему в штабель? — опять уже решительно невпопад спросили вы.

— А для экономии места. Клали сначала так, а потом эдак,— тычком-логом, тычком-логом. И удобно и аккуратно. Нельзя покойников разбрасывать по двору зря. Нехорошо-с! Высокие штабели вышли. Первые покойники на земле, а до верхних рукой не достать... Во всем как есть, только сапоги снявши.

— А при чем тут сапоги? — уже слегка побледнели вы, Лидия Александровна.

— Именно, ни при чем. На что покойнику сапоги, а живым годятся. Экономическая политика...

Лидия Александровна больше не спрашивала и стала глядеть в окно, где горели палевые полосы заката над шанхайскими крышами, уставленными частными радио. Из-за золотого купола Гонконг-Шанхайского банка клубился дым пароходов с сине-серебряной реки Вам-пу. Но она скоро нашлась.

— Не хотите ли чаю? — любезно спросила она и позвонила бою.— Пожалуйста, дайте чай!..

— Я с удовольствием выпью чаю,— сказал моряк, крепко вытирая платком рот после виски-соды.— Да, так вот,— продолжал он,— кто посильней, развели печку, и мы зашевелились. Потом поели, потом опять легли на пол. Ну, скоро оказался тиф...

— Заразный?

(Опять вы, Лидия Александровна! Как иногда участие заставляет быть неловким!)

Не знаю хорошенько,— лениво ответил рассказчик.— Раньше все мы думали, что сыпняк заразен. Но после того, как я спал с тифозным, под одной его шинелью, на моем демисезоне вместо матраца и, как говорится в одном стихотворении Гейне:

И меня и его кусала одна
и та же вошь,—

я больше не думаю, чтобы сыпняк был абсолютно заразен. Ведь я бы не выдержал его с моим слабым сердцем...

(Ах, зачем это вы сделали движение вмешаться в разговор, Л. А?)

— А ваш... приятель выдержал?

— Он никогда не был моим приятелем. Нас просто объединила общая платформа в виде пальто и шинели. Двоим же теплее, особенно если люди в жару. До тех пор я его никогда не видал. Он говорил, что он был учителем какой-то гимназии, кончил Нежинский историко-филологический институт, бредил им и что-то по-гречески говорил... Нет, он никогда не был моим приятелем... Он не выдержал, умер...

Так-то мы и жили два месяца. Было очень плохо потому, что не было воды пить. Нам люди из города присылали воду бутылками и потому подвергались неприятностям по подозрению в сочувствии контрреволюции...

— А снег? — недоуменно спросил я.

— Но он был весь загажен, да и покойники...

Теперь этот вопрос пристыдил меня.

Что же, допрашивали вас за это время? — старался я восстановить положение.

Нет. То есть да. Были чекисты, всех моряков спрашивали, знают ли они полковника Кафарова, начальника морской контрразведки в Омске. Я ответил им, что знал. Спросили моего мнения о нем. Я сказал, что он большая скотина. Конечно, конечно, ведь он же из жандармов! Впрочем, его скоро и кончили. Допросы прекратились, а нам объявили, что мы должны идти в тайгу на рубку дров, а то рубили и жгли заборы...

И пошли в тайгу?

Нет, я не пошел. Господи! Поймите, что у меня было одно только демисезонное пальтишко. И без ваты, а на ватине... Шинель-то я скоро загнал.

Какую шинель?

А с покойного соседа. Загнал за пять фунтов хлеба — очень хотелось есть... Нет, в тайгу я не пошел. Пошел в учителя. В сельские... Пожалуйста, не смейтесь!..

Каким же образом?

— Случаем. Послал прошение в школьный отдел, написал, что я кончил Нежинский институт, и перечислил все училища, которые помнил, будто бы преподавал там... Двухклассные, трехклассные и всякие. Меня вызвали, подозрительно расспрашивали, а потом показали список деревень. Куда желаете? Я выбрал подальше, верстах в 30 от железной дороги, Михайловку, 120 верст от Канска...

— Там лучше было? — спросила участливо Лидия Александровна.— Далеко, глухо...

— Э, так точно я и думал, покамест туда не попал сам!

Куда к черту лучше. Приезжаю на станцию, откуда надо путешествовать в деревню... Да... Надо вам сказать, что школьный-то отдел меня назначить назначил, а денег не дал. Пришлось пробираться, где зайцем, где — как. Так-с. На станции ко мне шасть девица-еврейка... Кра-а-сивая... Брови, щеки как розы в молоке...

— Голубые? — засмеялся я.

Нет, это я в то время таким был, и то не голубым, а зеленым. Бородой оброс, грива — во, ветром с ног валит, лик зеленый. Да, девица... Прямо ко мне.— Вы куда, товарищ? — Я, говорю, в Михайловку. Я, говорю, учитель... А я, говорит, очень приятно, учительница, из Благодатного, рядом. За мной лошади придут, я вас, товарищ, подвезу, потому как пойдете, снега глубокие, а в Михайловку утром наши мужики подвезут.— Хорошо. Поехали, холодно, сижу со своими книжками, для блезиру взял, вот как на картинке такой мальчик сидит, съежился, учиться едет. Доехали. У нее две комнатки. Я чайку с молочком попил, поддакивал все больше, как она меня пытала, да и говорю: — Устал, говорю, товарищ, разрешите я на пол в первой комнате лягу, у печки...— Ладно,— говорит так недовольно. Только стал засыпать, зашла в деревню какая-то красноармейская часть. Парнишка молодой из комсостава, хлыщ такой, вроде, знаете, наших старых вольноопределяющихся, к ней забрался. Тары-бары самовары... Она и говорит: — Я, говорит, товарищ, начальник штаба партотрядов каких-то, мы у Тайшета год воевали.— И пошла, и пошла. Там белого поймали, я застрелила, там трех гадов на березе задавила. Там столько-то перебила... Господи,— воззвал рассказчик, оборотясь к пустому по-шанхайски переднему углу.— Господи! Если я когда-нибудь этого красивого зверя встречу, я его своими руками задушу, задушу за то, что я, грязный, бородатый, рваный морской офицер, командир элегантного русского миноносца, в ту ночь, лежа у печки, затаившись выслушивал...

И вдруг она засмеялась довольно весело.

Нет, вы подумайте только, что эта стерва сказала... Тот молодец спрашивает ее: — А кто-де у вас там у печки лежит? — А черт его знает! Прислал школьный отдел одра какого-то учителем в Михайловку. Ни говорить, ни комячейки завести — ничего не может. Надо, говорит, в парткоме вопрос поднять.— Да, так и ахнула — одра, говорит... Х-ха, х-ха!

Наутро я сказал спасибо этой симпатичной девушке, и с возом дров доставили меня в Михайловку. Школа — по-

ловина съезжей избы. Что с ребятами делать — и не знаю. Сторож попался — дурак дураком, старик не старик, а так — дурак. Вот и стал я орудовать. Первым делом по ребятам издал декрет, что Бога нет, в знак чего сымаю иконы со стены!

Он понурился и стал смотреть на пол. Вы, Лидия Александровна, смотрели в чашку; ложечка тихонько звенела о японский фарфор.

Вот, значит, я, белый, дворянин Калужской губернии, сын, внук и правнук моряков,— я упразднил собственными руками Бога. И, ни разу не быв до того в деревне, я узнал, кто таков есть русский мужик. Деревня вся в снегу, неустроенная, русская деревня. Все излажено кое-как. Изба не изба, черт ее знает, что такое. Народ на меня косится. Пошел на первый день, как приехал, с визитом к старосте. Подала хозяйка самовар. Фасонистый такой-эдакой. Да... Говорю: а самоварчик-то какой! Хозяйка губы поджимает — Бог дал, говорит. Хозяин — прямей: ехало тут с полдесятка колчаковцев, кончили, ну, вот мне в долю самовар и вышел. И видно невооруженным глазом, что кончить ему человека нипочем. А я, знаете, поддакиваю.— Тут, говорит, и не то бывало. Ехал нашей деревней один колчаковец с женой да с дочерью. Из офицерей. Так мы его кончили, а жену с дочкой раздели да нагишом в кошевке и пустили — попытать, далеко ли человек голым по сорокаградусному морозу уехать может.— Чисто научная постановка вопроса...

Опять грозный звон ложечки в чашке прорезал тишину.

После таких рассказов стал я все больше дома сидеть. Утром ребята, с трех сумерки, в четыре темно. Керосину купить не на что, сидим со сторожем у красной печки. А он мне страшное рассказывает: — Тут человека убили, он у нас в съезжей три дня тута лежал. Баба удавилась, там же дохтура ждала, так теперь они ходют.— Верите ли, плакал я ночами!

Стали до меня слухи доходить — косятся на меня мужики. К красным свободам они очень привержены были и духом чуяли, несмотря на все старание мое, что я что-то не то. Раз в воскресенье доносит мне сторож — сход идет. Недовольны, говорит, тобой хрестьяне, и баста. Как, говорю, чем? Песням, говорит, революционным не учишь. Начальство приедет, что петь-то будем? И верно, сам понимаю. Да как горю помочь — сам отроду никогда не певал, разве только в пьяном виде и в отдельном кабинете. Затянул я, что помнил:

Все, чем держатся троны,
Дело рабочей руки...

Пою так неделю, на бабьем сходе резолюции: прогнать учителя, не учит учитель ребят закону Божию. Хоть сам я, несмотря на белизну свою, ничего по этому делу не знаю, я рад бы учить этому ребят, да служебный долг не позволяет. Созвал я мужиков, толковал о свободе совести, об отношении Советов к религии, о том, что и иконы-то я выбросил,— ничего не помогает. Приходит раз ко мне к печке сторож и говорит:

— Вот што, товарищ... Сматывайся-ка ты отсюда, ну-те к Богу...

— А что?

— Тебя кончут... Хочут уже..

— Как так? Какая причина?

А сторож мой благословенный эдак пальцем мне в плечо тычет:

— А дырочки тута есть? Мужики прознали!

Сам же, мерзавец, мой китель с дырочками от погон в корзине видел. Сам все и разболтал. Спасибо, хоть упредил. Я на другой день к старосте. Желаю, говорю, чтобы мне лошадь на станцию была, начальству письмо-донесение спосылать. И айда зайцем в Красноярск. В Красноярске двоюродный брат у меня доктор, старший врач тюрьмы. Действительный статский советник, чиновник. Сижу у него, посиживаю, отъедаюсь. Обедаем все мы в кухне. По пальцам: раз — начальник карательного отдела, т. е. тюрьмы, хороший парень, левый эсер. Два — комиссар, тоже левый эсер. Оба с женами. Барыни — во. Три — брат, белый, четыре — я, белый. Пять — кучер братов, коммунист. Рыгает, божится, белых гадов клянет, а большевиков хвалит. Превозносит, а сам на нас посматривает: не поддакните-де, а я посмотрю... И мы поддакивали этому хаму. И белые и эсеры. Полная коалиция в подлости.

И освобождали из тюрьмы? — осторожно спросил я.

Переводить куда-то переводили. До двенадцати человек перед ночью убивали. Чтобы не было шуму — либо рубили, либо молотками...

А контингент заключенных?

Контингент! — мрачно усмехнулся он.— Такое белоподкладочное слово к такому гнусному делу?!! Конечно, кто контингент? Наш брат, офицеры. Уходили, надо отдать справедливость, спокойно. Ну, на это, на смерть... Только

крикнет кто-нибудь — прощай, Ванька, больше не увидимся! — и все. А чтобы слез — так я не видал.

Только раз вот что видел. Мадьяры верхами ввели кучку чехов во двор тюрьмы. Только ворота затворили, шашки вон, и пошло писать. Особенно все они до одного чеха добирались; они в этой тюрьме сидели, а чех этот начальником был. Крошат его, галдят, кровь по снегу дымится, а смотрю в окно и оторваться не могу, хоть сердце почти останавливается. Порок сердца у меня.

Ну? — спросили вы.

— Чего — ну? — грубо сказал он.— Искрошили, и все тут. А мы сидели и хлебали щи.

Что же можно делать? Конечно, только молчать...— сказали вы.

Да, конечно, только молчать,— согласился и он.— И над Россией висит тяжкое молчание. Вы знаете, когда я в Михайловске сидел, приехал ко мне человек один. Был он инструктором по кустарному делу, объезжал уезд. И целую ночь пробыл он у меня, полночи проговорил, и уверен я был, что он офицер; под лучиной и он ко мне приглядывался. Но ни он, ни я не признались в этом. И отечественные наши Бербэнки выращивают эту голубую молчаливую розу. Растет в русском сердце молчание. Да вот сейчас я беседую, да разве мог бы я все это рассказать без нотки глумления над собой, без нашей, чисто русской, мармеладовской нотки? Когда наш народ-богоносец гонит голенькую девочку по снегу, так какими же революциями, какими же общественными и экономическими пользами объяснишь все это варварство? Бороться мы не можем. Признавать — тем более. Значит, надо молчать, молчать...

Я отчетливо видел ваш силуэт на фоне зари, Лидия Александровна... Высокая прическа, длинные черные серьги в ушах. Бледно из полумрака выступали пальцы, теребившие несчастное шу. В широко раскрытых глазах, в слезных ободках плавали алые ниточки последнего света.

На подвиг должно бы вдохновить такое лицо.

— Но вы тоже молчали!

Коварный Альбион

Читаю:

— Англия признала Советскую Россию.

Сначала просто не верится. Как так признала?!

Да так. Своим «коммюнике» «Его Превосходительству», представителю Советов, представитель английского правительства заявил:

Правительство Его Величества короля признает, что правительство СССР существует де юре.

Каждый простодушный человек, один из тех простецов, которые теперь окружают в эмиграции плотным кольцом Россию, может воскликнуть:

Благодарю, не ожидал!

Я не ожидал, что безбожное правительство, которому еще недавно епископ Кентерберийский слал грозные послания, подкрепленные дипломатическими нотами, с требованием освобождения из узилища патриарха, теперь признано «существующим по праву».

Я не ожидал, чтобы правительство, убившее английского представителя мичмана Керни, было признано.

Я не ожидал, чтобы правительство, заслужившее академические лавры по части разбазаривания того чужого, что плохо лежит, было признано.

Наконец, это правительство «социалистических псов» и «палачей» (пардон, это только цитата из советского гимна), изумительное по части выпускания кишок у ближних и все же рискующее называть несчастного императора нашего «Николаем Кровавым», достигая этим анекдотического «верха революционной наглости»,— это самое правительство, хищное, как хорь, признано.

Или правительство его величества короля Британии полагает, что товарищ Юровский совершил в доме Ипатьева правильный акт, убив двоюродного брата Его Величества короля?

Да, и тем не менее это так. Британия признала Советы. Очевидно, что из всех этих вышеуказанных актов и произошло то самое «юс», то право, на основании которого признаны Советы.

Такова английская дипломатия.

Русская революция замечательна тем, что, наряду с энту-

зиазмом по части электрификаций, нам приходится более верить в лучину. И еще тем, что мы начинаем понимать добрые, старые, но грустные формулы:

— Коварный Альбион!

Такое мнение теперь будет у того московского и русского народа, который на первом богослужении святейшего патриарха, выпущенного социалистами из тюрьмы, опустился на колени перед английским представителем...

— Коварный Альбион! — «А что это слово значит?» — вспомним мы Гоголя.

Конечно, мы не можем ни в коем случае относить все эти упреки к английскому королю. Ведь он только «царствует, а не управляет».

Подобные фортели допускает английская конституция, и есть кто-то, кто выкидывает все эти фортели.

И вот как...

* *

В Омске летом 1919 года мне как-то пришлось вести интересный разговор с англичанином, профессором Бернгардом Пэрсом, «другом России», который ежедневно бывал у адмирала Колчака, распространялся на тему об «искренности» и даже предполагал везти русских студентов в Англию. Случилось так, что я наткнулся на одного чеха — А. Несси, шпиона, бывшего во время В. войны в Германии и даже получившего там чины и бывшего в тесной связи с проф. Пэрсом. Я, полагая, что «друг адмирала» не может быть в таком нелепом подозрительном положении, обратился за разъяснением к самому почтенному профессору, проживавшему у высокого комиссара Англии при Омском правительстве Ходсона.

Сей чистый академист профессор Пэрс поведал мне откровенно, что, во-первых, он состоял всю Великую войну в контрразведке штаба нашей III армии. Затем, так как со стороны немцев в Англии повелась очень сильная пропаганда, основанная на социальных противоречиях, то комиссией под председательством редактора «Таймс», лорда Нортклиффа, взаимно была предпринята агитационно-разлагательная кампания в Австрии — на противоречиях уже национальных. Проф. Пэрс принимал в ней горячее участие. Вот тот-то Несси и работал по части организации свободной Чехии, подымая чехов против немцев, специально для блага Англии.

Все наши российские секретные агенты — и мальчишки и щенки перед этим почтенным коварным профессором

литературы, несомненно имевшим крупные связи в Англии.

Ведь какие голуби были все эти наши Максимы Ковалевские, Муромцевы и пр. профессора, с чистым сердцем лезшие в пасть международного змея! Представьте себе какого-нибудь Овсянико-Куликовского где-нибудь в охранке, в контрразведывательном штабе, или уважаемого проф. Подставина как специалиста по части соблазнения Ирландии на самоопределение, для ослабления Соединенного Королевства!

Коварный Альбион — это мозг нации. Это стиль Англии.

Но если нам, «белым», подобный метод действия признания «де юре» внушает известное ощущение и напоминает афоризм о несовместимости политики и «белых перчаток», то я уверен, что для жулья, засевшего в Кремле, признание сие — дар данайцев.

Во-первых, оно ведь идет против первейшего социалистического принципа:

— Брать да отдавать — не скоро поправишься!

— Слушайте,— говорит английская нота,— слушайте, ваше превосходительство г-н советский посол! Мы вас очень уважаем, признаем, только деньги отдайте...

Во-вторых:

И еще раз уважаем, только не ведите у нас пропаганды!

Но сколько ни повторяла бы этих добродетельных слов гувернантка Уилька Чарльзовна Тфай, мы знаем, что сделают московские мальчики: непременно обворуют кого-нибудь, угробят или нарисуют что-нибудь неприличное:

Король, поп и кулак!

— Так скажите, пожалуйста, к чему же вы хотите сажать у себя «рабочее» правительство и идти на признание большевиков, на этот недостойный скандал? — спросит какая-нибудь горячая русская голова.

Это и нужно для того, чтобы попробовать еще раз способ доброго английского компромисса.

Макдональд-«рабочий» потребует с рабоче-крестьянских Советов:

— Одно из двух — платите деньги!

Но «рабочий» Макдональд не потребует, напр. освободить Индию, не будет отказываться от доходных концессий и таможен в Китае или от рурского угля.

Деньги с России Макдональд требовать может — на это он и премьер.

Ему и с Германией говорить прилично — на это он премьер. Не он ведь, а Ллойд Джордж вел войну!

Ему с Францией побраниться можно,— не он был союзником.

О, миссия Макдональда определена.

Он — «рабочий», но он не будет палить с Ляйона «по Сен-Джемскому дворцу». Применение «рабочего» Макдональда после консерваторов — расчетливо-национально: ведь и правая и левая нормальные руки гребут не от себя, а к себе — давай, давай, давай!

То, что не удалось гордым лордам, чопорным лордам-консерваторам, должно удаться этому инженеру-пролетарию,— думают они, хитрые английские скрытые профессора.

Надо применить политику против опасной Германии — есть! Надо попробовать получить деньги с этих ужасных русских — есть! Надо переместить центр силы, создать мир в Европе — есть!

— Вперед, рабочий Макдональд! На пользу Англии во что бы то ни стало!

О, коварный Альбион!

Что у него выйдет с немцами, какую штуку преподнесет этот простак, пролетарский премьер, доблестной союзнице Франции, пока неизвестно*

Но перед нами, несомненно, новый большой «вольт» коварного Альбиона, играющего и на пролетария, и на аристократию, и на демократию Европы, и на наших московских властелинов, и на все, что угодно, только ради самого себя, ради собственной выгоды.

Пусть будет одно английское правительство, другое правительство, пусть тянется на мировую арену правая или левая рука, но мы видим, что они обе принадлежат тому расчетливому и жестокому существу, которое хочет решить мировую проблему единственно только путем одного расчета.

А мир требует морального разрешения ситуации положения последних лет, разрешения, полного теплых слов участия, искренности, совести и отваги устремления.

И Россия — вся Россия — не может ошибаться в этих своих чаяниях и в старом слове: коварный Альбион! — в этом типичном примере политики скрытых, холодных сил, несущем впереди раздоры и потрясения для мира.

— Умышленно или нет?

* Теперь известно — в 1931 г.! — *В. И.*

Последнее странствование Толстого

Меня чрезвычайно занимает один вопрос:

— Почему в русской литературе не разработана тема об уходе Толстого из Ясной Поляны глубокой осенью 1910 года и о кончине его в квартире начальника станции Р.-Ур. ж. д. Астапово — именно с точки зрения параллельности с другим явлением от литературы, а именно: с описанным Достоевским бегством из дому и кончиной в какой-то случайной избе на пути героя «Бесов» Степана Трофимовича Верховенского?

А между тем сходство это потрясательное, поразительно настолько, что невольно встает мысль: не сжигает ли острый прожектор пророческого взгляда Достоевского большую часть огромной фигуры Толстого? Встает мысль, что существование этих двух признанных гигантов русской литературы невозможно параллельно в виде «Толстого и Достоевского», как это изображено у того же Мережковского... Нет, огромные, полубезумные глаза Достоевского как-то сметают в своем пророчестве фигуру Толстого...

Много написано о «семейной драме Толстого»... Много написано, как ему трудно приходилось с точной, житейской, семейственной Софьей Андреевной... Писалось о том, что задолго до ухода Толстого в 1910 году он заготавливал письма Софье Андреевне, потому что он собирался тогда же покинуть Ясную Поляну.

Собирался и не мог! То, что русский простой православный верующий человек делает легко, оставляя семью и уходя либо в монастырь, либо в странствование,— для Толстого составляло огромную проблему, почти неразрешимую... В своих взглядах на Шекспира, на театр Толстой применил тот метод, который он нашел в описании московской оперы в 1-м томе «Войны и мира», когда он описывал «толстую голубую женщину, которая что-то пела, а около нее мужчина быстро бил ногами друг о друга»; при таком методе описания ясно, что всякое театральное представление превратится в форменную чепуху. И вся жизнь Толстого в Ясной Поляне, «не принадлежащей ему», изречение им многих весьма глубокомысленных радикальных сентенций

на тот счет, что-де «земля Божия», что «государство не имеет права убивать», его нападки на русское историческое православие — все это может быть отлично изображено его стилем, примененным им при описании оперы, и, конечно, вся его революционная деятельность выглядела бы при этом чрезвычайно нелепо. Но при авторитете Толстого никто не решался поднять руку на признанного при жизни гения, и вся интеллигентская Россия страшно сочувствовала «Льву Николаевичу» по поводу его «тяжелой жизни» с «Софьей Андреевной», на попечении которой он жил и кумиром которой он был целое полстолетие.

*

Степан Трофимович Верховенский, один из главных персонажей «Бесов», тоже был кумиром Варвары Петровны Ставрогиной... Он тоже в свое время имел за собой политическое что-то, страшно гордился этой либеральностью и очень огорчился, когда однажды узнал, что в Петербурге против него ничего уже не имеют. Радость его была безгранична, когда в «тайном» зарубежном издании напечатали грех его молодости,— поэтому и держал эту поэму у себя под матрацем, охраняя свое благополучие со стороны губернатора. Итак, жизнь Степана Трофимовича тоже имела бы быть разделенной на две части — одна для публики, для горделивого самомнения и сплошного пьедестала, а другая для внутреннего спокойного буржуазного употребления. Особенно при этом его мучила Варвара Петровна, которая так его любила, что предложила ему не только стол и квартиру, а и женитьбу на Дашеньке...

Вот в этой мирной обстановке и мог извергать свои потрясательные речи Степан Трофимович, в обстановке, полностью аналогичной исключительной обстановке Ясной Поляны.

И вот в одно осеннее утро «он вышел на большую дорогу и пошел по ней»,— пишет Достоевский.— Он оставил Варвару Петровну,— эту носительницу пошлости и мещанства, и, «подняв знамя великой идеи, идет умереть за него на большой дороге», как это сделал Толстой.

Конечно, Толстой точно так же, как Верховенский, мог бы уехать на лошадях, совершенно решительно заявив жене о своих настроениях. Но не тут-то было! «Мне ка-

залось, что мысль о подорожной и лошадях (хотя бы и с колокольчиками) должна была представляться ему слишком простой и прозаичною; напротив того, пилигримство, хотя бы и с зонтиком,— гораздо более красивым и мстительно-любовным,— пишет Достоевский и прибавляет:

> — Могло быть и гораздо проще, потому что Варвара Петровна могла проведать это и задержать его силой, а тогда прощай навек великая идея»...

Степан Трофимович одет был по-дорожному, то есть шинель в рукава, и подпоясан был он широким кожаным лакированным поясом с пряжкой, в высоких сапогах. Шляпа с широкими полями, гарусный шарф, плотно обматывавший шею, палка в правой руке, а в левой маленький чемоданчик. В этой же руке был и распущенный зонтик.

Так вышел он в поле, чтобы искать Русь, не нашедший ее за всю жизнь, всю жизнь проговоривший, пробахвалившийся, пролгавшийся Верховенский... И он восклицает встретившейся Лизе:

— Ну сомм ту малерс, мэ иль фо пардонне ту!.. Пардонон, Лиз, и будем свободны навеки!.. Чтобы разделаться с миром и стать свободным вполне — иль фо пардонне, пародонне, пардонне, пардонне...

Там, сзади уходящего Верховенского, в тумане дождя уже видно зарево пожара, там орудуют революционеры, в которых вселились гадаринские бесы...

И на вопрос о них он отвечает:

— Эти люди! Я видел зарево их деяний... Они не могли кончить иначе... Бегу, бегу из горячечного сна, бегу искать Россию, но существует ли Россия?

И он двинулся вперед.

> Старая, черная, изрытая колеями дорога тянулась перед ним бесконечной нитью, усаженная своими ветлами; направо — голое место, давным-давно сжатые нивы; налево — кусты, а за ними далее лес... Степан Трофимович оробел, но на мгновение. Он поставил свой сак возле ветлы и присел отдохнуть... Делая движение садясь, он ощутил в себе озноб и закутался в плед; заметив тут же и дождь, он распустил над собой зонтик... На дороге показалась телега...

В эту русскую мужичью телегу и попал Степан Трофимович, увидав в ней и в привязанной к ней корове «действительную жизнь»; и, обещав полтинник мужику, вместе с

ними, этими простыми людьми, прибыл Степан Трофимович в их избу:

> Даже самый озноб, коротко и отрывисто забегавший у него по спине, как это всегда бывает в лихорадке с особо нервными людьми при переходе с холода в тепло,— стал ему как-то странно приятен... Он поднял голову, и сладостный запах горячих блинов, над которыми у печи старалась хозяйка, защекотал его обоняние... Улыбаясь ребячьей улыбкой, он потянулся к хозяйке и вдруг залепетал:
>
> — Это что ж? Это блины!.. Мэ... о, сэ шарман!

* *

Ушел барин в поле, проживший весь век в хоромах, и очутился в чужой мужичьей стихии. Правда, с Толстым был «ученик» Чертков, почтительно восхищавшийся смелости мужа, оставившего жену.

Степан же Трофимович тоже нашел себе подругу в лице книгоноши, торговавшей Священым писанием,— Софьи Матвеевны.

С ней вдвоем доехали они уже на лошади в с. Устьево, и во время дороги Степан Трофимович и ознакомился с Евангелием, которое до того времени он знал только в «изложении Ренана».

И так как русские баре, что бы они ни выдумали, прежде всего бросались сообщать эти свои открытия русскому народу, не допуская той мысли, что у народа-то свой царь в голове, да еще получше ихнего, Степан Трофимович сразу же решает, что они с Софьей Матвеевной будут проповедовать Евангелие.

> Да, что я чувствую, кельк шоз де трэ нуво дан се жанр,— говорил он.— Народ религиозен, с адми, но он еще не знает Евангелия... Я е м у и з л о ж у е г о!.. В и з л о ж е н и и у с т н о м м о ж н о и с п р а в и т ь о ш и б к и э т о й з а м е ч а т е л ь н о й к н и г и...

Действительно, каких «бесов» в душе надо иметь, чтобы сметь рассуждать так, как после этого рассуждал сам Толстой, излагая Евангелие.

Степан Трофимович очутился, наконец, с Софьей Матвеевной в доме богатого мужика в Устьеве, и тут он начал

излагать всю свою жизнь своей спутнице, впадая уже в последний бред...

Он убежал, он бросил этот двадцатилетний сон...

Ночь прошла в бреду, наутро стало нашему Степану Трофимовичу легче. Софья Матвеевна стала ему читать Евангелие, прочла Нагорную проповедь, и он сказал:

> — Мой друг, я всю жизнь лгал! Даже когда говорил правду. Я никогда не говорил для истины, а только для себя, и я это знал, но только теперь вижу...

Софья Матвеевна развернула наугад Евангелие и прочла по его просьбе:

> И ангелу Лаодикийской церкви напиши... о, если б был ты холоден или горяч... Но поелику ты тепел, а не горяч и не холоден,— то извергну тебе из уст моих...

Величайшее преступление перед духом — быть только теплым. На сильное в Верховенском и Толстом не хватало сил и духу,— и даже этот последний разрыв с прошлым и у Толстого, и у Верховенского — выпад бессилия...

И захлебывающийся от бреда Степан Трофимович пророчествует:

> Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней,— это все язвы, вся нечистота, все миазмы, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей больной России за века, за века... Да, это Россия, которую я всегда любил... Но великая мысль и великая воля осеняет ее, Россию, свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все бесы, вся нечистота, загноившаяся на поверхности... И сами будут проситься войти в свиней... Да и вошли уже, может быть... Это мы, мы и те, и Петруша, и я, может быть, первый во главе, и мы бросимся, безумные, со скалы в море и все потонем, и туда нам и дорога, потому что нас на это только и хватает. А больной исцелится и «сядет у ног Иисусовых»

Вот та правда, которая открылась этому талантливому человеку на грани его жизни; и разве не поразительна аналогия эта со смертью Толстого, смертью своей запечатлевшего тот порыв, который мучил его всю жизнь, который выбросил его из лона православного, из лона и духа русского, на осенние грязные дороги, где свистки на ст. Астапово беспокоили его последние минуты?..

*

Три дня лежал в бреду в с. Устьеве Степан Трофимович и на третий день, гремя, вскакала во двор его случайной избы карета четверкой, а в ней Варвара Петровна. Все было поставлено на ноги. Приехал доктор Зальфшиц из города и старался оказать посильную помощь больному. Конечно, был разговор между двумя женщинами, между Софьей Матвеевной и Варварой Петровной, откуда Варвара Петровна узнала, что, рассказывая Софье о ней, ее друг, лежащий на смертном одре, все-таки прилгнул кое-что, как это делал всю жизнь,— прилгнул выигрышно и художественно...

И даже когда Степан Трофимович исповедовался и хотел что-то возразить священнику на его тираду о необходимости упования, его оборвала та же Варвара Петровна:

Батюшка,— воскликнула она, обращаясь к священнику,— это ведь такой человек, что через час его опять переисповедовать надо будет!..

Ложь, которая проистекала у него из желания прежде всего в каждом своем действии видеть свое «я»,— вырвалась и тут, но вскоре пришедшая смерть, правдивая и вечная, задушила его.

И в чужой избе, в с. Устьеве, окруженный чужими, недоумевающими людьми, окруженный примчавшимися встревоженными друзьями, скончался Степан Трофимович Верховенский так, как, провиденный гениальным чутьем Достоевского, скончался в наше время и Лев Николаевич Толстой, выкинутый из семьи, религии, государства, общества, отрекшийся от всего, но и не нашедший того самого, ради чего он в продолжение стольких лет разрушал государство, общество, нацию, религию, собственность...

Достоевский говорит, что это сделали бесы, а за ними идет великое избавление.

Буди, буди!..

О масонах

Поезд, грохоча в облохмаченных рваным дымом туннелях, бежал по горным ущельям, срывам, обрывам лиловой Кореи. Вот совершенно непонятная страна! Живописные виды с аспидными скалами, с бегущими потоками мутных и кристально чистых горных речек и ручьев, бархат пышной зелени, серо-желтые, бурые глиняные хижины, крытые рисовой соломой, народ — неподвижный, ленивый, в белых халатах своих, в крохотных волосяных цилиндриках над свернутыми на головах косичками у мужчин, совершенно открытые желтые груди у женщин,— все это полно своеобразной скукой.

В синем бархатном вагоне против меня сидит м-р Грант. Он добродушен, сед, спортивно худ, подвижен. Рядом с ним типичная американка — какая-то его родственница. Она зеленоглаза, краснощека так, как будто рекламно вымыта самым лучшим мылом. Золотистые, каштановые волосы сваляны под сеткой в сплошную массу, большие руки по-мужски тверды,— она имеет какие-то спортивные рекорды. И с пляжа у Алмазных гор оба возвращаются в офис — в контору, в Сеул.

В офисе м-ра Гранта против бывшего императорского дворца, где в свое время группой японских патриотов зарезана была за строптивую патриотичность своего нрава последняя корейская императрица, вы можете купить билеты на Транспасифики, застраховать жизнь в любую сумму, купить шляпу, магнето для автомобиля, наконец — самый автомобиль. Вы можете обзавестись там и викторолою с шаляпинскими пластинками. И все это в высшей степени дешево, доступно, с кредитом. Дешевизна делает оборот, оборот делает деньги.

М-р Грант, таким образом, состоит посредником между колоссальной индустрией Звездного Флага и рынком Кореи, на котором своего производства почти нет, кроме соломенных сандалий и аршинных трубок. Таким образом, налицо все данные для завоевания рынка импортом.

Кроме импорта, м-р Грант занимается и экспортом. Среди низкорослых, скучных зданий корейской столицы, подобно

капищу современного бога — Комфорта, высится темно-коричневое кафельное здание «Чозен-Отеля». В его уютных холлах, где темное дерево комбинировано с цветной майоликой и живописью блеклых тонов, в его номерах, где ночь и день, тонко жужжа, кружатся пропеллеры фенов, разгоняя удушье корейского июля, и стоит в никелированных термосах ледяная вода, на веранде, которая выходит фронтом на древнюю корейскую пагоду с кружевной каменной беседкой, с безмятежно бьющим фонтаном под огромными столетними деревьями, где стонут цикады, проживает племя американских туристов. Эти сыны Звездного Флага, пересекающие океан в комфортабельных многоэтажных пароходах, не прочь захватить с собой домой произведения корейского искусства, тем более что своего искусства они не знают.

Им м-р Грант продает вещи — древние, редкие и дорогие. В настоящем корейском стиле — кореан стайл!

В квартире у м-ра Гранта, в маленьком корейском домике — кореан стайл! — под старыми деревьями, все комнаты загромождены мебелью. Кожаные комфортабельные кресла всажены в массу корейских сундуков, шкафов-шифоньеров. Все это сияет зеленой и красной краской, контрастом между черным деревом и перламутровой инкрустацией или просто перламутром, розовым и нежным, как алый блеск восходящего солнца на морозных окнах нашей России. На сундучках торчат медные подсвечники в виде бабочек и драпировки, скатерки корейского эмбродери.

— Кореан стайл! — серьезно молвит м-р Грант.

В своих бизнесах он не церемонится с толпой покупателей. Он не чужд и журналистики и может напугать японцев статьями в американских газетах, чего они боятся до чрезвычайности, в то же время он совершенно сознательно главным образом переводит олд кореан стайл на степень простого товара. И это не ново. Ведь много американцев занимаются экспортом предметов искусства при каждом удобном и неудобном случае и из разгромленного Китая, и из голой Кореи, и из обманываемой культурой Японии, и из одичавшей ныне России. И, может быть, гиды в американских музеях, показывая любопытствующим клеркам бриллианты русской короны, говорят теперь так:

— Рашен стайл!

Склад духа у американцев подходящ для этого.

* *

Вагонный наш разговор вполне миролюбиво мечется из стороны в сторону

На синем бархате дивана около м-ра Гранта лежит номер журнала «Сачюрдей Ивнинг Пост». Я восхищен качествами этого издания.

Вы знаете, м-р Айвэнов,— быстро говорит м-р Грант, отымая ото рта трубку,— вы знаете, тираж этого журнала свыше миллиона экземпляров!

И глаза его блестят.

Он справляется у своей спутницы:

Сколько, не помните, заплатили мы за наше небольшое объявление? 500 долларов? Пустячок! — говорит он.— О, отличное дело...

Меня, конечно, интересует другое:

— А каковы там авторские гонорары?

М-р Грант, собственно, не знает, как обстоит дело с авторскими гонорарами в «С. И. Пост», но он уверен, что если вещь м-ра Иванова будет туда принята, то м-р Иванов будет в состоянии спокойно жить на эти деньги несколько месяцев. Да, вот это дело...

В словах м-ра Гранта слышится глубочайшая страсть к делу. Да, вот такой понимает, что такое организовать, чувствует всю упоительную красоту работы.

Наш разговор переходит на русские дела. М-р Грант поражен нашей путаницей, нашей неразберихой. Американскую колонию в Сеуле осаждают целые толпы русских из Владивостока. Ничего не поймешь! Что такое, например, за народ — казаки?

Я пытаюсь объяснить, и все, что я ни говорю, видно, совершенно непонятно для м-ра Гранта, экспортера и импортера. Говоря, я сам вижу перед собой целые толпы казачьих генералов, атаманов, чиновников, офицеров, слышу их лихие речи на банкетах, вспоминаю историю России, историю борьбы против большевиков и — становлюсь решительно в тупик: как изложить все это в минутной речи?!

Черчу карандашом на первом попавшемся журнале схему русской карты. Протягиваю границы. По границам начинаю намечать казачьи войска. Они и должны оборонять границы эти.

— Как странно,— замечает м-р Грант,— значит, эти люди всегда были воинами? Как номады?..

Вспоминаю банкетные речи.

Нет,— говорю я.— Казаки были основами русского государства. Благодаря их защите оно и могло только развиваться.

*

— Но защита — одно дело, а развитие — совсем другое,— говорит здоровый, ясный, как палец, практический смысл м-ра Гранта.— Значит, казаки были всегда охранителями самодержавия?

Нет, казаки всегда были свободолюбивыми и охраняли свои казачьи вольности...

— Это вроде украинского сепаратизма?

Нет, никакого сепаратизма, хотя после революции все казачьи войска стали возглавляться исключительно выборными атаманами и местными войсковыми правительствами...

Из местного населения?

— Нет, исключительно казачьими, потому что казаки сидели на собственных, жалованных казачеству царем землях. На собственных казачьих землях... Так, в 1920 г. атаман Уссурийского казачьего войска пытался сдать иностранцам концессии на землях этого войска, ссылаясь на свою суверенную отличность от всего местного населения...

Но это сепаратизм и есть?..

— Нет, это только подтверждение прав, полученных от императора.

Мой собеседник и я — оба начинаем понемногу раздражаться. Материя, действительно, запутанная. В данный момент мне, как русскому, и более никому, надлежит распутать этот предмет, а как его распутаешь, если и сам-то толком не знаешь? И так каждый разговор о России...

И в полусмущении я начинаю рассматривать журнал, на котором я чертил расположение казачьих войск. Этот журнал «Нью Эдж» — Новая Эра.

— Что это за журнал? — спрашиваю я м-ра Гранта, развертывающего в этот момент тоненький сэндвич.

— Это? Масонский!..

Масоны! Вот слово, которое для нас, русских, полно самых энигматических значений. Я раздражен сейчас на м-ра Гранта, на импортера, экспортера и корреспондента, но я не могу отрицать за ним одного — эту ясную, как день, как глаза ребенка, и в то же время режущую, как нож острую поста-

новку вопросов. В постановке этой меня бьет необходимость пересматривать вопросы тысячелетней давности на простых и крепких основах реальных соотношений... И как часто многое, будучи вытащено на солнце ясного сознания, оказывается столь же поблекшим, как мундир гоголевского Ивана Никифоровича, вывешенный на забор ключницей и относящийся к тому времени, когда хозяин еще служил в милиции!

Но при чем тут, при этой ясности — масонство, что-то тайное и герметическое? В каком же отношении стоит этот определенный м-р Грант к этому явлению, о котором столько говорят в воздухе тех сфер, которым я дышу?

— Вот странность,— говорю я.— Я много слышал, м-р Грант, про масонов, но никогда в жизни я не видел и не говорил ни с одним масоном!..

М-р Грант спокойно объявляет:

— Я — масон!

Я чувствую себя немного неловко при таком обороте дела.

— Да,— говорит м-р Грант твердо,— я масон. Имеете ли вы, сэр, понятие о том, что такое масонство?

Только что я не смог разобраться в таком национальном русском вопросе, как вопрос о казачестве. Откуда же мне знать, что такое масонство? Мои представления об этом предмете так смутны, так расплывчаты, так разлохмачены, так наполнены отечественными страхами, что я не могу ответить на этот вопрос утвердительно.

— Прочитайте-ка это! — говорит м-р Грант.

Я читаю на первой страничке крупно напечатанную «Молитву». Кто-то молится Господу Богу, чтобы не творил бы Он более гигантов на земле, а чтобы весь народ был одинаково свободен. Равным образом благочестивый масон молится о том, чтобы ему Бог не давал ни богатства, ни бедности, а чтобы он только мог работать во всю меру своих сил.

Вот,— говорит м-р Грант, и глаза его скромно блестят,— это и есть содержание масонства. Оно очень скромно. Мы хотим по мере наших сил приблизиться к Царству Божию уже на земле. Это дается только работой. Для этого нам нужна полная перестройка людского духа. Нельзя работать организованно, коллективно, не имея массы равных, дисциплинированных людей-работников и имея опасность возникновения наполеонов, волей своей разрушающих целые общества. Поэтому главные усилия наши направлены на создание наиболее работоспособного человека.

— Нас обвиняют в атеизме,— продолжал он.— Вы сами видите, что это неправда, м-р Айвэнов. Нельзя работать, работать всю жизнь, не имея веры в то, что работа нужна. Только такая вера — вера в Бога может освятить работу, сделать возможным самоотвержение для нее.

— Мы ясно видим, что мы не можем избежать плоти, обойтись без нее. Поэтому мы ставим себе проблему преодоления плоти путем подчинения ее нашей воле. Но это подчинение не будет носить характера отречения от нее. Мы не истязаем плоть, а упражняем ее для того, чтобы владеть ею в полных ее возможностях. Наш спорт имеет, таким образом, грандиозное значение в качестве постоянного подчинения ее разуму и воле. И вы сами знаете, как мы работоспособны!

Я внутренне улыбнулся при мысли о нашем русском послеобеденном сне как отдыхе после неуспешных трудов.

— Такое общество, как наше американское, более, чем какое-либо другое, построено на доверии, согласованности и сплоченности. Но кроме этого мы не закрываем глаза на действующие в человечестве страсти. Мы изучаем человечество со всеми его хорошими и дурными сторонами, как для постройки дома каменщики изучают свой материал. Чтобы противостоять дурным влияниям, чтобы бороться с ними, нужно смотреть правде в глаза — как мужчины. И мы умеем это делать, вы это знаете. Вот, посмотрите, что мы пишем о России.

И он указал мне на корреспонденцию из Москвы в этом же номере.

Я не имею, к сожалению, под рукой экземпляра журнала и потому привожу характеристику на память.

Россия — огромная страна, степная, с разрозненным населением, безграмотным, привыкшим к церковному и царскому авторитетам. Она фактически живет теперь старыми формами, руководимая разными хищниками, которые учли обстановку и пользуются ею для укрепления своего положения...

Не правда верно? — холодно спросил м-р Грант

Правда!

— И пока мы пишем так,— сказал он с ударением на «мы»,— советское правительство не будет признано, м-р Айвэнов. Но, сэр, мало того, чтобы следить за всем, что делается на свете. Надо всюду уметь осуществлять свою волю.

И потому наши организации связаны страшной дисциплиной. То, что прикажет Верховный Совет, то будет сделано.

— Много вас?

— Миллионы!..

— Значит, выборы президента САСШ, его политика, война и мир, пресса — это все дело масонов?

— Да, Георг Вашингтон, первый наш президент, был масон. Есть две истории, м-р Айвэнов. Одна, которую пишут и которую читают такие, как вы, а другая, которую знаем только мы. Во второй этой истории все совершенно ясно, ибо те, кто ее пишут, ею и руководят.

Ну а такие события, как наша революция?

— Азия должна была начаться с вас,— пожал он плечами.— Не знаю, следовало ли это делать. Азия и только Азия поддерживает Америку своими торговыми возможностями. И вы, русские,— азиаты. Смотрите, в каком тумане вы живете! Вы не знаете вашей страны. Вы в тумане авторитета, пережитков. Вы не можете лавировать между обстоятельствами. Вы не знаете и боитесь правды!

Я вспомнил его «кореан стайл» и опять улыбнулся. Вот к чему приводит проповедуемая и проделываемая ими всеобщность искусства их, равенство и правда. К тому, чтобы в 1000 американских коттеджей создать эту путаницу раритетов, к тому, чтобы разорвать ризу одного народа на утеху другому и доставить ее через море, как австралийское мясо, китайский чай, сибирское масло. Драгоценное чеканное серебро Бенвенуто Челлини разменять на двугривенные и раздать всем на руки...

В результате американской культуры мы имеем потрясающие скайскретчеры — царапатели небес, удешевление автомобилей, фарфоровые ванны всюду, корабли в 50000 тонн. Мы должны понять, что это дело не отдельных людей, а целого общества, доведшего себя хитрым тренингом воздержания от радостей жизни до возможности таких результатов коллективного труда. И в то же время мы ясно видим, что этот метод есть метод обеднения, обескровливания жизни, уничтожения отдельных лиц. В Америке не может быть ни малинового бархата и женщин Тициана, ни темперамента Казановы, ни искрометных драм Мольера, железного Шекспира, Великого Инквизитора, классического Пушкина, ясного, как слезы, Гомера.

Все перечисленные люди не могли быть масонами, потому что они гиганты, небытия которых просит масонская молитва. Они не могли бы быть американцами потому, что они стоят

на «милой дебелой земле», а не на конструктивных подмостках своей ограниченной жизни. Более того. Ведь д. американцев непонятны даже великие американские поэты По, Лонгфелло, Уитмен.

Тем более не согласуется масонство с русским общим характером. Ведь идея царя, возглавляющая русскую коллективную психику и ныне здравствующая в Москве с обратным знаком Зла, в советском дьявольском самодержавии, именно отдает массу отдельных воль единой, высочайшей личности, создавая этим колоссальную силу. Добро, которое может прийти только через личность! Какое же добро может оказать Америка, кроме раздачи галет, теплых носков, шоколада и кинематографов в вагонах с красными треугольниками? И это — помощь, помощь во время революции? Вспомним тот манифест, который в 1848 году издал император Николай I*, и мы поймем, что такой манифест может издать только свободная ответственная перед Богом, разумом и совестью личность. Личность, никто больше. Пусть говорят, что в монархии унижается именно личность,— зато при ней уж всегда есть хотя бы одна личность — это сам монарх. Зато при американизме в политике мы, увы, не имеем ни одной.

М-р Грант говорит мне:

Мы не спрашиваем ваших беженцев об их убеждениях. Мы просто кормим и одеваем их... И если накормить Россию, то и вся неурядица в ней прекратится...

Странно, однако, что именно в сытой России разыгрался чертогон революции.

Правда, теперь нам нужны и галеты и шоколад. Ведь все эти вещи не для мирного жития, а для времени боев и походов. И пусть где-нибудь за океаном и будет страна, которая будет кормить тех, которые, сами не понимая того, изнемогают в смертельном бою за святую идею добра против холодной идеи равенства.

Но м-р Грант! Кто же захочет питаться галетами шоколадом всю жизнь? Ведь даже и вам надо откуда-нибудь брать разные «стайлы» для их экспорта. На «стайлы» есть спрос, и мы храним этот русский стиль! А в Америке, увы, стиля нет. Ибо там организованная масса съедает личность, и даже Вильсоны не имеют успеха в своих проповедях.

---

* Поход против Венгрии.

Юлиан Отступник

Современное в древнем.

Кончились тяжелые для первого христианства дни, и новые дали заблестели перед ним; гонения цезарей Нерона, Максимина, Деция, Диоклетиана, казалось, отошли в вечность, оставив столько крови и столько дивных образов первомучеников. Широко и свободно развертывалась проповедь христианства по диоцезам Малой Азии, которая видывала на площадях своих городов разнообразных бородатых философов, привыкла к их речам. И в политическом отношении Малая Азия оказалась более надежной; кипящая новыми, начинающими жить народами Галлия — ненадежная соседка дряхлеющему великолепному Риму.

Эти племена то и дело грозят ворваться в древний город, и только известное почтение к этому центру латинского духа удерживает их от окончательного разграбления города Ромула и Рема; вот почему престол императора уходит туда же, в Малую Азию, носительницу древних изысканных культур: иудейской, персидской и эллинской, и император св. Константин Великий основывает вместо маленькой торговой колонии Византии — Новый Рим, Константинополь, собственноручно копьем намечая стены будущего города.

Основание Константинополя — Нового Рима — было началом окончательной победы христианства, которое и так имело уже за собой много побед. Уже лабарум, знаменитый значок в войске Константина, был с крестом и буквами имени Христова; миланский эдикт 313 года императоров Константина и Лициния устанавливал по отношению к христианству полную веротерпимость:

— Мы установили,— пишут они,— чтобы и христианам дана была полная свобода жить в той вере, в которой они хотят, дабы Небесное Божество было благорасположено и к нам и ко всем, кто находится под нашей властью...

* *

Восточная страстность, привычка к публичным рассуждениям — все это отразилось и на быте христианского вероуче-

ния. Вот картина жизни того времени, относящаяся к арианским спорам:

> Все полно людьми, рассуждающими о непостижимом,— говорит св. Григорий Нисский.— Полно все — улицы, рынки, перекрестки. Спросишь: сколько оболов надо заплатить? — философствуют о Рожденном и нерожденном... Хочешь узнать цену на хлеб — отвечают: — Отец больше сына!.. Справляешься — готова ли баня? — говорят: — Сын произошел ничего...

Эти споры вызывают необходимость разрешить их на так называемых соборах... Аммиан Марцелин сообщает:

> — Целые ватаги епископов разъезжают с места на место, пользуясь государственной почтой, на так называемые синоды, в заботах наладить весь культ по своим решениям...

И сообразно этой популярности христианства, его распространенности в массах начинается определенная «мода» на него, со всеми сопутствующими отрицательными последствиями. И как всегда бывает, чем шире и массивнее идет горение нового вероучения, тем больше дурных сторон в не проявляется по самому свойству человеческой природы. Ведь стать христианином теперь и безопасно, а главное — выгодно. Прошли времена кристально чистых первомучеников, и общечеловеческие начала обыденщины и пошлости привходят и в это великое учение. 341-й год приносит христианам запрещение языческих культов, закрытие языческих храмов.

И вот увлеченные не в меру христиане грабят эти храмы, утаивают сокровища и начинают вести разгульную широкую жизнь, не соответствующую их званию. На этой почве возникают клятвопреступления, равнодушие к общественному мнению. Как указывают современники, возникает большой спрос на шелка; требуют особо красивых тканей, и ткацкое искусство прогрессирует. Широко развито пьянство и обжорство, и в большом почете кухня и повара.

Так приходит к новому быту новый победоносный класс не стесняющийся ничем, пользующийся своим положением, сменяющий старых — «будет, пожили!»...

Мы не должны отвращаться от этих несимпатичных обстоятельств, при которых утверждалось и начинало развиваться христианство. Задача историка изучать эту историческую и социально-религиозную обстановку, при которой

росли и ширились религиозные идеи. В противном случае мы подлежим опасности слишком некритически принимать данные официальной церковной истории, чем в России грешили даже светские историки.

* * *

Находит ли себе отпор этот новый несущийся вал народной жизни, соединяющий и новое — новую религиозную идею, побеждающую мир, и старое — радость жизни, буйственную пиршественность, падение культуры, свойственные переходным эпохам? Да, находит! В этом бесполезном, но благородном сопротивлении новому потоку новой жизни лежит значение Юлиана Отступника.

Он — племянник равноапостольного Константина Великого и в молодости ревностный христианин, певший на клиросе. Не думавший никогда о сане Цезаря, он, ученик евнуха Мардония и ритора Либания, жил в Афинах, в этом кладезе мудрости античного мира. Там, в запачканной философской тоге, с длинными нечесаными волосами, с пальцами, выпачканными в чернилах, он в парках и на площадях знакомится с античной философией и проникается ею. Не долго было, однако, его пребывание в Афинах. Император Констанций отправляет Юлиана в Галлию во главе легионов; и меч оказался ему по руке не меньше философского стиля.

В течение пяти лет он утверждает в Галлии порядок, ставит туземные племена на свое место и выступает даже против поставившего его Констанция. Смерть этого последнего в 361 году делает его единственным императором; он приезжает в Византию — в свой дворец и там остается с декабря 361 по июль 362 года, когда выступает в поход на Восток.

Но это короткое время пребывания в Византии достаточно было для того, чтобы заслужить глубочайшую ненависть новых властителей — христиан и прозвище — Отступника.

Воспитываемый в детстве в сети придворных интриг в отдаленном замке, он, философ, ненавидит этот дух непримиримости новых адептов христианства.— Дикие звери не проявляют такой ненависти к людям, как большинство христиан в своих разномыслиях! — говорит он.

Ему на фоне этих крикливых споров, этого шума, борьбы

мнений и верований, ненависти и раздоров вспоминаются иные, старые времена, столь теперь величавые в воображении. Он слишком уважает религию, чтобы не требовать от нее пышных форм. Религия сопровождала в утонченных формах именно устойчивую победоносную государственную жизнь прошлого. Его памяти преподносились торжественные процессии с юношами и девушками, красиво одетыми, увенчанными цветочными венками, которые вели жертвенных животных с золочеными рогами. Его философскому мышлению особенно отрадным казался тот гражданский мир, который столь заманчивым кажется в переходные эпохи. А действительность?

Она была так безотрадна!

Он посылал врача Оривасия к Аполлону Дельфийскому, и безрадостно было предсказание оракула.

— Скажите царю,— изрек оракул,— что прекрасный дворец разрушен, что Аполлон не имеет больше ни святилища, ни вещего лавра, ни говорящего источника, замолкли журчащие воды...

И все это прекрасное прошлое погубило победоносно распространяющееся христианство! Сначала Юлиан очень либерален. Он решает, что он по-прежнему сам будет исправлять древние культы, что люди, увидав их, вспомнят и полюбят их вновь; пусть галилеяне (так называл он христиан) верят в своих мертвецов, мы не будем силою привлекать их к прекрасному культу наших богов!

И он ревностно, в потоке нового, отдается прошлому. О нем сообщает один из его биографов:

> Где бы Юлиан ни был, прежде всего он наблюдал праздничные дни языческого календаря и был крайне недоволен, если в храмах не находил торжественной службы и богатых жертвоприношений. Любил сам носить дрова к жертвеннику, подводить жертвенное животное, изучать внутренности и по ним узнавать волю богов. И все это было не формой, но глубоким убеждением, которое, впрочем, находили неуместным даже близкие к нему люди...

Время шло, складывались неудержимо новые формы жизни; нет слов, что старые формы были прекрасны. Нет споров о том, что древние поэты еще жили в своих свитках, покрытых пылью разваливающегося древнего мира. Но старое теряло напор и не могло бороться с жизнью.

Юлиан прекрасно сознавал это. Он философски спокойно

изобразил в одном из своих писем настроение переходной эпохи:

— Я глубоко страдаю, видя господствующую у нас холодность по отношению к религии. В то время как приверженцы новых учений оказываются столь ревностными, что готовы жертвовать своею жизнью за свою веру, готовы выносить всякую нужду и голод, мы же оказываемся столь холодны к богам, что совсем забыли отеческие законы...

И в сознании своего бессилия он, могучий повелитель Востока и Запада, стал впадать в ярость. Он недалек от того, чтобы воздвигать гонения. К нему явились христиане, требуя суда над грабителями.

— Или не заповедовал вам Галилеянин,— издевался Юлиан,— если у вас требуют одежду — отдать и другую?

А жалующимся на избиения говорил:

— Не должны ли вы подставить левую щеку, когда вас ударят по правой?

Самые великие идеи по воплощении имеют довольно затрапезный вид; и для утонченного, в прошлом живущего, никакого компромисса не знающего Юлиана, конечно, в христианстве шел Великий Хам.

Он восклицал:

— Покажите мне, что в царствование Тиберия или Клавдия к их вере обратился хоть один порядочный человек, и тогда считайте меня подлым лгуном!

Но история не дает ответа отдельным лицам. Из античной Римской империи Запада вышла христианская империя Востока — Византийское государство, в котором причудливо переплелись и власть императора и власть Бога. Новый Рим нес в себе элементы старого Рима, но не те, которыми столь любовался в конце концов поднявший против христиан гонение Юлиан. Жизнь потом примирила непримиримых врагов.

А тогда они были непримиримы. Епископ Халкидона, слепой старик, однажды встретившись с Юлианом, стал поносить его за то, что по-прежнему всюду запылали алтари в честь старых богов.

Юлиан сказал:

— Несчастный, оплакивай лучше свою слепоту, ибо тебя не исцелил Назорей, которому ты воздаешь поклонение!

— Благодарю Господа моего Иисуса Христа,— отвечал неистовый старик,— ибо Он дал мне утешение не видеть твоего бесстыжего и безбожного лица!

И когда Юлиан погиб на Востоке, раненный вражеским

копьем, все христиане империи вознесли торжественные благодарственные молебствия.

* * *

Эта забытая трагедия человека с сильной, тонко чувствующей душой, разыгравшаяся 1600 лет тому назад,— не близка ли она русскому эмигрантскому духу? И там и тут прошлое так ясно предстоит сознанию, вызывая мучительные потуги его воскресить, остающиеся при всем том совершенно бесплодными.

Но как и в Византии, так и теперь прошлое, конечно, сыграет неизбежно свою роль, проводя черту от былого через революцию к будущему, но как ляжет эта черта — никто не в состоянии сказать. Тем менее можно пытаться обратить вспять колесо истории, хотя Юлиан с его идеями и останется близок духу эмиграции.

Столыпин

Живая власть для черни ненавистна,
Она любить умеет только мертвых.

Пушкин

Отлично помню этот осенний серый дождливый петербургский день, когда в ресторане Крутецкого на Васильевском острове за 40-копеечным обедом я прочел телеграмму, что убит в Киеве председатель совета министров П. А. Столыпин. Бросив обед, я выскочил на Средний проспект, по-осеннему оживленный и мокрый. Все было по-обычному, и в то же время я ясно чувствовал, что случилось что-то такое непоправимое, чего я не мог тогда понять.

А другие, оказывается, понимали. Видный эмигрантский писатель настоящего времени И. Ф. Наживин сознается теперь, что «он плясал, услыхав про смерть Столыпина», так он был ей рад! Уже поистине Бог отымает разум у тех, кого хочет наказать.

За Столыпиным охотились, как за зайцем,— ужасная судьба русского государственного деятеля! Если мы ценим подвиги, совершаемые на войне, в обстановке массового аффекта, подтвержденного и обоснованного многовековой особой дисциплиной, то как мы должны преклоняться перед подвигом этого одинокого человека, который стоял один на своем крупном посту и был обстреливаем со всех сторон. Со стороны Государственной Думы Столыпин был обвиняем в нарушении прерогатив «народных избранников»; со стороны правых — в нарушении верховных прерогатив государя. А со стороны левых в него просто палили из револьверов и бросали бомбы. Взрыв на Аптекарском острове, разваливший его дачу, искалечил самого Столыпина.

Ни одной минуты Столыпин не мог оставаться спокойным за свою жизнь — ведь еще в бытность его саратовским губернатором у него была прострелена рука, которая потом действовала плохо. Он не боялся, однако, вызовов судьбы. И когда шт.-кап. Мацеевич, один из первых русских летчиков, предложил в 1910 году ему полет на аэроплане, Столыпин, твердо посмотрев ему в глаза, согласился.

А между тем ему было известно, что шт.-кап. Мацеевич принадлежит к партии социалистов-революционеров и будто бы был близок к террористическим кругам. Говорят, что он должен был «угробиться» вместе с председателем совета министров, исполняя «задание».

Такое мужество государственного человека, мужество долга, мужество одинокое, необходимо поставить выше военного мужества.

*

В чем сила Столыпина, в чем залог исторической длительности его работы?

Конечно, в его идейности. Он был поэтом государственного дела и государственного пафоса.

Чиновник по землеустройству, гродненский и саратовский губернатор, он всегда прежде всего оставался самим собой, менее всего был чиновником, отбывающим свой номер. При волнениях в Саратовской губернии он первым кидался на самые опасные пункты, и дело часто улаживалось до прибытия войск и без кровопролитий. В этих улаживаниях Столыпин проявлял большое мужество и находчивость.

Так, рассказывают, что он укротил было большую толпу крестьян, причем оставался только один неугомонный бунтарь, никак не желавший успокоиться. Тогда Столыпин приказал ему принять с его плеч его губернаторское пальто и фуражку и носить за ним. И революционер стал смешон в этой роли и потерял свой наглый тон.

Но губернская деятельность была мелка по размаху для Столыпина. И, приглашенный сперва на пост министра внутренних дел в Петербург, он становится затем председателем совета министров, причем это происходит в самое ответственное время.

После 1905 года и пронесшихся над Россией социалистических погромов народ находится в состоянии брожения. Нужны были коренные основательные реформы. Ни созыв народного представительства в лице 1-й Государственной Думы — «Думы народного гнева», как было принято ее называть, ни другие полумеры не могли спасти Россию. Для того чтобы заложить фундамент прочного русского благосостояния, нужно было пройти до самого материка, до самой толщи — крестьянства.

Образовать сильного собственника-крестьянина, сохра-

нить настоящее прогрессивное народное представительство, способное к творческой работе, наконец, задушить дикую революцию — вот что было тремя китами политики Столыпина. И действительно, его работа была подлинным образцом государственной работы, которая шла по русским историческим путям, преобразуя прошлое, но не порывая с ним.

Освобождение крестьян, как известно, не доделало начатого дела. Вместо того чтобы вольный крестьянин очутился на своей собственной земле и стал обрабатывать ее, реформа 1861 г. отдала его в кабалу общины. Русская община стала синонимом косности, бесхозяйственности, отсутствия побудительной энергии к интенсивному ведению сельского хозяйства. Интересно, что за общину держались, однако, и левые и правые. Для левых община была переходною ступенью к социализму; правые, в большом количестве земельные собственники, просто не хотели конкуренции с сильным мужиком, освобождаемым от забот о «бедных соседях по общине», и хотели иметь мужика — дешевого работника. Вот почему именно Государственный Совет становится могилой разных намечаемых было преобразований в жизни крестьянства.

* *

Против предпринятой Столыпиным этой основной реформы государственного состояния России объединились поголовно все слои тогдашнего русского общества. Левых эта реформа не устраивала, так как они удалялись с нею от близкого, как им казалось, социализма. Кадеты и либералы сетовали на то, что некоторая круговая порука общины выручает ее слабосильных членов и что после столыпинских реформ увеличится количество «бедных». Благодаря этому столыпинские выступления в Государственной Думе проходили страшно бурно, он, естественник по образованию, засевший за юридические науки уже стоя на высших постах, был атаковываем блестящими научными именами. Я отчетливо помню номер газеты «Речь», где приводилась речь маститого профессора М. М. Ковалевского против Столыпина; достопочтенный профессор вдребезги раскатывал премьер-министра за его признание принципа государственного приоритета во вкусе немецкого теоретика государства Лабанда. Конечно, всем русским защитникам английского представительного образа правления подобные заявления о сильной власти были не по нутру...

Одним словом, даже цензовая 3-я Государственная Дума не пропустила бы закона о раскрепощении крестьянина, и потому Столыпин разыгрывает известный свой трюк «на строго парламентарных основаниях». Он намеренно в порядке ст. 87 проводит столь необходимо нужный для успокоения России закон в промежуток между 1-й и 2-й Государственными Думами.

По всей России закипает новая, небывалая по интенсивности земельная работа. По закону 6 ноября 1906 г. из общины на подворное владение с 1907 г. вышло 88 972 десятины.

В 1908 — 436 522 десятины.

В 1909 — 1 222 444 десятины.

«1910 — 1 459 389».

Итого за первые четыре года существования нового закона всего освободилось земли от общины и перешло на подворное владение 3 207 294 десятины, на коих было образовано новых собственнических дворов 319 148.

Эта реформа, столь тяжело и враждебно встречаемая в России, была правильно оценена и учтена за границей. Известны слова Вильгельма, что с Россией надо кончать скорее, потому что через 10 лет она будет непобедима, как основанная на правильной форме хозяйства.

Эти меры Столыпина способствовали развитию сельского хозяйства. Урожай 1914 г. дает цифры в 3 657 000 000 пудов. Россия в том же году имеет 52 миллиона голов скота и 35 000 000 лошадей. Одно производство сахара в 1914 г. достигает 104 000 000 пудов.

* *

Государю было угодно даровать России представительный образ правления,— говорит Столыпин,— и мы должны его сохранить... Конечно, он нисколько не сомневался в том, каким *должен* быть этот представительный образ правления. 1-я Государственная Дума была распущена после кратковременного своего существования, потому что она была настроена просто революционно. 2-ю Государственную Думу пришлось распустить из-за того, что социал-демократическая ее фракция, пользуясь депутатской неприкосновенностью, работала над поднятием военного восстания в Петербурге. Чины полиции захватили как раз такое заседание в тот момент, когда один из думских делегатов читал свой «мандат», командирующий его в воинские части на

указанный предмет. Наконец, цензовый барьер в 3-ю Думу был повышен еще более, настолько, что 300 депутатов из общего числа 400 фактически выбирались 30 тысячами крупных помещиков. И все-таки это обстоятельство не помешало 4-й Думе заниматься революционной работой.

Закон о земельной общине, закон о расширении сферы земского самоуправления — все это было проведено Столыпиным помимо Гос. Думы и Госуд. Совета — опять же в порядке ст. 87, распустив Гос. Думу на три дня.

Такие огромной важности законопроекты, как, например, о реформе полиции, лежали в Думе и не проходили годами В своих речах Столыпин прямо бросал депутатам в лицо упреки в отсутствии государственной точки зрения в действиях и в отсутствии патриотизма. Так, говоря по поводу запроса об Азефе, он бросил в лицо лидерам кадетов — Милюкову, Набокову и кн. Долгорукому — участие их в заграничном съезде партии социалистов-революционеров.

Вообще, Государственная Дума была наиопасным врагом Столыпина в его борьбе за Россию.— В а м н у ж н ы в е л и к и е п о т р я с е н и я, н а м н у ж н а в е л и к а я Р о с с и я! — бросил он однажды в лицо этим людям.— Слушая здесь эти речи,— сказал Столыпин в другой раз,— которые зовут только к захвату власти, к анархии и которые грозят всем нам, мы только можем сказать: не запугаете!

Вообще, нужно сказать, что Государственная Дума была тем филиалом русской революции, который жил под охраной своей парламентской неприкосновенности и наконец сделал свое дело в достопамятные дни 1917 года. Столыпину нужно было бы для полного успеха своих дел перебороть это государственное сборище оппозиционеров, но этого он сделать не смог.

Тем успешнее, однако, боролся он с революцией.

* * *

Вплоть до своей смерти, то есть до сентября 1911 года, Столыпин неустанно боролся с «хвостом 1905 года», и, надо отдать справедливость, он привносил в борьбу и страсть и темперамент. К сожалению, он был связан в выборе средств, так как за ним все время зорко смотрел недружелюбно настроенный русский парламент.

Нужно прямо сказать, что по сравнению с теперешними московскими властителями Столыпин боролся вполруки. Уже

одного того достаточно, что государь император **воспретил организацию политического сыска в войсках.** Точно так же не было политического сыска и в среднеучебных заведениях. Борьба с революцией шла не бессудно, но при помощи закономерной юстиции, причем многие юристы-праведники, типа покойного А. Ф. Кони, страшно протестовали. Можно сказать, что у огромного государства Российского были отняты средства обороны. Военно-полевая юстиция осуждалась, как дающая силу военным, между тем как при рассмотрении политических дел в обычных судах присяжных сплошь и рядом выносились оправдательные приговоры, причем все эти суды по политическим делам сословие адвокатов в своих речах превратило положительно в политическую трибуну. Каждый адвокат старался прежде всего заполучить такой громкий политический процесс, чтобы на нем выдвинуться, и посему адвокаты соперничали с тенорами по своей популярности и гонорарам.

Однако и с этим несовершенным орудием борьбы Столыпину удалось достичь очень многого. За три года со времени манифеста 17 октября на политически преступную Россию было обрушено до 20000 политических приговоров. Было закрыто до 950 повременных изданий. К смертной казни было осуждено 3000 и приведено приговоров в исполнение 2000.

Пресса всего мира нападала на государя, на Россию, обвиняя правительство в несказанной жестокости и этим способствуя популярности революционеров.

Однако все эти обвинения, конечно, не соответствовали действительности и проистекали только из незнания обстановки, добросовестного или недобросовестного.

В 1909 году у Столыпина взял интервью некий французский журналист Гастон Дрю, два года проживший в России. Он спросил министра, насколько справедливы слышанные им заявления о том, «что Россия тонет в произволе»

Столыпин отвечал прямо:

Да, я схватил революцию за глотку и кончу тем, что задушу ее, если... сам останусь жив. Правительство упрекают в репрессиях, но прежде чем мечтать об осуществлении во всей полноте и неприкосновенности реформ, обещанных манифестом 1905 года, надо вернуть России успокоение восстановить порядок... Анархия далеко еще не изжита...

Революционеры обвиняют нас в жестокости, в неумолимости репрессий. Ссылаются на факты... И я сошлюсь на факты. Знаете ли вы, до какой цифры достигают в

1906—7—8 гг проявления бандитизма и анархических покушений?

В 1906 году совершено 4742 покушения, в которых поплатилось жизнью 738 должностных и 640 частных лиц. Ранено 972 должностных и 707 частных лиц. В 1907 году совершено 12102 покушения, убито 1231 должностное лицо и 1284 ранено. Частных лиц убито 1768, а ранено 1734. Экспроприировано из казны и у частных лиц 2771000 рублей. В 1908 году состоялось 9424 покушения, убито 365 должностных лиц, ранено 571. Убито частных лиц 1349, ранено 1384, экспроприировано 2200000 рублей.

Итого: за три года —
покушений — 26268,
убито должностных и частных лиц — 6091,
ранено — больше 6000,
ограблено — больше 5000000 рублей.

— И при всем том,— восклицает Столыпин,— от нас требуют парламентизма на европейский образец!.. Нет, наша программа — ни реакции, ни революции: поступательное движение вперед по пути экономики, среди порядка и законности, без которых немыслима никакая плодотворная деятельность.

Мы заботимся о расширении сети железных дорог, создании кредитных установлений для облегчения городам и земствам, осуществления общественной гигиены, устройства трамваев, местных железных дорог и так далее...*

И по поводу этого русского человека — Столыпина — съезд объединенного дворянства обращается к государю, прося его отозвать! Или то не было примером государственного ошаления правых?

И выстрел из браунинга Богрова положил конец этой кипучей творческой жизни...

Наживины плясали, чтобы потом плясать в изгнании за границей.

Неблагодарность? — скажет читатель.

Если не ошибаюсь, Морис Палеолог рассказывает в своих воспоминаниях, что, когда В. Н. Коковцев приехал к государю с докладом в Ливадию, заместив убитого Столыпина своей чиновничьей фигурой, государь ему сказал:

Ну, я очень рад, что теперь не Петр Аркадьевич, а вы...

---

* Эти данные взяты из статьи Штейна в «Историческом вестнике», 1913, декабрь.

Помилуйте, в. в.,— сконфузился Коковцев,— ведь Петр Аркадьевич жизнь свою положил за вас!

— Да, это так,— сказал государь,— но он уже всюду очень показывался... Во всех газетах писали — председатель совета министров сделал то-то... Сказал то-то... А я? Или я ничего не стою?

Столыпин же, опускаясь на кресло 1-го ряда киевского театра с пулей в груди, пробившей его Владимирский крест, осенил государя крестом, чтобы предстать на суд истории и опечаленной России.

Шульгин на аэроплане

Знаете, есть такая веселая игра.

— Хотите лететь на аэроплане? — спрашивают робкого молодого человека развязные молодые люди, так называемые «душа общества».

Тому и совестно и страшно. Ну какую еще шутку они удерут над ним?

А как заставят его быть посмешищем?

Но все-таки он соглашается. Нельзя, заедает самолюбие Несчастному завязывают глаза, ставят на шаткую доску и заставляют положить руки на плечи стоящему перед ним развязному молодому человеку в некультурном галстуке

Тут-то и начинается.

Доску начинают чуть-чуть трясти, развязный молодой человек понемногу приседает, и на физиономии несчастного, поскольку она видна из-под платка, начинают выражаться самые разнообразные эмоции — от удивления до страха включительно.

Наступает решительный момент.

— Потолок! — кричит не своим голосом другой «душа общества» и ударяет испытуемого книгой по голове.

Эффект тут бывает разный. Я видел, как однажды такой экспериментируемый рухнул на пол и с ним было что-то вроде сердечного припадка.

Тут много смеялись.

* * *

Когда теперь стало известно, что В. В. Шульгина, достопочтенного российского правого деятеля, возила по всей России Чека, что книга «Три столицы» составлена из этих «высочайше утвержденных» наблюдений,

— что эта книга редактировалась в Москве на Лубянке,

— что теперь эта книга благосклонно распространяется по всей Руси Великой и всяк сущий в ней язык читает, что, в сущности, «ничего особенного», только маненько похуже,—

— то мне это напоминает чрезвычайно игру в вышеописанный аэроплан.

Некоего умного русского барина заставили жить в какой-то дыре, скрываться, гримироваться под еврея, снабдили его «прекрасным» паспортом на имя совслужащего, находящегося в служебной командировке, перевели через границу катали по России и привезли назад.

Правда, ни разу не крикнув:

— Потолок!

Впрочем, раз было крикнули. Это было в Киеве, этого нелепого русского барина «выследили».

Я не помню, на кого был похож преследовавший В. В. человек, но ясно помню образ, как удирал этот общественный деятель под колючей проволокой, по глубокому снегу...

Конечно, он удрал. Ведь его только катали на аэроплане! Это была игра. Но, благополучно удрав и сидя себя в номере, куда его проводил его Виргилий, он не удержался, чтобы за булкой и колбасой не процитировать лирически-иронически строфу любимого поэта.

— Хорошо, что при мне не было револьвера,— жаловался наш барин «Антону Антоновичу» из офицеров.

И, «поблескивая стеклами пенсне над умными глазами», Антон Антонович говорил:

— Да, так вышло лучше!

А может быть, и преследователя послали, зная, что револьвера там не имеется!

Легко и свободно проезжает русский барин, крупный общественный деятель, руководимый Виргилиями из ГПУ Он кушает у «контрабандистов», и хорошо кушает. И хлеб, и мясо, и рыбу, и икру. У контрабандистки есть духи, есть пудра, есть все что угодно.

И невольно создается нужное впечатление:

Живут же люди!

— Жива Россия!

И об этом ставится в известность русская эмиграция проредактированной в ГПУ книге.

— Поистине, вот — ловкое употребление своих врагов Может ли какая другая страна мира гордиться так поставленной деятельностью своих политических органов? Что перед этим — Зубатовы, Белецкие, Савинковы, Рутенберги?

— Пустяки. Мальчишки и щенки!

* * *

Но эта история далеко не нова.

— Кого можно надуть таким образом?

— Конечно, только русского барина, да еще либерала. И его давно так надувают.

Бесконечно добрые, непрактичные, бесконечно благожелательно настроенные, слегка по-барски грассирующие, привыкшие видеть в каждом человеке «братца», эти люди — русские баре — никогда не были защищены против ударов жестокой действительности. Они верили, во-первых, в какую-то благословенную культурность Запада, которой сейчас никак не оказывается, а во-вторых — в какого-то русского братца-мужичка, «православного». И когда при сближении с Европой им пришлось лицом к лицу столкнуться с теми закулисными тайными влияниями, конечно, эти баре бывали обманываемы, как был Чекой проведен В. В. Шульгин.

Да к тому же самому Шульгину можно отнести вопрос:

— Да разве тогда, в февральские дни выступления своего в Пскове и на ст. Дно, В. В.Шульгин не был обманут еще более тонкими провокаторами и надувателями, уговаривая государя оставить престол?

Да вся русская буржуазия,— не сама ли себе она надела петлю на шею своими собственными руками, не сама ли подожгла свою собственную избу, подобно фанатичным раскольникам, когда она оказалась обуяна внушенной мечтой о «благе народном»?

Она мечтала вытопить только печку.

Но она сожгла целый дом!

Разве не путешествовали наши русские баре по загранице и их там не напитывали иностранщиной настолько, что в николаевской Руси оказывались помещики в глухих деревнях, говорившие по-английски и обедавшие в 7 часов вечера?

Не был ли самым фешенебельным русским клубом в старой «грибоедовской Москве» именно Английский клуб?

Бедный Шульгин, переходя границу, все время переводит предохранитель своего автомата-пистолета с «сюр» на «фэ».

Он готов обороняться!

Мучительно стыдясь, неловкие за свое непросвещение и невежество, растолковывают теперь русские особенности русской души иностранцам, которым нет до них никакого дела, отыгрываются на Анне Павловой, на Дягилеве, на Шаляпине, на искусстве, на всем этом утонченном скоморошестве...

А по существу?

А по существу — все взвешено, все определено,— и русских бар поднимают на «аэроплане», внушивши им, что это и есть самые последние достижения европейской техники, Запада.

* * *

Революция ударила русских бар по темени книгой вскричала:

— Потолок!

И оказалось, что они никуда и не летали... С сердечным припадком мы находим их низверженными на полу.

Мифом оказалась Европа. Мифом оказывается и возрождающаяся Россия, в которой «все как было, только хуже».

Кругом — растерянность и падение, неудачи и химеры.

Случай с Шульгиным — катастрофический случай российской интеллигенции как таковой.

Правда, Шульгин напишет еще книги, объяснит нам, как все было, как его надули, но это все будет делом десятым...

Но когда, когда же в политических делах от этой темной веры нутром русские люди перейдут к змеиной мудрости и изворотливости?..

Десять лет, как прошла российская революция, а они —

— «Ничему не научились, ничего не забыли»...— настолько, что их катают на аэроплане.

Русский священник

Мыслитель и администратор!
Сложи в просвещенном уме своем, из чего жизнь русского попа сочетается.

Лесков

Сегодня о. протоиерей М. Я. Филологов празднует 35-летний юбилей своего пастырского служения. И сразу же отметим:

Какая еще профессия, какое сословие или состояние могли бы теперь праздновать 35-летний юбилей своей не только личной, а непрерывной общественной и пастырской деятельности? Пожалуй, никакое, потому что все они отменены революцией и подлежат пересмотру в смысле правильности направления своей былой работы... Работа же священника, как горение таинственного куста Моисеева, идет вне революции и не связана с ней...

В русской мысли повелось так, что эта культурная работа русского духовенства всегда была на заднем плане, забита, незамечаема.

Либеральные, просвещенные устремления последнего и предпоследнего веков шли мимо «клерикализма». Русская литература, пожалуй наиболее пристрастная изо всех литератур, руководимая интеллигенцией — этим политическим классом, почти никогда не уделяла должного внимания пастырскому многочисленному русскому сословию.

В нее попадали, пожалуй, смешные анекдоты, быт, занимательные и трагические «очерки бурсы», и за этим материалом, рисующим жизнь духовенства в столь утрированных тонах, столь отличных от «просвещенной» жизни страны, пропадало все то светлое и достойное, чем непрерывно горело русское духовенство.

Много ли не хватало еще до того, чтобы какой-нибудь глуповатый Гусев-Оренбургский, этот ваятель восковых бездушных манекенов духовенства, не объявил его тоже «темным царством»?

Революция — как время суда — явила настоящее чудо. Попадали кумиры века сего, разбежалась интеллигенция,

и в вихре террора, гонения и крови этот забрасываемый насмешками «долгополый» русский поп вдруг явил героический лик мученика, исповедника; более того, наперекор всяким ухищрениям русское православие, единственно одно из всех массовых русских народных культурных ценностей, явило свой непоколебимый лик.

Только в православии сохранилась иерархия, сохранился везде утраченный авторитет, только православие в те минуты, когда разлагались и гибли государственные устои, оказалось крепко-накрепко утвержденным в глубинах народного русского духа...

И вспоминаются невольно мудрые слова попа Савелия Туберозова, этого настоящего православного священника, чудесно изображенного Лесковым в «Соборянах»:

> А вы должны знать, зачем русскому народу нужны священники и дьякон, ибо до сих пор мы их одних у немцев не заимствовали!..

Произошла великая переоценка ценностей... Настали сумерки божков... Пали кумиры, заглохли неистовые утверждения, полегла по дорогам пыль литературы, исчезла и закатилась монархия,— а православный священник по-прежнему стоит в этой разрухе, погроме, вихре в сияющих древних ризах перед залитым блеском свеч алтарем Господа Бога своего и возглашает о Тихом Свете, невечернем, немеркнущем, озаряющем все и вся...

И эта устойчивость оттого, что действительно священник и дьякон не заимствованы «от немцев», потому что они принадлежат той таинственной струе жизни, которую мы называем русской и которую со все большим вниманием начинаем следить теперь, удивляясь невиданным и неожиданным ее узорам...

Вот почему 35-летний юбилей харбинского протоиерея о. М. Филологова есть в то же время и великое оправдание «идеи пастырского служения»... Это не 35 лет чиновничьего служения. Это — почти что всенародное пышным цветом расцветание Ааронова посоха, утверждение невидимого, для тех, конечно, которые хотят и могут это понять..

* * *

Сколько небрежения слышал русский священник в говорливых слоях русской общественности, как обходили его, подобно неживому монументу, подобно пережитку каких-то

иных, давних времен. А между тем, связанная с народом вплотную и в самых тяжелых его переживаниях — в минутах смерти и рождения,— работа русского попа не была ли целым незаметным незнаемым русским культурным подвигом... Вот кто действительно стоял «лицом к деревне», имея своим шефом Господа Иисуса Христа. В интимной «демикотоновой тетради» пишет о. Савелий Туберозов при свете свечи свои любопытные ночные «нотатки» — плод глубинных переживаний незаметно горящего русского духа:

> — Любопытен я весьма, что делаешь ты, сочинитель басен, баллад, повестей, романов, не усматривая в жизни, тебя окружающей, нитей, достойных вплетения в занимательную для чтения басню твою. Или тебе, исправитель нравов человеческих, и вправду нет никакого дела до той действительной жизни, которой живут люди, а нужны только протексты для празднословных речей? Ведомо ли тебе, какую жизнь ведет русский поп, сей «ненужный человек», которого по-твоему, быть может, напрасно призвали, чтобы приветствовать твое рождение, и призовут еще раз, против твоей воли, чтобы проводить тебя в могилу? Известно ли тебе, что мизерная жизнь сего попа не скудна, но весьма обильна действиями и приключениями, или не думаешь ли ты, что его кутейному сердцу недоступны благородные страсти, что оно не ощущает страданий? Или же ты со своей авторской высоты не хочешь удостоить меня, попа, своим вниманием? Или ты мыслишь, что уже и само то время мое прошло и что я уже не нужен стране, тебя и меня родившей и воспитавшей? О, слепец! — скажу я тебе, если ты мыслишь первое... О, глупец! — скажу я тебе, если ты мыслишь второе и в силу сего заключения стремишься навалить на меня камень...

В русской интеллигенции всегда была повадка бранить «пустосвятов» за их те или иные суеверия... Но большего суеверия, нежели русская интеллигенция во главе с графом Львом Толстым питала по отношению к русскому священнику, не видать нигде... Откуда, действительно, все эти добрые и бестолковые русские люди взяли, что скудна жизнь русского попа?

Русский священник делал настоящее делание, которое только в положительных результатах. И оправданный ныне тяжелым временем на светлом посту пастыря юбиляр о. Михаил — пример того: он всегда развивал большую работу.

Уйдя по призванию из гимназии в семинарию и будучи посвященным в священники в 1893 году, он в 1896 году — уездный наблюдатель церковноприходских школ и открывает их числом 300... До двухсот зданий построено им для них в одном Оренбургском уезде, ведется пять педагогических курсов... До пятисот школ состояло в его ведении и т. д. и т. д.

Это ли не работа в народе?

Усиленное педагогическое делание в разных видах продолжается до времени Великой войны, в течение двадцати лет. Тысячи людей, окончившие курс в этих школах,— ученики о. Михаила...

С Великой войны — новое практическое делание: до 20000 беженцев находят себе приют в оборудованном о. Михаилом городке, устроены три госпиталя; для военных нужд при его участии учреждаются работающие на оборону чугунолитейный и консервный заводы.

Вот эти-то заслуги таких попов, как о. Михаил, просмотрены разными Гусевыми-Оренбургскими в погоне за анекдотом, за «мелочами архиерейской жизни». Слепцы! — надо сказать про них с о. Савелием.

Один немецкий военный мыслитель как-то обмолвился знаменательной фразой:

— Есть народы, любящие победы. Есть народы, любящие революцию.

Русский народ в известной, доселе исключительно говорившей части относится к последней категории. Другая, большая, творческая, хозяйственная, победоносная часть до сей поры скромно молчала, молчала и делала свое дело...

Вот почему ее нет в анналах русской революции...

Молчит она и до сих пор — и готовится заговорить, когда придет время.

* * *

Она только мудро проглядывала в ночных, за свечкой, «нотатках» о. Савелия Туберозова. Один, наедине с самим собой, он отмечает ясно и отчетливо дикости русской жизни:

> 9 мая 1835 года на день св. Николая Угодника происходило разрушение Деевской старообрядческой часовни. Зрелище было страшное, непристойное и поистине возмутительное... А к сему же железный крест с купольного фонаря сорвался и повис на

цепях. А будучи остервенело понуждаем баграми разорителей, упал внезапно и проломил пожарному голову, отчего тот и умер тут же... Ох, как мне было тяжко это видеть!

10 мая прошел слух, что народ вынес лампаду и молится над разбитой молельной... Мы все собрались и видим — точно, идет моление, и лампада горит в руках у старца и не потухает. А городничий велел тихо подвести пожарные трубы и из них народ окачивать...

Картина, как мы видим, почти современная, только гораздо более благодушная. Что же должен был делать русский священник в этом случае? Делать революцию, обличать «дурных городовых»?

— Нет, этому он противопоставлял только благодушное терпение. Не сразу, не «революционно» меняются люди, когда «созревают потребности».

Увы, все люди всегда те же, и если городничий в данном случае глуп как сивый мерин, то и другая революционная сторона не лучше:

— Плывем по пучине на расшатанном корабле, с пьяными матросами,— уже в те отдаленные годы записывает о. Савелий...— У нас просвещенному человеку вменяется в обязанность безверие, издевка над Родиной, небрежение к святыне семейных уз, неразборчивость в средствах.

Бросаться ли от глупого городничего в противную крайность — к сомнительной соблазнительнице — революции?

— Нет,— говорит русский священник,— и поэтому не было священников-революционеров; а если и были, то они представили из себя преотвратительнейшее зрелище...

— Что же делать? — спрашивает при этом читатель.

— А констатировать, согласно ночным записям попа Савелия от 2 марта 1845 года:

Домик свой учреждал да занимался чтением отцов церкви да историков... Вывел заключение, которого не желал бы: христианство на Руси не проповедано... Бесспорно, что мы во Христа крестились, да еще во Христа не облекаемся...

Следовательно, нужно идти, не меняя направления, той же тропой, указанной русскими святителями... Пусть бушует революция, строится социализм, но выше и выше возносится православный храм. Чем больше шума на земле, тем больше русскому народу хочется глотнуть звездного молчания с вер-

шин духа человеческого — до всего доходчив русский человек, все хочет сам попробовать, очень любопытен...

И это таинственное молчание приходит вплотную в душу человека в русском православном обряде, во связанности русского бытового исповедания, в красоте и величественности обычая... Вот почему и теперь православная церковь так ревниво по-аввакумовски держится за обычай, за простую старую веру предков... И какое благополучие истекает из этой веры!

Вот запись летописца XV века относительно явления иконы Оковецкой (в Тверской губ.) Божией Матери, так прекрасно передающая благостный живительный дух православия:

> — Лета коего явися икона Пречисты Богородицы на Оковце — хлеб был дешев, кадь ржи купили за четыре московки; а лето было ведрено, а не засушливо, и красно, и всякими овощами плодовито, а от поля тишина была, а людям здорово было, и всякому скоту плод...

И недаром заносит в свои «нотатки» протоиерей Туберозов аналогичное:

> Умножь и возрасти, Боже, благая на земли на всякую долю: — на хотящего, просящего, на производящего, на неблагодарного.

Мир, которого жаждет так русская земля, проистекает от православного алтаря, и 35 лет такой работы, светлой плодотворной, на пользу живым людям — великая заслуга о. Михаила в народном домостроительстве.

А что впереди — Бог даст! Будем надеяться на лето Господне благоприятное.

Душа адвокатуры

Из русских эмигрантских групп наиболее в массовом смысле приспособленными оказались, пожалуй, адвокаты и врачи; и за рубежом они не бросили своей профессии.

И если русские традиции врачей в эмиграции не испытали до некоторой степени трансформации (о чем как-нибудь побеседуем), то в отношении адвокатуры этого сказать нельзя. Согласно требованию обстановки, в них неожиданно развились многие «стороны», прежде только стыдливо намечавшиеся, и исчезли многие свойства адвокатской души, до периода беженства гипертрофически пышно цветшие на почве русской действительности...

* * *

И действительно, нельзя иначе. Адвокатов в эмиграции уподоблю сейчас ракам, ссыпанным в мешок; загляните в него — какая ужасная бестолочь!.. Масса задумчивых, внимательных, черных выпуклых глаз, таращащиеся клешни и ровный, непрерывный, как будто угрожающий гул, а по существу тихое шептание...

Шепот о прошлом.

А что было! Вспоминая прошлые дни русского Аранхуэца, воскликнем: как прекрасна была адвокатская жизнь!.. Каким необычайным почтением пользовался в русском обществе русский адвокат! Слова Царя Освободителя о том, что «правда и милость да царствуют в судьбах», прямо произвели на свет сословие адвокатов. Они ходили по улицам, и на каждом так и было написано, что «правда и милость» если и осуществляются, то только через них, через «нанятую совесть», по народному выражению.

Адвокатскому сословию на Руси повезло необычайно: возьмите адвокатов Додсона и Фогга из «Пиквикского клуба»,— какие это отрицательные типы:

— Хорошо,— говорит м-р Фогг,— хорошо, м-р Пиквик, ударьте меня, ударьте! Вы ведь можете меня ударить, пожалуйста! Джентльмены, прошу вас внимательно смотреть, как ударит меня этот сквайр!

Наоборот, русские писатели всегда чрезвычайно хорошо отзывались об адвокатах. Если, например, Л. Андрееву нужна была какая-нибудь проблема или Сургучев изнывал в «Осенних скрипках», то для носителя столь глубоких эмоций требовался или адвокат, или профессор.

На офицеров лили помои; учителей презирали глубоко и страстно в виде Иван Миронычей. Что говорить о купцах? — Господа, это сплошь было темное царство!.. Над духовенством старался Гусев-Оренбургский. Судьи тоже не пользовались успехом: были не чутки, не честны и не вникали в общественные настроения — возьмите трех судей в «Воскресении» Толстого; зато адвокаты плавали в оных общественных настроениях, как караси в сметане... Они были прежде всего «светлой личностью», образцом демократии.

Он не знатного был рода,
Он возрос среди народа,
Но гонимый злобой царской...

И т. д.

Прежде всего адвокат был публичным человеком. На процессах в русском суде на скамьях присяжных заседателей сидела ее величество Растеряева улица, в числе избранных 12 апостолов, и развесив уши слушала психологические анализы защитника... Есть такой анекдот, что преступник после речи своего адвоката с изумлением спросил талантливого оратора:

Неужели это я, ваше благородие, такой прекрасный человек?!

Улица выносила оправдательные приговоры преступникам и, соответственно, обвинительные — правительственной системе... Выносили систематически, настойчиво, планомерно...Преступник был «продуктом среды», «административного произвола», «несовершенства социального строя», уверяли адвокаты, и так далее... Ясно, что правительственная система осуждалась в каждой речи адвоката, каждый день, в каждом городе России.

Но для адвоката была мала аудитория в каких-нибудь 12 человек присяжных... Надо было «выдвинуться» на каком-нибудь огромном процессе, вроде дела Засулич или Лензото, надо было прогреметь на всю Россию...

И политические процессы гремели по России как гром М-ме Засулич, ухлопавшая представителя государственной администрации, услыхала от 12 присяжных, а вместе с ней услыхала и вся Россия:

Невиновна!

Громом прокатились по России подобных несколько процессов, а с ними имена адвокатов. Государство, на которое нападали революционеры, потеряло возможность защищаться при помощи обычного суда. Устами адвокатов ломилась революция. Всякое дело нужно было передавать в суды военные, чтобы не дать возможность адвокату играть на низких инстинктах присяжной черни, и целые области России в течение десятков лет по этому поводу состояли «на военном положении», на «положении усиленной охраны», и этой передаче адвокаты посвящали немало речей, как «произволу».

Ни один великий актер не стяжал в России столько успеха, сколь стяжали знаменитые адвокаты. Деньги, почет, положение, женщины — рекой лилось в вознаграждение этим борцам за истину. Рассказывают про одного московского адвоката, который на другой день после выступления проводил всегда — элегантный, выбритый, массированный, надушенный — в постели и так принимал поклонников, поздравления, цветы и дам...

Дуалистически построено было общество в русских городах. С одной стороны — власти, губернатор и т. д., с другой стороны — непременно — либеральный адвокат. В каждом городе был такой благер, говорун, осуждавший порядки, с горечью указывавший, как дело обстоит в Англии; во времена Святополк-Мирского этот говорун в своем черном фраке первый поднялся за банкетом доверий; Государственная Дума почти всех их собрала под своды потемкинского дворца, чтобы затем отметить в Выборгском процессе...

Адвокат сделался каким-то символом русской жизни; газеты, отчеты, думские заседания, земские собрания, городские организации были отданы ему в лен и феод; они лезли настойчиво, неудержимо, страстно, что-то доказывали, опровергали, будировали, топорщились; адвокатское сословие — это было государство в государстве, своя, адвокатская буйная Сечь...

А как они жили! Как птицы небесные, безболезненно, пышно и пиршественно... Хорошо жили, дай Бог здоровья этим защитникам либеральных доктрин. Это они состояли советниками у крупных цыганистых российских фирм, вели их дела и консультировали почтенных дельцов...

В этих случаях законы представлялись чем-то вроде подводных камней, а адвокат был лоцманом, которому надо было проводить эти суда через шхеры до большой воды, которую не промеришь никаких законом... Закон действовал

и ограждал лишь в одной плоскости. Всего не предусмотрит никакой кодификатор! Делец же нырял аэропланом на неограниченной высоте, падал, подымался, делал мертвые петли в конкурсах, скользил на крыло в разных комбинациях и поставках, и пилотом на этом аэроплане с российскими Левенштейнами был опять-таки адвокат...

Вполне понятно, что адвокат получал свой гонорар не в сухо обусловленной форме, а в такой бурной интимности, которую порождает удачное дело и близость советника в человеке благодушном от заработанного куша и от избегнутой судебной опасности... Там давали не считая, и только подчас мудрые мановения председателя совета удерживали смельчака от чрезмерной лихости в пилотировании.

Пасха, Рождество в адвокатских провинциальных русских домах совершались как-то сами собой, точно так же, как и полицмейстера, доброхотными очередными подношениями влюбленных в ловкого парня негоциантов.

Вполне понятно, что эта легкость жизни и благодушие переносились на окружающих... И в благодушной революции нашей адвокат занял по праву первое место.

Адвокат Керенский, образ говоруна и мечтателя, истерика и интеллигента, осенил собою на момент Россию и затмил исторические величавые образы... В своей неудержимости адвокат Керенский, герой процесса Лензото, завалился актрисой на кровать императора Александра III и во всероссийском непотребстве сделался главнокомандующим россcийской армии, при молчаливом попустительстве хмурых военспецов, теперь с таким восторгом рвущих в клочки «пиджаки» и «штатских»...

Соответственно своему рангу и субординации в адвокатуре адвокаты в первые дни революции стали на полицейские посты и заменили собой приставов, охраняя своими сутулыми лопатками законные права российского населения, попираемые в течение десяти веков.

Началась новая эра милости и порядка, продолжавшаяся, однако, не более трех-четырех дней, покамест эти Дюмулены не сбежали из участков от лика многочисленных житейских казусов в виде, напр., претензии содержательницы публичного дома, которая законно требовала, чтобы какой-нибудь пермский Демосфен на посту администратора заставил девиц ее заведения «честно и добросовестно» относиться к своим обязанностям и революционно «не манкировать» репутацией долголетнего дела...

Адвокатские четкие, интеллигентные, слегка носовые те-

норки все более и более затихали в своих английских предсказаниях и аналогиях с Французской революцией и наконец замолкли совсем...

* *

Они возобновились в Харбине.

Но тут случилось чудо.

Печальники о нуждах народных, по преимуществу неукротимые политики, г-да адвокаты обратились в дельцов. Та величественная сторона их деятельности, которая покрывала их собой — трибунная, демагогическая сторона,— увяла совершенно. Мы не слышим что-то носового, интеллигентного говорка их, обличающего большевиков, призывающих эмиграцию к объединению.— Я не желаю никакой идеологии! — кричал как-то за завтраком один из местных адвокатов.— К черту!

Все это осталось там где-то, в годах ли, в России ли, вместе со сброшенным фраком и с сакраментальным серебряным значком на элегантном шелковом лацкане:

> В России нет закона;
> Есть столб, на нем корона.

Зато пышным цветом развернулась другая сторона:

— Дельцовская.

Слыша иногда рассказы о местных адвокатских русских подвигах, я так и вижу перед собой какой-то цирк с колесом смерти... И диву даешься, с какой смелостью разные, подчас довольно тучные и увесистые фигуры выделывают свои юридические курбеты.

Перед зрителем и перед газетами тянутся ряды дел, без устали рассматриваемые китайским судом...

И каких дел:

> Одни как изумруд, другие как коралл!

Но и в том и в другом случае довольно замечательные — на крупную сумму.

Плотной тучей адвокатская работа клубится вокруг Китайско-Восточной железной дороги, причем это коммерческое предприятие одолевается целой сетью различных исков. Хорошо, что дело Позаржицкого кончилось так, как оно кончилось; а ведь иначе пришлось бы дороге платить — не пито, не едено — за неизвестно кому принадлежащий креозол

сотни тысяч рублей... А другие аналогичные дела? Иски подаются за какие-то старые подряды, за увечья, за не полученные с Уссурийской дороги заштатные и т. д. и т. д., и нужно только удивляться, с какой настойчивостью эта огромная масса адвокатуры долбит, сверлит, копает золотоносную землю управления жел. дороги.

Опубликованные недавно в прессе сведения по делу Изотова представили бы собой нечто неслыханное для адвокатуры старого доброго времени. Правда, г. Изотов оправдывается, говорит, что эти сведения опубликованы неправильно, приводит тонкую разницу между полицейским и судебным следствием, но от этого дело не меняется...

Разыгрываются дела фантастические, возьмите хотя бы дело Ковальского — Русско-Азиатский банк, где участвовал и хор и балет, с исчезновениями, переодеваниями, подслушиваниями и т. д. Возможно ли было что-нибудь подобное в России, тогда, когда адвокатский рот только и делал, что либо вкусно обедал, либо лаял Россию за «темноту и отсталость»?

Русский институт присяжных поверенных постигла довольно печальная участь — женских институтов в революцию:

Сила ломит адвокатскую солому. Забыты политические интересы, всяческие призывы, постановления; старый привычный темп жизни в скользкой новой обстановке требует только одного:

Денег! Денег! Денег!

* * *

И значит, как же теперь будет в обновленной России?

Да, вопрос об адвокатском сословии придется пересмотреть:

— Вульгарно говоря, адвокатура «расписалась»...

По местам русско-японской войны

В ВАГОНЕ ИЗ ДАЛЬНЕГО

...Продолжаю в вагоне Южно-Маньчжурской железной дороги. Оказывается, теперь едешь скорее, нежели сказывается сказка.

Вчера мое писание на корабле прервала престарелая кафешантанная звезда, г-жа З., моя соседка по единственной каюте, ехавшая из Чифу в Шанхай, которая, как оказалось из разговора, жила «даже со Столыпиным». Вот она, ценность воспоминания. В разговорах, и довольно любопытных, прошел вечер. Стало очень качать, и бедная чрезвычайно страдала. К 4 часам утра подошли к Дальнену, но с разными пертурбациями я очутился на берегу около 7-ми с половиной, а в 8.10. уже отъехал дальше, попав, на счастье, в вагон железной дороги в последнюю минуту.

Итак, о Путнэме Уиле, под именем которого Ленокс Симпсон* опубликовал в 1903 году свою книгу «Московиты в Маньчжурии». Она — сплошной крик и предупреждение английского общества о грядущей опасности со стороны России. В каждой главе приводятся фотографии разных смотров и построек на линии КВЖД, которыми, очевидно, простодушные русские офицеры любезно снабжали просвещенного англичанина.

Приводятся цифры войсковых частей. А кроме того, всюду очень злое и дерзкое описание и высмеивание русских обычаев и привычек, вроде знаменитой «закуски», «самовара» и т. д.

Не подлежит никакому сомнению, что П. Уил получил официозное поручение подготовить английское общественное мнение к тому, чтобы выгнать русских из Маньчжурии. И, готовясь так, Англия, естественно, не могла не принимать участия в подготовке средств против русского засилья на Д. В. которые готовил серьезный конкурент России —

* Ленокс Симпсон застрелен летом 1930 г. в Тяньцзине китайцами-националистами.

Япония. Ни для кого не секрет, что общественное мнение Англии стояло на стороне Японии. Этим объясняется то, что и в Цусимском бою с японской стороны участвовали английские офицеры.

Чем же оправдывались такие симпатии Англии, как не реальными интересами и только ими? Всякий союзник признавался быть хорошим против «русского медведя», только для того чтобы ему насолить! Ничего нет удивительного и в том, что в Гулльском инциденте эскадра Рождественского, стрелявшая по каким-то таинственным миноносцам, возможно, была права.

Так дела шли со стороны Англии, и русским политическим писателям нужно теперь сильно поработать над раскрытием всех этих обстоятельств.

Тем более аккуратно и интенсивно работала сама Япония. Японцы — немцы Востока.

Один из русских старожилов здесь, офицер, рассказывал мне историю, как за два года до русско-японской войны в Куаньчэнцзы, недалеко от штаба их полка, двумя японцами был открыт дом терпимости... А после на войне вестовой одного из офицеров этого полка попался в плен и был выпущен оттуда по старой памяти одним из этих японцев, который оказался офицером генерального штаба.

Гончаровский Эйноске («Фрегат Паллада») может считаться живым до сих пор, во всяком случае в японце жив его пытливый дух. Даже страшно становится при мысли, что бы вышло, если бы два каких-нибудь из наших г. г. офицеров генерального штаба занялись подобными делами в Японии! Это было бы курам на смех! Пусть мне возражают, что и у нас были доблестные аналогичные выполнения заданий, хотя бы тем же генералом Корниловым. Но ген. Корнилов — имя, тогда как у японцев это делали многочисленные безвестные герои.

С такой педантичной подготовкой к войне, с таким вниманием подошла Япония к 27 января 1904 года, когда без объявления войны японские моряки вывели у русских из строя несколько морских боевых единиц.

Вспомним те всенародные русские комментарии, которые тогда ходили в обществе, о том, что на берегу в Порт-Артуре был какой-то бал и мощные крейсера были в конце концов предоставлены только судьбе, международному праву, часовым да прислуге у орудий:

— Командный состав веселился на берегу.

Япония долго готовилась к войне, собирая и суммируя весь опыт европейских держав в деле вооружения.

Правда, на ее стороне был перевес в коммуникации. В то время как сотни японских транспортов перевозили тысячи солдат в день на расстояние одних суток от Японии, тоненькая ниточка еще окончательно не достроенного Сибирского пути была свидетельницей тех усилий, которые приходилось выказывать русским железнодорожникам, чтобы накачать в Маньчжурию нужное количество военных сил.

Равным образом и отсутствие воспитания русской нации сказалось вовсю. У японцев вся нация была готова к войне, вся нация сознавала, за что дерется армия. Вся нация, как один человек, желала победы своим войскам.

У русских же гениальный план Витте, основанный на сущности русской азиатской культуры, сводившийся к необходимости выхода России к Тихому океану, где она была бесконкурентна как государство со стороны ее европейских соседей и становилась, таким образом, во главе только теперь занимающейся мировой эры Тихоокеанской — эры азиатской,— у русских этот план подвергался неосмысленной критике.

Старый дальневосточный журналист и политический в прошлом деятель (следовательно, и политический преступник) В. А. Панов во владивостокской своей газете «Дальний Восток» громогласно называл Дальний — «Лишним» и дешевым этим каламбуром клеймил все огромное русское дело, начатое еще при царе Иване IV, как будто Россия проливалась на сибирские просторы для того, чтобы уступать их другим жадным и привычным захватывать в свои руки европейцам.

Это и создало тот перевес японского духа в той несчастной войне. Ничего не понимающие наши либералы орали о «пролитой крови», не помня заповеди Макиавелли, что «там, где дело идет о единстве и силе государства, государи не должны бояться прослыть жестокими».

За ними брели революционеры, развращая армию. А правительство трусливо молчало, отговариваясь, что на Дальнем Востоке была «авантюра» и что не следовало-де русским туда лазить. А если полезли, то уже надо обороняться.

— Не мы напали! — говорило оно, как будто бы в нападении нет никакой доблести.

В этой войне стали перед нами воочию две древние страны Востока — Китай и Япония; впервые с ними ознакоми-

лось русское общество и, увы, при каких печальных условиях!

Всегда прикованные взорами своими на Запад, русские просмотрели своих огромных и могущественных соседей, тот огромный, крепкий, азиатский государственный строй, который стягивает их, недооценили и ввязались в войну с теми народами, которые когда-то в XIII—XV вв. дали им государственный строй. Русские совершенно не знали культурного Китая.

Не лучше было наше представление относительно Японии.

Позвольте привести еще одно напоминание из книги барона Теттау «Куропаткин и его помощники» (СПб 1913), где из докладной записки Куропаткина приводится следующий «план войны с Японией» (Подан в феврале 1904 г.):

§ 12. Операционный план весьма прост:

Борьба флота за господство на море.

Воспрепятствование высадке японцев.

Оборонительные действия и широкое развитие малой войны до сосредоточения достаточных сил.

Вытестение японцев из Маньчжурии.

Вытеснение японцев из Кореи.

Высадка наших сил в Японии.

Овладение главными городами.

Взятие в плен Микадо.

Вот с таким «планом борьбы» против Азии, с таким понятием об Азии пришлй в 1904 году русские силы на Дальний Восток для того, чтобы схватиться в смертельной схватке!

Тогда русские были для японцев представителями западного мира. А между тем сама Европа способствовала этой войне, для того чтобы свалить азиатского белого медведя, которого она всегда ненавидела. И европеизированный белый азиатский медведь действительно пал в этой борьбе против своей матери — Азии, а вместе с ним пал и всегдашний русский жандарм, хранивший с особой готовностью и рабской отчетливостью мир в Азии для Европы. Интересы Европы гибнут теперь в Китае, потому что она сама далека, а написать ноту любезному русскому соседу, войска которого стоят на всей огромной границе Китая с севера, ныне не представляется уже возможным, потому что вместо белого медведя стал медведь красный, который машет лапами уж на самый Запад.

Да, только в этом подражании западным образцам мировой политики, в небрежении делами восточными, в отсутст-

вии на них моды можем мы видеть дух русско-японской войны, которая породила революцию в России. Русские восстали против их прародины, прародины их традиций народных, их основной культуры и погибли...

Последующее показало, что возможно при такой остановке.

— Не мешайте русским строить,— недаром говорил мудрый Ли Хунчжан.— Не мешайте!

Я не знаю, как дело будет впереди, но можно поручиться за одно:

— Никогда русские государственные деятели не будут больше столь легкомысленно говорить о Китае и Японии, как они говорили в 1904 году.

* * *

Было под утро, когда пароход подходил к Дайрену.

Сизый вставал рассвет направо, впереди мигал красный с белым маяк. От него ложился нежный красный и серебряный луч на черные воды, которые шумели непрерывно, а бедная моя спутница очень страдала.

Влево зеленели огни — огни предместья Дайрена — Хашигауры. Теперь это — дачное место, в котором маленький уютный «Ямато-Отель». Я был в нем раз в весенний и холодный день марта 1920 года, когда перед камином в холле сидела и куталась в плед худущая англичанка, похожая на мопассановскую мисс Гарриет.

Теперь она очень далеко от нас, эта Хашигаура. А еще дальше, левее, подернутые тонким заревом зеленого же цвета, далеко чуть-чуть видны огни — огни Порт-Артура — Риоджуна по-современному.

Вот кусок китайской земли, видимый с Японского моря, где — лежат жизни русских матросов, солдат, офицеров, откуда вырвался сквозняк, начавший русскую революцию! Пусть Совет рабочих депутатов 1917 года был сколком с петербургского хрусталевского совета 1905 года, солдатские-то депутаты — эта первая ступень революционной организованности солдатских масс — пришли отсюда.

Восток разгорается, небо там, где соскользнули прочь брусничного цвета тучи, оказывается яхонтовым и свежим; всю ночь лил дождь, предупредительно смывая с палубы следы морской болезни.

Бурно разгорается заря, просвечивают огненным багрян-

цем, паруса джонок, уносящихся в море, маяк с нами теперь на одной высоте, и за мысом, на котором он стоит, огни:

Дайрен!

— Дальний!

Я смотрю на это бывшее русское владение, которое как бы медленно поворачивается вокруг своей оси... От со[...] небо стало похожим на золотую парчу, и по нему тянутся восходящие над Дайреном облака дыма из могучих фабричных труб. Парча неба сквозь черно-фиолетовый прозрачный дым похожа на дымчатый огромный топаз. Острые мрачные сопки чернеют сквозь черный дым. А впереди нас, прямо пологие и легкие в нежном голубом небе, в золоте солнца сквозь тучи, в зелени утра, нежатся над сизым морем дольные холмы...

Теперь здесь мир, творческий мир. Свистки паровозов, переклички пароходов, леса мачт джонок, скользящие сампанги, по-нашему — шампуньки, между которых плывет грозная туша нашего парохода.

Плеск, дрожание, стук, грохот. Якорь отдали.

Странно слышать тишину после привычного стука винта «Кайну-Мару». От берега уже мчится полицейский катер.- Паспорт, меры предосторожности.

И пароход медленно подходит к берегу, к огромному бетонному трехэтажному баркадеру, величиной, вероятно, с Ватикан. Сходни с палубы пароходов прямо кладутся во второй, третий его этажи и там огромные, на бетонных столбах, полные шарканья, шорканья сотен японской деревянной обуви «гета» и соломенных «зори»; тут — рестораны, базары, пивные, буфеты, чуть ли не народные гулянья... И тут же конторы, таможня, выдача багажа, перевозка его электрических тележках и пр.

И, стоя на балконе, перед которым развертывается вид на широкую благоустроенную улицу, где весело бежит красно-желтый трамвай и трубит приятным грудным звуком, где весело бегут счастливейшие в мире японские детишки в школу, где тарахтит извозчик, завезенный сюда, как в Харбин, в Мукден, по всей линии Китайско-Восточной и Южно-Маньчжурской жел. дороги, русскими, мне становится печа[...] донельзя.

Ну, господа, кто же «культурнее»? Япония, Китай, эти «азиаты», или же мы, русские?

Россию, которая так долго стояла во главе азиатско[...] мира, идя в Сибирь по стопам Чингисханидов, побила друга[...]

азиатская страна, Япония, под благодетельным руководством Европы.

Не от американской ли фирмы Кон и Лан был получен японским правительством заем, на который началась русско-японская война? Не Яков ли Шиф, эмигрант из России, был посредником в этом деле?

Яков Шиф погиб на «Лузитании», русские проиграли войну в Азии, которая теперь с невероятным знанием времени и выдержкой в этом отношении кончает здесь с англосаксонским миром, с его экспансией, начиная снова свою экспансию на Запад.

* * *

В 8.10 отходит из Дайрена утренний экспресс Южно-Маньчжурской ж. д. на север, и я с повторным удивлением рассматриваю на бархатной зеленой обивке вагона II класса бурбонские лилии в качестве декоративного рисунка. Как они туда попали? Экспресс идет очень быстро, и из окна, в которое пышет июльским жарким днем, видны исторические надписи. Вот Дашичао, где был большой бой и откуда японская ветка в 35 минут донесет вас до Инкоу, китайского порта; вот Вафангоу... Память так и рисует картину, что продавали у нас в Костроме, в рядах, в Проломных воротах, в тот год: русский казачок почем зря рубит японцев, и их ярко-красная кровь льется на славу и на доход издательству И. Д. Сытина.

А здесь стоит только вскопать эти ярко-зеленые поля, эти небольшие курганы — и там мы увидим русские кости.

Вот Ляоян... Случайно со мной том корреспонденций с театра русско-японской войны Гарина-Михайловского, и бес иронии заставляет меня раскрыть книгу в соответственном месте; я читаю:

20 мая

Ляоян!

Под этот возглас я просыпаюсь.

Ко мне врывается несколько человек.

— Представьте себе!.. Не наврали!..

Один корпус двинулся к югу, но все остальное на месте, и в Ляояне спокойно, как будто и войны никакой нет.

Настроение великолепное. Неудачи никого не сму-

щают, и об них давно не хотят слышать...

Один было начал рассказывать, а ему закричали: «Замолчите, довольно!»

— Да и вполне понятно,— говорит Сергей Иванович,— не пришли же люди наводить на себя уныние. Люди твердо решили либо умереть, либо победить и беспредельно верят в успех дела... Нет, прекрасное настроение. Армия как один человек!

Так что победим?

Никакого сомнения!

Не правда ли, трудновато глотать такое воспоминание? Мне, положим, могут сказать: — Что, собственно, вам-то за дело? Вы ведь там не были и не виноваты. Так чего же вы беспокоитесь?.. Да и было-то это уж 23 года назад!

Все равно! Всякий русский должен чувствовать свое кровное родство с прошлым... Память о вступлении русских войск в Париж в 1814 году должна и теперь наполнять его пьянящим чувством русской радости.

И наоборот, эти неудачи лежат на русских плечах, как тяжелый проклятый груз.

Конечно, если считать себя русским и не относить это за счет нелюбимого правительства...

Но все равно никуда, никуда не денешься!

* * *

Уже промелькнул и Ляоян. Сорок верст до Мукдена Мелькнули мимо и кладбища русских воинов, устроенные и обихаживаемые японцами. Аккуратные изгороди, скромные тяжелые кресты, полное почтение к своему врагу.

Вспоминаю, что в Мукдене тоже есть русское военное кладбище. Некто г Грюнер в 1910 году получил своеобразную концессию, чтобы вырыть все русские трупы под Мукденом и схоронить у русской церкви, у часовни, которая имеет вид старинного русского шлема. До самой войны возился Грюнер с этой задачей, а как в 1915—16 гг. закрыли военному времени кредиты на это дело, так и не кончил Однако и так цифра, которую называют относительно свезенных трупов, что-то гомерически высока — 90 000.

Г Грюнер сейчас благополучно здравствует в Мукдене, по большой улице, если ехать с вокзала прямо в китайский город, стоит японский памятник этому бою и мукденской победе:

— Огромный ружейный патрон стоит на громадном постаменте, и вокруг, среди зелени туй и кипарисов, в строгом порядке на постаментах расставлены пленные русские орудия.

Молчат они так же, как молчат наполеоновские пушки в Москве, в Кремле, у арсенала.

Мукден! Поезд гремит на вокзале, и среди толпы вижу г. Грюнера. Он словно отвечает моим мыслям.

Так кто же виноват в неудаче в японско-русской войне; кого судить?

Конечно, прежде всего виноваты те самые, про которых сказал Пушкин:

— Мы ленивы и не любопытны...

Они были ленивы в Азии и не любопытны к ней же. Живя ее тяжелым бытом и всячески отругиваясь от царя Петра и его призывов к деятельности, они взяли у Запада только начатки его военного искусства и его роскошь...

Я отнюдь не нападаю на старое правительство. Отнюдь нет! Это общая всем русским черта: отсутствие организации.

Пусть Гарин писал до поры до времени, писал о том, что-де «дух войск превосходный» и что все «уверены в победе»... Революция 1905 года, взвихрившаяся с сопок Маньчжурии, заставила раскрыть язвы, заставила называть вещи своими именами.

Теперь среди эмигрантщины принято считать былую императорскую российскую армию выше всяческих похвал... Она-де, знавшая Кутузовых, Румянцевых, Суворовых, Скобелевых и т. д...

Но еще хранят библиотеки те обличения, которые актуальны и в наши дни, те обличения, которые и мы можем повторить во имя объяснения того разгрома, который потерпели русские белые армии от своих красных соперников...

Пусть такие вещи, как «Зверь из бездны» Чирикова, встречаются известными протестами. О, мы знаем их, эти протесты! Но почему теперь столь забыты слова ген. Церпицкого, героя японской войны, слова из его приказа по войскам Туркестанского военного округа:

> Наша армия есть в сущности толпа рабов, руководимая людьми из светских гостиных, которые в военном деле ничего не понимают Наша армия — рабская и где нет большей беды, нежели рабство. Благодаря этому наша необразованная, грязная, невоспитанная армия, в которой около 20 процентов

офицеров алкоголиков, неспособна к энтузиазму воодушевлению.

(Газ. «Наша жизнь» № 373, 18 февраля 1906 г.)

Разве эти слова блистательно не оправдались там, на полях Калуша и Тарнополя, тогда, в этом проклятом 1917 году, проклятом и все же неизбежном?

Разве нет правды и в этих словах «Нового времени», говорившего с достоинством горькую правду:

> Сам превратившись в придворного генерала, Куропаткин не смог за 8 лет управления своего военным министерством побороть чиновничьего духа, заразившего армию. Повинен Куропаткин в том, что в боевой линии завел роскошь и изнеженность, подавая к тому личный пример... Он жил не как великий солдат и ученик Суворова, а как большой русский барин, в роскошном поезде, с электрическим освещением, салонами, вагоном-кухней, с огромным штатом челяди и прихлебателей...
>
> *(«Новое время», 15/II—1906 г.)*

А дальше оттуда же:

> — На войне барские нравы сослужили стране плохую службу. Все помнят такие подробности войны, как поезда, набитые цветами одного адмирала, в страшные дни, когда не хватало поездов для снарядов, или батальон солдат, во время сражения поливавший вагон с генеральской коровой, не выносившей жары, и т. д. и т. д.

* * *

Как вам это нравится? А это было! Как же тут было не потерпеть краха с такими деятелями страны, при таком осведомлении о противнике?

Проехали Мукден, едем дальше. Вот станция Сыпингай, на каковых высотах наша армия дожидалась заключения мира. И мир был блестяще заключен Витте, стяжавшим за это титул графа.

Закатное солнце заливает аккуратные станционные домики, синих китайцев, японскую толпу женщин и девушек в кимоно и в пестрых, как мотыльки, оби.

Японцы все для праздничного дня — воскресенье — в сво-

их аккуратных национальных костюмах, смеются, переговариваются,— мирно, мирно....

В форме только начальник станции, жандарм с малиновым околышем да вверху на пригорке, как раз против заходящего солнца, у дверей казармы, расставив ноги, стоит крепкая черная фигура японского часового. Желтая форма аккуратна, ярок красный околыш на фуражке с большим козырьком, блестит ствол ружья, штык-нож.

Все дело рук этого солдата. Вся Маньчжурия залита этой японской толпой или же еще плотнее залита сетью японских организаций.

Японские банки плотно держат в своих руках деловую жизнь севера Китая. Все дальше и дальше распространяется крепкая спаянная экспансия японцев, не боящаяся тратить время, начертанная в недрах Генро и министерствами иностранных дел на многие годы. Им впереди мерещится объединение Востока...

— А русские?

Кровь заходящего солнца — русская кровь. Они пострадали в японской войне так, что страдают от этого до сих пор. Их предал Запад, и они пошли против того, с кем связаны,— против Востока.

Недаром адмирал Рождественский писал в 1906 году в «Новом времени» о бое под Цусимой:

> Расположение японского флота не знал даже адмирал союзного японцам английского флота, сосредоточившего свои силы у Вей Хай-вея в ожидании приказа истребить русский флот, если бы эта конечная цель не под силу была бы японскому

Мир оказался разделенным, и из этого разделения цельно встала Азия, и русским, теперь бродящим по этим печальным следам русской крови, нужно пересмогреть свою русскую политику.

И приложить ее так, чтобы она шла путями Азии, чтобы русским не приходилось лить русскую кровь в великих войнах буйной Европы, судьбы которой им безразличны, и вместо них принять великий мир — мир Азии.

Дева Победа и Дева Обида

16 августа 778 года (то есть ровно 1150 лет тому назад) в Ронсенвальской долине, в узком проходе в Пиренеях, отделяющем Испанию от Франции, произошло великое сражение арьергарда отступающих войск Карла Великого с наседающими силами сарацин (арабов), к тому времени овладевших Испанией.

Мы не будем брать исторической стороны сохранившейся песни об этом, записанной неким Турольдом; возьмем только ее литературное, песенное содержание. Эта «Песня о Роланде» является вообще основой так называемого рыцарского эпоса в Европе, который долго оказывал свое влияние на души тогдашних воинов. Граф Роланд — это первый рыцарь, рыцарь с ног до головы, слуга чести и дамы, богатырь, честный вассал своего короля — одним словом, тип, который отобразился и на историческом русском, как и на всяком дворянстве.

* *

Прекрасно, как цветные стекла соборов, изображает песня Турольда подвиг Карла Великого в Испании. Прежде всего это — король, убежденный, истинный христианин:

Император радостен и весел,
Он взял Кордову, разгромил ее стены,
Рыцарям досталась богатая добыча —
Золотом, серебром, дорогим оружием.
В городе не осталось ни одного язычника,
Который не был бы принужден сделать выбор
Между смертью или крещением...

И довольный своей победой Карл Великий уводит свои войска во Францию сквозь теснины Пиренеев. Только арьергард графа Роланда в 20 000 человек сторожит тыл ушедших; а между тем тесть графа Роланда, коварный Ганелон, уже уговорил сарацинского короля Марсила с огромным войском навалиться на этот арьергард и уничтожить верного графа Роланда, первую опору короля Карла.

День на исходе, близится вечер,
Граф Роланд водрузил свое знамя

На вершине холма, прямо к небу...
Оливье всходит на вершину холма,
Он глядит направо в долину, покрытую травой,
И видит, что подходит вся армия неверных...

— О,— в исступлении восклицает верный Оливье,— это сделал Ганелон, всегда коварный!..

— Молчи, Оливье,— ответил ему Роланд,—
Ганелон мой тесть,— ни слова о нем больше!
И сказали французы: — Да будет проклят тот,
кто побежит,
И ни один из нас не дрогнет перед смертью...

— Верность до конца! — восклицают рыцари, и между ними

Архиепископ Турпин, представитель Бога...
Сильными ударами копья и прекрасными проповедями
Он без устали боролся против язычества...

На смерть обречен арьергард Карла; но смотрите, как держатся французы: традиция героических и элегантных дней Великой войны встает еще тогда перед нами...

...архиепископ Турпин
Пришпорил своего коня и поднялся на холм,
Обратившись к французам, сказал им такое слово:
— Синьоры бароны, Карл оставил нас здесь.
Это — король ваш, и долг наш заставляет нас
умереть за него...
Христианство в опасности — поддержите его...
Несомненно, вас ожидает битва,
Ибо вот — пред вашими глазами — сарацины...
Итак, исповедуйтесь в грехах, помолитесь Богу,
Чтобы облегчить ваши души; я же дам вам
разрешение...
Если вы умрете, вы умрете как праведники,
И в раю уготованы вам будут места...—
Французы сходят с коней, архиепископ благословляет их:
— Во искупление грехов своих ударьте на неверных!

Вот как описывается битва самого Роланда с язычником Вальдабреном:

Роланд пришпорил своего коня и помчался.
В руке его Дюрандаль, драгоценнее всякого злата;
Он наносит неверному жесточайший удар
По шлему, украшенному драгоценными камнями и
золотом...
Рассекает он голову, панцирь и туловище,
Седло, украшенное драгоценными камнями и золотом,
И глубоко разрубает спину коня...
— Худо ли, хорошо, но оба убиты...
Неверные сказали: — Жестокий удар нанес он нам.—

И ответил Роланд:
— На вашей стороне гордыня,
а не право.

Но сила солому ломит... Все подходит, подходит неверный, все падают и падают французы... Турпин убеждает Роланда затрубить в рог Олифант, чтобы вернуть Карла, ибо, если арьергарду здесь суждено лечь всему, до последнего человека, то

...французы унесут с собой наши тела.
Ни собака, ни волк, ни вепрь не съедят их...

Пронзительный звук рога летит по Ронсенвальской долине, достигает ушедших французов; кровь выступает от напряжения из рта, из висков Роланда:

Карл слышит, слышат и все французы,
И говорит король: — Какой долгий, пронзительный
звук рога!

Поворачивает войска Карл Великий и идет на выручк своих, на выручку Роланда:

Все боевые бароны сели на коней,
Они пришпорили их и все время, пока ехали ущельями,
То и дело говорили друг другу:
— Хоть бы повидать нам Роланда еще живым,
То-то бы ударили мы с ним лихо на врага! —
Но, увы! Напрасно! Поздно! Слишком поздно!

Да, было поздно. Правда, граф Роланд перебил все противников, поразогнал их, но и сам он отдал Богу душу

Он вознес к Небу перчатку с правой руки,
Св. Гавриил принял ее.
Тогда его голова склонилась на руку,
И, сложив руки, он скончался.
Господь послал к нему одного из ангелов-
херувимов,
Св. Рафаила и св. Михаила...
Вместе с ними явился и св. Гавриил...
Душу графа Роланда они уносят в рай...

Умер граф Роланд, но после него осталась Победа; Карл Великий жестоко наказал и сарацин и Ганелона за вероломство. Справедливость торжествует, и чувства народа на протяжении многих веков насыщены, удовлетворены этой звучной песнью, и чувства эти ведут к новым победам, к новым битвам... Рыцарство представлено здесь спаянным в одно целое, над которым господствует только король и Бог; презр

ние изменнику, смерть крамольнику, наказание неверному — вот что гласит эта песнь.

Потому что высшая добродетель — верность и сплоченность до конца...

Таков эпос Европы, славящий Деву Победу.

* * *

Сравним с этим героическим европейским эпосом русский героический эпос, «Слово о Полку Игореве»,— содержание описания похода против половцев в 1175 году.

Та же воинская доблесть, то же воинское воспитание:

> — А Куряне мои — умелые воины: под звуки труб спеленуты, с конца копья вскормлены... Дороги им известны, овраги знакомы. Луки у них натянуты, колчаны открыты, сабли наточены, сами скачут, словно серые волки по полю, ища себе честь, а князю славы...

И подобно тому, как битва в Ронсенвальской долине сопровождалась землетрясением по всей Франции, выступление кн. Игоря в половецкий поход тоже сопровождалось различными явлениями природы:

> — Солнце тьмою путь заграждало. Ночь стонала грозой. Переполошились все птицы. На дереве кричит див...

Вот наконец и Дон,— «встали кровавые зори»... Утро. Черной тучей движутся половецкие рати, в них блещут синие молнии мечей... Будет великая гроза, будет военный дождь из стрел, и сабли будут тупиться о стальные мечи...— О Русская земля! Тебя не видно здесь, ты за холмами!..— восклицает безвестный поэт.

Тоже пышно бьются русские рыцари.

> — Ярый тур Всеволод стоит, не гнется; куда он поскачет в толпе врагов, сверкая своим золотым шлемом, там лежат головы поганцев, то есть неверных половцев; расщепляются шлемы аварские под каленой саблей...

Но ни князю Всеволоду, ни князю Игорю — увы: удачи нет, нет и славы... Игорь взят в плен... В то время как победная смерть графа Роланда и его рати до сих пор наполняет гордостью, вдохновляет сердца народов Западной Европы, поражение Игоря и Всеволода покрывает печалью всю Русскую землю.

— Невеселое время настало, братие! — восклицает неизвестный поэт.— Степь погубила силу русскую; никнет трава от жалости, дерево с печалью к земле приклонилось.

Поднялась беда на Руси, стала в образе Девы Обиды, заплескала лебедиными крылами на синем море у Дона.. Прошли счастливые времена...

Но почему же не возымела действия эта проявленная русская доблесть? Почему князья «гнезда Ольгова» потерпели такую неудачу?

А по тому самому, что не изменилось на Руси до сей поры.

Разве не было силы на Русской земле, чтобы разбить степняков-кочевников? Была, конечно! Но начались...

...у князей усобицы: брат стал говорить брату: это мое, и то — мое же! И стали князья из малого делать большое, и сами создавали усобицы, а поганые со всех сторон приходили на Русскую землю и побеждали...

Непоколебим бросается король Карл на смертный призыв Олифанта, в который с кровавой натугой дует граф Роланд. А поэт наш в «Слове» кричит Святославу Киевскому, который «смутен сон видит»:

— Так иди же на помощь сыновьям своим...

Зовет он и других князей...

Великий князь Всеволод! Разве ты не думаешь прилететь, как сокол, издалека и спасать отцовский престол? Ведь у тебя силы много, можешь Волгу раскропить веслами, Дон вычерпать шлемами!.. Вступай же в золотые стремена, за теперешнюю обиду Русской земли, за Игоря Святославовича...

— Галицкий князь Осьмомысл! Ты сидишь на высоком престоле... Ты пускаешь кругом золотые стрелы... Так стреляй же, о господине, поганого Кончака за раны плененного Игоря Святославовича!..

Но напрасны все эти призывы, и по всей Русской земле расстилается жуткий плач Ярославны с городской стены в Путивле... Плач, горестный плач по утерянном муже, по погибели Русской земли...

Дева Обида царствует по всей Русской земле, и поэт выразительно говорит нам — отчего:

— Сеялись и вырастали князьи междоусобицы, погибала жизнь княжеская, и от княжеских крамол век людской сокращался...

* * *

В европейском эпосе мы видим твердый, железный шаг сомкнутых рыцарских рядов. Сверху и донизу там все организовано. Предательство там — карается. Доблесть — славится. Верность почитается первым достоинством. Духовенство бьется в рядах рыцарства...

При всей удачливости, смелости и предприимчивости отдельных русских людей их усилия бесплодны из-за внутренних раздоров. Предательство и крамолы проницают русское общество сверху и донизу

И если над рыцарством Европы летит на пышных крыльях Дева Победа, на долю русских достается лишь плачущая Дева Обида, жалующаяся на самих же русских людей.

И разве и в наше время мы не слышим этих обидных рыданий над Русской землей и все по тому же поводу?

Заговор ставки

(К ИСТОРИИ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ)

Мне известные круги инкриминировали фразу одной из моих статей:

«Офицеры изменили государю, а армия отошла от офицеров».

Со всех сторон по поводу этой фразы доносились и доносятся по моему адресу различные вопли и нескрываемые угрозы. Однако заслуженно ли это?

Должен сказать, что я глубочайшим образом убежден, что в февральские дни в верхах Ставки разыгрался самый настоящий заговор; кем и как он был руководим — покажут в дальнейшем исторические исследования, но и в настоящее время можно этот заговор поставить в связь с существовавшим в русском генеральном штабе засилием эсерства; мне уже приходилось ссылаться на буквально записанный мной рассказ одного генерального штаба генерала, который повествовал однажды, что «если он и выпущен из академии по генеральному штабу, то только потому, что он записался в эсеры, согласно поставленного ему начальством условия»

И действительно, весь характер действия этой партии ее скрытность, неуловимость, уклончивость — налицо в действиях высшего командования в дни отречения государя Посмотрим же, что же произошло тогда в трагическом царском вагоне на ж. д. путях.

*

К концу 16-го года в столице Петербурге открыто существовал уже самый настоящий заговор против царя; это ни для кого не было секретом. Убийство Распутина, оставшееся безнаказанным (словно в России можно было кого-либо убивать безнаказанно!), показало, что в русском политическом строе была надорвана какая-то весьма важная и существенная связка. Государственная Дума, как это явствует и появляющихся в последнее время воспоминаний, была готова действовать, выступать и т. д., она ждала только сигнала

Нет никакого сомнения в том, что петербургский гарнизон, преступно перенаселявший своим присутствием столицу, при его контингенте из разных городских и фабричных элементов, при значительном количестве устроившейся в тылу интеллигенции, был распропагандирован и был готов не только для неорганизованных буйных выступлений, но и для налаженных действий. Что эта первоначальная организация Петербурга была организацией эсерской — это показывает факт, что в первые дни после революции по петербургским участкам засели самые настоящие эсеры и чинили суд свой и расправу втайне, но чрезвычайно жестоким и организованным способом. Кому, далее, кроме наторелых и организованных политических преступников, нужно было поджигать на всякий случай здание петербургского окружного суда, громить департамент полиции и т. п.? Рука опытных революционеров явно была в этих действиях.

Одним словом, худо ли, хорошо ли, Петроград «восстал»; казалось бы, кому-кому, а главному-то командованию величайшей в мире армии следовало бы знать серьезность или легковесность этого восстания, его слабые или сильные пункты, основательность или эфемерность его происхождения, его опасности, которые оно несло с собой. Казалось бы, главное командование российской армии должно было бы с ним предварительно хотя бы ознакомиться, пусть — чтобы найти его необходимым и существенным, чтобы признать его; однако этого не происходит. Главнокомандование со странной готовностью сразу же принимает петербургские события за очень серьезные и в своих телеграммах начинает рекламировать их, подсоблять им.

28 февраля вспыхнуло «восстание», а 2 марта государь уже отрекся! Скажите, пожалуйста, мог ли бы быть достигнут столь скоропалительно этот огромный акт, если бы все приближенные государя, а значит, главным образом, высшие чины армии, не были в заговоре?

Нет, это невозможно! Напрасно некоторые оппоненты указывают мне на то, что-де высшее командование «не разо бралось сразу же в обстановке». Нет, оно было отлично подготовлено к этой обстановке, оно участвовало само в ней, а «осознание» — то произошло потом, слишком поздно, спустя лето по малину.

Свидетельством этого служит телеграфная переписка, ярко изображающая нам ту возню, которая немедленно после бунта в Петербурге, после убийств нескольких городовых началась вокруг государя. Вполне достоверно извест-

но, что после получения первых известий о происходящих в Петербурге беспорядках государь приказал своему поезду идти в Царское Село, куда приказал двинуть верные прифронтовые части.

Государю выехать из Ставки позволили, но в Царское Село не пустили, задержав его поезд на ст. Псков. Таким образом, он оказался отрезанным и от Ставки, и от столицы, оказался повисшим в воздухе. Ему генерал Алексеев шлет следующую телеграмму вдогонку:

— Поступающие сведения дают основание надеяться, что думские деятели, руководимые Родиной, еще могут остановить всеобщий развал и что работа с ними может пойти, но утрата каждого часа уменьшает последний шанс на сохранение и восстановление порядка и способствует захвату власти левыми элементами.

Ставка. № 1865 *Алексеев*

Значит, Алексеев своей фигурой старался затемнить происходящее в Петербурге; он пошел с Петербургом; значит, он в известном случае ручается за то, что порядок не будет нарушен, угрожая темными выражениями о переходе власти «к левым элементам».

Прифронтовые части тоже на Петербург не попали. Сначала Алексеев в Пскове уговорил государя отправить их обратно на фронт, а ген. Данилов автоoитетно телеграфирует в Ставку полк. Тихменову:

— Главкосев (ген.-адъют. Рузский) при существующей обстановке не считает возможным сосредогочение железнодорожных батальонов к Пскову, прибытие которых лишь осложнит обстановку. 2 марта. № 6166.

Данилов

Идут верные части с западного и юго-западного фронтов, и по отношению их та же политика — Ставка их любезно и предупредительно задерживает. Старая генеральская революционная организация работает превосходно, при полной выдержке, при полном соблюдении чинопочитания и военного декорума:

— Главковерху. № 1868. Государь Император отдыхает, и потому испрошение в отношении войск западного и юго-западного фронтов может последовать только завтра утром.

«Испрошение» это относится к пропуску войск, идущих на Петербург. И параллельно заговорщик ген. Данилов дает руководящие указания, чтобы не дожидаться, покамест государь проснется:

> Предварительно испрошения у государя разрешения возвратить наши войска, Главкосевом было отдано самостоятельное распоряжение задержать войска на станции. Сообщается на случай, если эту же меру будет сочтено возможным применить в отношении войск западных фронтов распоряжением Ставки. 2 марта.
>
> *Данилов*

Одним словом, телеграмма содержит совершенно ясный совет: — Войска не пропускайте!.. Пусть себе государь отдыхает!

Однако этого мало. В столицу нельзя пропустить не только верных царю войск, нельзя пропустить и самого государя. Начинается кампания за то, чтобы он немедленно отрекся и в Петербург приехал бы простым человеком, «гражданином Романовым».

2 марта в 9 часов утра ген. Лукомский телеграфирует в Псков ген. Данилову:

> Прошу тебя доложить от меня Рузскому, что, по моему глубокому убеждению, выбора нет и отречение должно состояться...

Таким образом, беспорядки в столице Петербурге тылового, облаченного в галоши, гарнизона приобретают в глазах этих верных царю офицеров характер необходимости сокрушить вековой отеческий престол!

Знали ли другие командиры это возмутительное, что происходит? Кто знал, а кто и нет. Это знали только заговорщики, это знала Ставка и те, кто был с ней. Другие не знали.

Вот телеграмма Хана Нахичеванского:

> — Главкосеву. До нас дошли сведения о крупных событиях, прошу вас не отказать повергнуть к стопам Его Величества безграничную преданность гвардейской кавалерии и готовность умереть за своего монарха.
>
> № 2370
>
> *Генерал-адъютант Хан Нахичеванский*

Конечно, эта телеграмма государю не была показана; зато к нему летели другие телеграммы, посылаемые тесным кругом сплоченных заговорщиков.

Алексеев телеграфирует всем главнокомандующим фронтами:

> — Его Величество находится в Пскове, где изъявил свое согласие объявить манифест,— идя навстречу народному желанию, учредить ответственное министерство...

Казалось бы, желания думцев-конституционалистов достигнуты. Ан нет, потому что Алексеев дальше в своей телеграмме-прокламации излагает следующее:

> ...Председатель Госдумы в разговоре по аппарату в 3 с половиной часа утра 2 марта заявил (то есть тогда, когда государь отдыхал, а его войска-заговорщики заворачивали назад), что появление такого манифеста было бы своевременным раньше, 27 февраля, что в настоящее время этот факт является запоздалым и что ныне наступила одна из страшных революций, сдерживать народные страсти трудно, войска деморализованы... Армия и народ находятся в руках Петроградского правительства... Династический вопрос поставлен ребром, и войну можно продолжать до победного конца при регентстве Михаила Александровича... Поэтому между высшими начальствующими лицами армии нужно установить единство мыслей и спасти армию от колебаний и возможных случаев измены долгу... Армия должна бороться только с внешним врагом, и решение относительно внутренних дел должно избавить ее от искушения принять участие в перевороте, который более безболезненно совершится решением сверху. *Алексеев.* 2 марта, 10 ч. 15 мин. № 8401842.

Итак, переворот совершился сверху, как пишет Алексеев. Командующие, кто сознательно, а кто нет, как горох из мешка, сыплют заявления о необходимости отречения. Получены телеграммы с заявлениями, о которых телеграфировал Алексеев,— об отречении в пользу Михаила Александровича — от генералов Брусилова, Эверта. Об этом же получена телеграмма от в. кн. Николая Николаевича, который «коленопреклоненно» просит не вмешиваться в борьбу Россию и уступить престол. Один генерал Сахаров, командующий Румынским фронтом, возмущен Родзянкой, но же заявляет, рыдая, что, пожалуй, «наиболее безболезненным выходом для страны является решение пойти навстречу

высказанным условиям, дабы не давать промедлением пищу еще дальнейшим и гнуснейшим притязаниям (!)»...

Значит, простак Сахаров не был со Ставкой, и только работа Ставки исторгнула это признание у него.

Государь отрекся; он выпустил последний манифест. Тот же Алексеев немедленно телеграфирует:

— Главнокомандующим фронтами. Председатель Госдумы Родзянко убедительно просит всеми мерами и способами задержать объявление манифеста, который сообщен этой ночью. Прошу сделать распоряжение, ознакомив с манифестом только старших начальников. 3·марта, 3 ч. 45 мин.

Алексеев

Но если двойное отречение государя было в пользу кн. Михаила, то, следовательно, войска должны были бы автоматически приводиться к присяге. Хлопотун ген. Рузский поэтому телеграфирует:

— Командующим 1, 8, 12 армиями, командиру 4 и 2 корпусов, копия комфлота Балтийского моря и Главковерху.

Приказываю во что бы то ни стало приостановить распространение манифеста и, во всяком случае, не выполнять приведение к присяге. 3 марта, 8 ч. 15 мин.

Рузский

Республиканский аппетит, очевидно, пришел ему во время демократической еды.

И уготованное России — свершилось...

* *

Без излишнего волнения рассмотрим то, что произошло.

Ясно и очевидно, что Алексеев, Рузский, Данилов и другие «генерал-адъютанты» были в заговоре против государя. Ясно, что только от них зависело то, что «самая страшная революция» не испытала никакого отпора от патриотически настроенной армии и революционный шквал все выше и выше понесся в опустошительном кровавом урагане по лицу матери-России.

Напрасно отворачиваться от гневного вопроса, кто виноват; напрасно заметать следы. Виновные должны быть рано или поздно найдены.

Ошибкой было, что не искали убийц Распутина. Ошибкой было — не искать убийц России!

В Ставке и тесно связанном с нею генеральном штабе существовал заговор, и мозг русской армии, мозг страны пошел вслед революционерам, отымая от армии в столь решительный момент мирового положения главу армии.

Что это — глупость Ставки или измена Ставки?

Генерал-адъютанты не постеснялись заменить шифр государя на своем погоне каплями его крови; они государя, при мягкости его характера, захватили в вагоне, заставили отречься, скрыли его манифест от войск, нарушили его волю относительно в. кн. Михаила, наконец — предали на проклятие, и кто же?

Конечно, русские высшие генералы в Ставке, повторившие преступление Инженерного замка.

Душа армии

Генерал от кавалерии П. Н. Краснов выступил недавно с книгой, носящей вышеуказанное название. Казалось бы, и книги в руки этому бравому генералу по этому вопросу. Казалось бы, что для воплощения этого труда его трудно удачнее подобрать такую комбинацию писателя — автора широко известных романов с воином, стяжавшим немалую репутацию, с участником международных и гражданских войн.

Однако увы! Этим ожиданиям свершиться не дано. Книга П. Н. Краснова имеет скорее другое, отрицательное достоинство. Она In nuce выражает в себе те верования и положения, которые генерал Краснов и иже с ним полагают лежащими в основе армии, а следовательно, делает этой концентрацией более удобным разбор их правильности.

Из этой книги оказывается, что воззрения ген. Краснова на «душу армии» и, специально, на душу армии русской нисколько не разнятся от воззрений, прочно и назубок усвоенных каким-нибудь лихим портупей-юнкером старшего курса; если в его произведениях описываемая обстановка, события и так далее еще способны увлечь автора своим течением и заставить его что-то намекнуть помимо общих шаблонов тесно-юнкерской его мысли, то в этой книжке этого решительно не наблюдается. Мне приходилось уже высказываться, что в романе Краснова «Все проходит» действующие лица говорят и рассуждают во времена тишайшего царя Алексея Михайловича так, словно они вышли из «юнкерей»; «душа армии» поддерживает это мое мнение полностью.

Прошу не обижаться за юнкеров; юнкера люди хорошие и много принесли пользы родине при последних обстоятельствах. И восемнадцатилетним, девятнадцатилетним, молодым, энергичным и храбрым людям вполне простительно иметь те воззрения, которые им внушены. Но плохо, и очень, тогда, когда старый генерал, вместо того чтобы самостоятельно руководствоваться обстановкой и опытом, руководствуется полученными на школьной скамье воззрениями:

— Пусть он твердо хранит их, но все же он обязан время

от времени перетряхивать их, как перетряхивается парадный мундир, чтобы спасти его от моли времени...

Ведь, как говорит один из величайших теоретиков военного искусства ген. Клаузенвитц, «храбрость есть главный элемент в войне, но этот воин годится для более высоких и ответственных ролей только тогда, когда его храбрость поддерживается его смелым умом. Вот почему из многочисленных храбрых солдат выходит столь немного смелых предприимчивых вождей...»*

* *

Святые слова!

А между тем что представляют из себя воззрения генерала Краснова? С времен Наполеона каждая война сделалась делом всего народа; для генерала Краснова и для людей его типа она прежде всего — дело военных, и военных «кадровых». Если против русской интеллигенции были постоянно выдвигаемы обвинения, что она была не с народом, то и против русской армии было возможно выдвигать такие же обвинения. Главная забота правительства и императоров, главная основа государства — русская армия всегда находилась в особых, привилегированных условиях; эти условия приучили и г г. офицеров и былых солдат смотреть на себя как на соль земли в отношении народных масс; заносчивость военных — эта всегдашняя отрыжка русского исконного чванства своей служебной близостью к государю — неотрицаема. Правда, всегда при этом ссылаются на прусских лейтенантов, но надо отметить, что у прусских лейтенантов всегда было больше такта в преследовании своих принципов.

Армия — великая молчальница. Но скажите пожалуйста, кто сделал русскую армию величайшей одобрительницей и защитницей всего, что бы ни делало — худо хорошо ли — правительство?! Вот до сих пор и интеллигенция, да и весь в сущности народ (возьмите старообрядцев) лихорадочно и жутко переживают вопрос, благо ли или не благо — дела царя Петра? Как бы ни относились мы к этому вопросу, мы должны признать его социальную значимость, а между тем русская армия есть сплошная утверждатель-

---

Генерал К. фон Клаузенвитц. Основные положения войны военного искусства. Нем. изд., стр. 18.

ница дела Петра. И тот же генерал Краснов с увлечением приводит песню о трех пулях Полтавской битвы, тронувших Петра, но и не проливших его крови.

Но Петр есть гигант русской истории; как же мы отнесемся к другим властителям ее? Ведь русская революция-то оказалась твердым, неразгрызаемым фактом, и трудно не обломать о нее зубы твердокаменным защитникам армейских традиций. Значит, действительно, «неладно что-то было в Датском королевстве», говоря словами Гамлета. И действительно, несмотря на разные оценки царствования Екатерины, своим укреплением крепостного права и помещичьих традиций, значительно содействовавших революции,— все же в русской армии продолжали существовать традиции екатерининские, «кротчайшие Елизавет», павловские и т. д.

Действительность и жизнь многое из деятельности этих царственных деятелей и виновников русской истории отвергли, а армия упорно и вызывающе несла с собой их традиции. Армия словно узурпировала нашу историю, положила на сомнительном, строящемся печать: быть по сему!..

В оправдание чего обычно ссылаются на славу. Слава-де российских орлов — вот хранительницей чего является русская армия.

Да кто же отрицает, что в истории русской армии немало славных страниц; но в этом упоении славой, славой во что бы то ни стало, необходимо весьма точно отграничивать элемент положительной славы с славой сомнительной. Да, у русской армии была подлинная светлая слава, но только тогда, когда война становилась всенародной, популярной или как вам угодно еще. Отечественная война — это сплошная слава; русская армия была здесь не петровской, не екатерининской, а русской армией. То был сам русский народ, отбросивший Наполеона, выгнавший его из Москвы, прокатившийся вслед за ним в Берлин, Париж и т. д. и сорвавший его римских орлов с потрясенной Европы, создавший Венский конгресс с гегемонией России.

Да, это была Слава, мать и родоначальница славян. Была слава и в азиатских русских войнах, хотя и рангом поменьше; но и там Россия справляла свое историческое восточное назначение. Но от этой подлинности славы далеко до тех маленьких слав, которые воспевались придворными пиитами, в честь которых сжигались придворные фейерверки, этих разных маленьких военных инцидентов.

Немецкие военные историки пишут ясно и определенно, что ни одной войны с 1854 года, когда по каким-то таинствен-

ным неисповедимым путям Господним Россия не смогла отразить от крымских берегов наполеоновскую десантную операцию — неслыханный случай! — с той поры Россия ни одной войны не выиграла. Даже турецкую войну 1877—78 годов они считают проигранной, и слава ввязывания в балканские дела очень сомнительна.

Где же здесь основания для славы? Если даже славой считать официальные реляции, то народ своим практическим умом отлично понимал, что до этой классификации тут еще далеко. Японская война отлично показала, насколько далека русская армия от общества и как она далека была от славы.

Где же сохранялся русской армией вышеуказанный наполеоновский принцип, что «война — дело нации»? А ведь наполеоновские принципы у нас вообще-то очень очень чтились, такие, конечно, которые были по шерстке. Вот почему в этой своей устремленности русские теоретики войны никогда не заводили речи о «психологии войны», наивно ссылаясь вместе с ген. Н. Головиным «на сложность» сего предмета.

В своей книге ген. Краснов пишет, что «армия, поскольку в ней должны пребывать призывные контингенты, есть могучее воспитательное средство». Ген. Краснов в 1928 году открывает эту Америку, когда тот же ген. Бернгарди, начальник немецкого генерального штаба, писал об этом в упор в изд. Березовского три десятка лет тому назад в своей книжке «Будущей войне», войне с Россией и ее союзниками, где он предсказывал революцию в России! Да, армия есть школа для народа; но чему должна была учиться армия в этой школе? Сомнительной славе... или «коекакству»? Простите за это слово военного авторитета, генерала Драгомирова

Генерал Краснов пишет теперь книгу; но что же мы видим в ней нового? Увы! Ничего! Революция и последующие события прошли бесследно над этими головами. Он сетует на толпу, на то предвоенное общественное мнение, которое делалось в русском обществе при помощи газет, и так далее Но он не указывает, что в армии в этом «предчувствии грозы» ничего не предпринималось, что русская армия политически не воспитывалась и что в ней *сидели в ее верхах, штабах и командованиях эсеры!* Русская армия в этом наступлении предвоенной и предреволюционной бури, руководимая теми же генералами красновыми, была не сильным и стойким находчивым организмом, а мягкотелой амебой, которая не могла защищать свою славу и не имела воли к этой защите, оставаясь на уровне юнкерских понятий.

— Духовно армия стояла на громадной высоте,— пишет ген. Краснов про этот предвоенный период и с восторгом сообщает, что государь «приказал Николаю Николаевичу открыть путь на Берлин» (стр. 105) А на стр. 29 того же автора мы находим такое выражение: «В 1914—15 годах русская армия слабая тяжелой артиллерией, без аэропланов, без снарядов и патронов». Какой там Берлин?! И вместо того чтобы поставить проблему армии в целом, как части нации, части, рискующей жизнью своих членов и для того долженствующей быть вооруженной и снабженной всеми последними усовершенствованиями промышленности, техники и науки, ген. Краснов в своей книге возвращается опять к старому юнкерскому — к духу войск.

Перед лицом противника всем солдатам и офицерам бы было ясно, как плохо обиходили начальники русскую армию. Как она была отлична в снабжении, обучении, снаряжении, вооружении от той же немецкой... Авторитет начальника и генерала падал, падал, а ген. Краснов по-старому поет лихие песни:

> *Командир полка...* человек, который может со всей этой массой (солдат) сделать все что угодно (!?!) Может повести на смерть, может загонять на плацу до седьмого пота, может наградить, накормить, напоить и может заставить терпеть холод и голод... (стр. 116).

Мысль совершенно искаженная, мысль нелепая, перевернутая, опасная. Не может командир заставить солдата терпеть холод и голод, это могут сделать только обстоятельства. Есть закон и на командира, а не вовсе он «может делать все что ему угодно»... Солдат убьет врага, как и командир; враг убьет и командира, так же как и солдата,— вот в чем дело, вот основа военного равенства: солдат есть имя общее и почетное. Такая фальшивая фиоритура о безграничной власти командира показывает, насколько генерал Краснов мало понимает и теперь, что́ произошло в армии.

Генерал Краснов никак не поймет, что если солдаты Суворову кричали «отец», «батюшка», так это потому, что он им и был отец и батюшка. А претендующий на это звание человек, потому что у него погоны с зигзагами, ошибается в своем предположении.

Революция доказала это... Не помогли никакие «субординации», требуемые Красновым, потому что субординация всегда связана с личным и целокупным авторитетом начальства, а вовсе не с рангом.

* * *

Что случилось в революции?

Надо наконец сказать просто:

Г г. офицеры изменили государю, приняли присягу Вр. правительству, а солдаты отошли от г. г. офицеров. Те призраки старой армии, которые пели:

> Так держите имя Ольги,
> Белый ментик и штандарт,—

сохраняются теперь лишь в индивидуальных отдельных душах старых офицеров. И больше нигде.

И это случилось только потому, что армия была слишком профессионально-юнкерски-традиционна и не желала прислушиваться к народу, к его жизни. Участь армии — участь интеллигенции.

Особенно трагично это было в той армии, которая стала формироваться после революции,— в белой армии. Ее нельзя никак отождествлять со старой армией. Белая армия была полународная армия; она выступила как активная сторона национальной жизни страны, борясь против большевизма правильно оценив политический момент. Но, как известно, и эта вторая армия потерпела неудачу. Почему?

Да потому, что те методы, те лозунги, которые бы выдвинуты в ней, каким-то образом не соответствова настроениям входивших в нее масс. Командовать этой второй армией стали те же военные, которые вместе с ген. Красновым выказывают такую щепетильность к званию кадрового офицерства и, следовательно, к известному комплексу понятий. А между тем уж и царская армия последнего периода была армией прапорщиков, которых генерал Краснов обложил сплошь «шкурниками», в статье по поводу переписки «Туда и оттуда», что вызвало жестокие отповеди и ругань со стороны врангелевцев. Конечно, такая разница меж возглавляющими и возглавляемыми не могла дать положительных результатов и во второй, белой армии.

Она погибла, дав место третьей:

Красной армии.

*

Перед деятелями былых двух армий стоит та же за, как перед вообще русскими людьми:

Русская военная история должна быть пересмотр честно, без излишних слов, тушей и барабанных марш В ней должно быть подчеркнуто все то, что делало русск

армию прежде всего национальной, потому что душа народа — душа армии. Никакой особой души у армии нет.

В этой обновленной традиции русской армии должно быть тщательно убрано все, что слишком по-юнкерски выпирало наружу и куда сверкнула и низверглась молния революции. В настоящее время армия не профессия, армия — общественное дело, и поэтому те, которые хотят себя отдать этому народному делу, не должны строить из себя отдельной кадровой «касты»!

Степень силы армии — степень силы самого народа; поэтому ослабление этой силы в виде всем известных случаев чиновничьего отношения к делу в армии не может быть более терпимо. Ведь нигде не было бюрократии хуже, нежели в русской армии! Не должно быть в ней драгомировской лихости и поверхностности.

По отношению к старым деятелям армии — к генералам Красновым, к их традициям — до́лжно сохранять самое отличное почтение, однако это не значит, чтобы их можно было пускать куда-нибудь на ответственные должности, и, за самым малым исключением, должен быть объявлен мораторий на высокие чины.

Русская армия всегда поддерживала сторону «русского государственного классицизма»; в революции выдвинулась другая сторона, скажем — «государственность романтизма», определяющая собой третью, Красную армию. И в будущей, четвертой русской армии не будет забыта эта романтическая, народная сторона, и вожди, выдвинувшиеся в Красной армии, займут подобающее место в русской Национальной армии без всяких годов «старшинства», единственно по цензу, талантливости, годности и удачливости.

Поэтому упражнения ген. Краснова найдут себе надлежащее место в историческом архиве армии, на пользу и поучение последующих поколений. И только.

И еще одно:

— Будет непременно оправдана Великая война и всенародное участие в ней России; эта война снимет с первой русской армии тяжелые обвинения в неудачах и в профессиональной замкнутости, и честь участия в этой войне будет распределена на всех, кто боролся в ней, а потом разделился на путях революции.

И тогда будет единая соединенная (разных русских народностей) национальная русская армия, четвертая, преемственная от первой, в которой третья и вторая были только временными печальными инцидентами.

Русский инвалид

...Сначала у автомобиля, круто остановившего свой бег, показалась женщина с не столько старым, сколько увядшим лицом. Она хлопотливо подсаживала в узкую дверь своего спутника.

А спутник ее все свое внимание обращал на ногу; это необходимое приспособление никак не хотело подниматься на ступеньку машины. Он, закусивши нижнюю губу, повернулся к автомобилю боком и с трудом поднял ногу обеими руками. Поставив ее на скамейку, он повернулся теперь фронтом стал втягиваться в узкую дверь.

Наконец сел... Дама села за ним. Машина тронулась...

Я искоса посмотрел на него. Несомненно — инвалид, ветеран Великой войны. Даже не офицер, а просто, как пишется в газетах, «ветеран войны». Еще не старое, но измученное лицо. Серые глаза с привычным военным взглядом, покрытое сетью жилок, заветренное лицо. Седые усы. Серая шапка.

И при всем том все его внимание было устремлено на больную ногу. Морщась и вздыхая, он перекладывал ее с места на место, морщился на толчках, вздыхал. Нога, очевидно, начала вести свое особое, независимое от остального тела существование, как это всегда бывает при какой-нибудь длительной болезни. Нога эта несомненно была центром его существования: ноге легче — все хорошо, есть улыбка, есть рассказы, есть шутки, ноге хуже — вся жизнь замирает, сосредоточивается в ноющей боли ноги.

* *

Ветеран Великой войны. Русский ее участник. Пожалуй, самый неудачный из ее участников.

Россия всегда вела много войн, и всегда старые ветераны и инвалиды были непременным элементом русского общества. Помню своего деда; носило его в венгерскую кампанию 48-го года сажать на престол Франца-Иосифа. Помню седого и хромого гимназического дядьку с медалями за турецкую кампанию 77—78-го гг. А «николаевский со...

дат», прямой, бодрый и веселый, с подусниками на манер Николая Павловича,— разве не постоянный персонаж русской литературы? Помню медаль за севастопольскую кампанию, черный кавказский железный крест, наконец, медаль с этой знаменательной и неудачной надписью:

«Да вознесет вас Господь в свое время».

— Медаль за японскую войну.

Эти старые ветераны, безотносительно их чинов и орденов, безотносительно должностей, были ферментом патриотического, национального воспитания нашего общества...

В Тамбове, на небольшой, садами закрытой от солнца улице, на берегу реки Цны, жило одно семейство старого капитана 1-го ранга. Старик, бодрый и веселый, хотя и волочивший ногу, постоянно в форменном сюртуке, садился ежедневно в 12 часов за стол, твердо соблюдая «адмиральский час», «делал рюмку водки» и ласково-добродушно покрикивал на своих домашних. Криков его никто не боялся, потому что руководила всем в доме его супруга, седая приветливая русская дама, а дочка училась на высших курсах, декламировала Бальмонта, перебирала фотографии Художественного театра и вообще — развивалась.

Когда солнце уже садилось за Цной и над степями, окружающими Тамбов, воцарялась особая чуткая степная ночь, в старом саду дубы и клены неподвижно думали свои думы, звезды заглядывали через их кружева, вечерний стол накрывался на площадке перед террасой. Белела скатерть, озаренная двумя красно-желтыми языками пламени свечей в садовых подсвечниках, барыня хозяйничала, а старый морской волк пускался в свои повествования...

Теперь, когда судьба заставила меня повидать почти все, о чем рассказывал тогда, в дни молодости, старый русский флотский ветеран, это не кажется так увлекательным. Но тогда нам, воспитанным в детстве на чужих Жюль Вернах, на Майн Ридах, эти путешествия были особенно интересны. Ведь это путешествовал не просто какой-нибудь американец или англичанин Кук, нет, тут путешествовал русский человек, плавал на русском судне.

«Вокруг света», «Природа и люди» прививали русским детям в своих интернациональных переводных рассказах вкус к заграничному: мы читали и удивлялись, какие-де храбрые европейцы! Это была сытинская пропаганда иностранщины за русский счет. А вот старик капитан 1-го ранга, полуразбитый параличом, рассказывал про русские дела.

В его рассказах Япония, например, представлялась какой-

то миниатюрной, цветистой вещью, Нагасаки веяло волшебными огнями гор, синего моря и пестрых гейш в чайных легких домиках, где так весело разворачивались русские молодые офицеры в плотно присаженных на уши черных морских картузах с белым кантом, в белых кителях...

С каким замиранием сердца слушал я рассказ, как в одной из гаваней приморского побережья, посевернее Владивостока, лежит на дне затопленный во время войны с Англией гончаровский фрегат «Паллада», очертания которого видны в сильный отлив до сих пор...

Владивосток в его повествованиях был тогда диковинным городом, в котором по улицам бродят тигры, охота на которых тоже доставила моряку несколько острых, страшных минут...

Но все эти рассказы про тигров бледнели перед рассказами о строгих адмиралах, любителях парусного искусства...

В прифронтовом городке Староконстантинове, проходя через него на фронт в 1917 году, я встретился с одним старым отставным полковником, исполнявшим там должность коменданта. Это была типичная фигура ветерана турецкой кампании: серая тужурка, фуражка с огромным козырьком... Он жил на тенистой очаровательной улице этого волынского городка, неподалеку от обставленного пирамидальными тополями белоснежного костела, против которого в кокетливой позе стояла Мадонна с младенцем, и на ней была голубая мантия, а над головой — венец из поднятых на проволоке золотых звезд... И когда я разговаривал с этим простым, воспитанным твердым старым человеком, который так и не ушел со своего поста, будучи впоследствии растерзан солдатской массой, я воочию видел, из какого теста были сделаны старые русские армии. Это была сплошная традиция, но традиция не подчиненности и безответственности, а традиция, которая имеет личный, персональный характер, которая заставляла старика плакать за обиды, наносимые тогда русской армии ее современными командирами...

Жившие на пенсии, по всей России, в своих маленьких домиках, иногда — в больших поместьях, эти смешные, ворчливые, но добрые, честные старики ветераны, подчас любившие выпить, пошуметь, а больше всего поговорить,— бы[ли] свидетелями славных лет русского царства. Пусть неудачны были последние наши войны, пусть у нас «с 1854 г. не было ни одной победы», но все-таки были живы свидетели самоотверженной, всегдашней готовности даже принести себя [в] жертву долгу со стороны русских людей; что же было делат[ь]

если Господь обидел Россию начальниками, если у людей делался какой-то заскок в голове, как только они становились генералами!

Среди политической раскачки последних лет, среди всеобщей бури противоположных мнений, разброда, разного рода проблем — они, эти ветераны, были всегда верны сами себе и России. Они были убеждены, что они провели свой жизненный путь правильно, и, конечно, в них не было того вихляния, которое было видно в последних деятелях нашей армии.

И хотя их теперь почти уже нет, хотя на них прошел словно некий мор и хотя я нес сам когда-то треуголку перед гробом почившего старого моряка, но до́лжно сказать:

— Счастлив был их жребий... Они остались самими собой до самого конца.

* * *

Ну а наш ветеран Великой войны?

Только невежественностью, нечуткостью, небрежностью русской зарубежной политической прессы можно объяснить, что до сих пор не издана книга, которая бы описывала положение ветеранов и инвалидов в других союзных странах.

Не надо забывать, что революция, ошельмовав русскую армию и ее дела, ни в коем случае не может пользоваться благодарностью ветеранов. Ветераны — это противники революции.

В то же время ветераны — это люди, которые делом доказали свою верность нации.

В таком разрезе и понял их Муссолини: в то время как выученные большевиками из Кремля итальянские коммунисты на улицах и дорогах Италии избивали ветеранов, срывали с них знаки отличия — он широко для них распахнул двери своих фаций.

И итальянская фашистская национальная революция была сделана именно в большей мере ветеранами, которые не желали отдавать даром плоды своих трудов на войне.

В результате — в Италии нет голодных инвалидов, какие есть в России; в результате — Италия получает те репарации, которые надлежало ей по праву крови получить с Германии; на эти репарации настроены и дома, и выдаются пенсии для инвалидов.

Прекрасно обставлены инвалиды и ветераны во Франции и Англии; в прошлом году промелькнувшие в газетах суммы

на обеспечение ветеранов в Англии были гомерически велики. Тот из русских военных, который интересуется не только политикой, но и организацией национального русского дела, отлично сделает, если составит маленькую брошюрку с указанием, что потеряли с большевиками русские инвалиды ветераны, в сравнении с положением в других странах, сколько на этом деле заработала Германия, уклонившись с Брестским миром от платежей.

Наконец, из последних газет известно, что Америка за каждого своего убитого солдата платит его семье пять тысяч золотых долларов...

А наш русский ветеран и инвалид последней войны?

Он принял на себя весь крест ее тяжелых последствий. Без работы, без квалификации, без рук или без ног, он несет на себе весь ужас русской дезорганизованности, и, отдавши государству все, что он имел, он не получает ни копейки...

Как гражданская война тяжела потому, что на ней «фронт со всех сторон», как в гражданскую войну нет тыла, где стоят уже нейтральные лазареты, где возможна эвакуация, как в гражданскую войну боец предоставлен сам себе, своему счастью, так и положение русского ветерана Великой войны разнится от положения ветерана других наций.

Те — совершили свое дело и с честью почили на лаврах общественного и государственного признания, стали делать свое маленькое дело общественного воспитания, представляя из себя живой музей войны. Эти — выкинуты на улицу, с неоплаченными, просроченными векселями от государства, подписанными кровью, которых — увы! — некуда предъявить ко взысканию.

Допустив развал армии, военнослужащий прежде всего сам ударил по себе, по собственному благополучию. Он потерял право на те средства, которые ему был обязан некоторый государственный порядок.

Мой инвалид опять руками передвинул неподвижную ногу и полез вон из остановившегося автомобиля.

Дама с измученным, рано постаревшим лицом взяла его под руку и повела; и кто же поддержит больше, нежели она?

— нежели женщина, которая выплачивает теперь мужьям те репарации, которые они проспали, когда у них под носом развалили армию болтливые люди...

Женщина — вот кто платит пенсии за Россию, поддерживая своих мужей...

Русский офицер

Король! Король от головы до ног!.

Шекспир

Крупный осенний дождь как слезы лился по серым, потным окнам новогороднего кабачка. Сизо-лиловый, промозглый табачный дым стоял сплошным столбом. На клеенчатой стойке — незатейливые закуски: студень, колбаса на щербатой тарелке, соленые огурцы в банке. И стойку, стены, углы, занимали бутылки. Водка, водка и водка... Да на стенах рекламы японского пива...

Эти бутылки, эта водка — словно потоп, словно костер из жидкого пламени. Хриплые голоса, звуча осужденно, качались в сизо-лиловом воздухе; в них не было задора солнечных таверн Италии, бодег Испании, не было уюта духанов Кавказа; там, под золотым южным солнцем, льется людям благословенное, красное, как кровь, или золотое, как день, вино из сока винограда. Там земля, за что-то исстари благодарная людям, приносит им роскошные виноградники, где на пышнолиственных, крепких, как жилы быков, коричневых лозах темно-зеленые распускаются вырезные листья и яхонтами свешиваются пирамидальные гроздья винограда, эти маленькие пузырьки со сладким соком. Виноград — кровь самого солнца, и вот почему пьющие виноградную кровь игривы и веселы, вечно шутливы и горячи, как волны недалеких оттуда светло-лазурных морей...

Но водка — это жидкий огонь, мрачный и сосредоточенный, страшный огонь русских зарев, над которыми клубятся черные дымы пожарищ... Когда в приволжских губерниях горят леса — весь горизонт застилает этот пурпурно-черный дым настолько, что солнце само становится мертвым пурпурным кругом. И у людей, пьющих водку, в душе всходит такое же мрачное, пурпурное солнце, славянское солнце спирта из тяжкой черной ржи или сырого подземного картофеля...

Этот мрачный огонь пышет во многих взорах посетителей этого кабачка; души словно сгорают в нем, и вот почему под тяжестью переживаний рушатся черные тела на локти,

опертые на столы. Страшен этот клочок ограниченного дымом пространства, пронизанного сизым дымом, отравленного парами водки и пуще водки — ядовитыми парами воспоминаний...

И как над пожарищем высится иногда крепкая, черная, чудом сохранившаяся труба, так я вижу среди этой мрачной кабацкой хриплой нежити опять знакомую могучую фигуру Он очень высок и плотен, этот человек, хотя по-старчески сутуловат; виски у него поседели, серебряной стала голова, но так же еще кудрявятся баки на крутых синих щеках. Одетый в заношенную офицерскую шинель, с нелепой папахой с синим верхом на коленях, он молча смотрит на всех из-под железных очков пристальностью зорких, маленьких, грозных глаз, похожих своей белесостью и окружными морщинками на глаза врубелевского Пана. И крупная рука с двойными обручальными вдовьими кольцами иногда подносит ко рту стопку хмельного зелья.

Он — офицер. Был им и остался.

*

Когда я заговорил с ним — меня удивили звуки его голоса: это были безапелляционные, властные, баритональные звуки. Такими голосами когда-то говорили все верхи русской армии; в этих голосах чувствовалось, что всякие возражения бесполезны, что приказания отдаются не отдельными людьми, Иван Иванычем или Петр Петровичем, нет, а человеком, который привык повелевать и который никогда ни на одну минуту не сомневался в своем праве повелевать.

Ведь то, что он повелевал, должно было служить только лишь к вящей славе России, хотя бы это приказание и несло с собой смерть...

И как Кювье когда-то по какому-то позвонку исчезнувшего животного смог сконструировать весь его скелет, так я, слыша этот голос в сизо-лиловом, мрачном тумане кабака, — я чую непосредственный, вечный дух русской армии... Ну-теперь — разве кто может *так* приказывать?

Никто! Почему? Потому, что *нет того, во имя чего можно было приказывать что угодно.* Пусть теперешнее приказание гласит условно:

— Если не выполнишь — смерть!

Но таким приказанием просто хотят взять на испуг

Не ради шкурного страха смерти дерется армия. Она

дерется ради своей страны. Ради жизни своей страны. И ради своей, вечно живой, огромной и прекрасной нации раздается приказание, переданное властным командирским голосом:

— Вперед!

Вперед, всегда вперед — потому что командующий всегда прав.

* *

Конечно, печальное зрелище представляет эта серебряная голова крупного, массивного старика в столь непотребном месте. Смешно и трогательно слушать раскаты его старческого, командирского баритона в военных рассказах. При его рассказах жутко бывает увидать в его глазах вспышку знакомого огня власти и воли... И весь этот хор разнообразных чувств при встрече с ним кроет одно смутное и неясное; с таким чувством мы бы встречали выходцев из гробов:

— Ведь он — живой выходец из того века, когда слава русская была не словом, не заветным желанием, не безумной мечтой, а настоящей реальностью. Кругом изменились времена; люди стали не те. Пришли и воцарились новые, неожиданные понятия; зашатались стены общего дома. Конечно, этот старик растерял своих товарищей: сколько их поплыло по политическому течению... Ведь белое офицерство крайне малочисленно — почти все офицерство работает именно на той стороне. Но этот человек — даже не белый офицер. Он — просто русский офицер, офицер от головы до ног, пронизанный своими понятиями, привычками, которыми он жил и с которыми он умрет.

Он не ушел в красный стан; он не поступил на чужую службу. Он — где-то ночной сторож. И это трогательно.

Чем он живет? Не спрашивайте его! Он живет, как исконные русские люди — старообрядцы, только традицией, только привычкой. Он не умеет доказать вам своих политических взглядов, ибо у него нет их. Он только национален. Да разве были политические взгляды у тех лейб-казаков, которые плясали с француженками занятого Парижа в галереях Пале Рояля? Разве может быть какая-нибудь политика у того, кто служил России? Он — просто человек той эпохи, которую все русские позабыли столь позорно и бесславно и которая еще жива для него. Для него еще гремят орудия у Мокотова, когда сибирские стрелки прямо из вагонов,

украшенные цветами прелестных варшавянок, шли в бой против немцев по улицам Варшавы...

Тогда он, рядовой ротный командир, шел впереди своих стрелков, перетянутый ремнями сверх мокрой шинели, только бинокль колыхался на груди в такт общего железного шага... И там, где по октябрьской промозглой блеклой луговине крыло шрапнелью и дождем, там он, примостившись за земляной вал дороги, отдал свое первое боевое распоряжение в Великой войне...

И шум войны, грохот ее победных шагов, ее переживания, красочные и предельные, до сих пор наполняют еще его недремную душу. Он слышит полет русской славы. Нервы у него отточены, они обнажены наждачной бумагой переживаний — стыда, позора, и он до сих пор словно никак в толк не возьмет то, что произошло...

Он был рыцарем России — а Россию предали!.. Так разве поэтому и ему можно изменять ей?

Водка, наполняя хмелем головы других, только оттачивает в нем это сознание непоправимости, катастрофичности происшедшего.

Каждое воспоминание, которым он делится со мной, проходя через баритон его повелительного голоса, становится полным крови и словно начинает жить и в моей душе...

— А знаете ли вы,— говорит он,— что такое зо́ря, которую играли в лагерях? Это, батенька мой, траурный марш по всем безвестно погибшим в боях!..

И я вижу пепельное пурпурное небо с потухающей степной зарею, наш лагерь под Тамбовом и стонущие медные голоса корнетов и треск глухих бормочущих барабанов. Зоря!

— А знаете ли,— говорит он,— что это на мне надето?

И он показывает движением своих серых, пустых и зорких глаз на свою шинель.

— Суворовский плащ, государь мой,— говорит он,— да-с! Он носился внакидку. Почему и хлястик сзади для стяжки...

— А потом рукава пришили. А на рукавах — обшлага. Зачем, спрашиваю я вас.

— А затем, государь мой, чтобы в холодное время отогнуть и таким родом ружье нести. Никаких рукавиц! А кавалеристов обшлаг с разрезом — тоже не зря — чтобы повод пропустить... Так-то. Во всем великий, столетний смысл имеется.

* * *

На могильной плите в Александро-Невской лавре есть одна надпись: «Здесь лежит Суворов...» Казанский собор обнимает своими портиками могилу Кутузова. Потемкин, Румянцев, Багратион, Барклай, Милорадович, Тучков, Дохтуров, Давыдов — все они, во время оно ссадившие Наполеона и разгромившие тщеславную Европу, они, принесшие славу России, которой она жила еще сто лет, и во главе их этот гениальный великан — Петр — все они спят в могилах...

Над их могилами теперь не горит лампад. Могила Петра была вскрыта. Россия отреклась от самой себя, от своей славы. Пример, подобно которому не бывало в мире... И можно подумать, что все умерло, весь блеск александровского времени, вся его красота, обаяние и мощь — вся энергия этих портретов, гордых лиц, крутых подбородков, если бы только не встретить этого человека в харбинском кабаке.

Те умерли, а он жив. Жив наперекор стихиям; правда, вероятно, как и все эмигранты, он обречен на умирание — не увидать ему земли обетованной, как не увидал ее ни один из моисеевских последователей, вышедших из Египта, как не достиг ее и сам Моисей, лишь издали узревший ее синеватый, холмистый, приятный сердцу вид. За 40 лет скитаний все они перемерли в пустыне... Но нужны люди, которые несут с собой Россию... И он — несет, не мудрствуя лукаво, несет, чтобы передать тем, кто поймет и оправдает его за его крест

И когда я смотрю на его крупную, лобастую голову, на детски ясные, светлые глаза и в то же время грозные, наивные светлые глаза, глаза мудрого, древнего Пана, слышу его непобедимый, командующий голос — то так и чудится, что где-то рядом, тут высовывает из-под стола свои две пронзительные, царственные, гордые головы орел былой России...

В тот день, когда стекла окна плачут крупными осенними слезами, когда облетают деревья и когда пришедший гармонист и гитара наполняют протабаченный воздух кровавыми слезами подлинной России, которых не хочет никто замечать в суетности борьбы за существование...

Адмирал Колчак

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви...

Сегодня восемь лет тому назад был казнен адмирал Колчак. Как совершилось это действо, мы не знаем, да и навряд ли когда точно узнаем. Известно только: труп адмирала спущен под лед Ангары и со многими тысячами подобных трупов уплыл к Северному грозному океану, к началу всех вещей, обтекающему землю.

Восемь лет! Восемь лет тому назад был «уничтожен» глава как-никак, а Всероссийского правительства и наступило как будто полное торжество революции. Ведь разве торжество контрреволюции не было бы полным, если бы «белым» удалось захватить и «кончить» Ленина?

Да, торжество было полным, Колчака спустили под лед, а прошло восемь лет, и мы видим, что торжества все-таки очень мало. Колчак стал эпизодом. Кипучее сердце большевизма радовала затаенная гражданская война...

Говорил же кто-то из бывших царских генералов с красной стороны, что «посмотрю я, как мои солдаты набьют морду казакам Антона», т. е. Деникина. Это был спорт, игра безответственных г.г генералов и с той и с другой стороны, привыкших смотреть на своих солдат как на пешки... Ведь, как известно, в нравах известных верхов русской армии было не считать победу победой, ежели немного при этом потерь...

С этим вполне согласуется и большевистский взгляд на вещи:

Чего жалеть рабов-солдат
С душой бескрылою и куцей?
Пусть умирают! Пусть добрят
Поля грядущих революций...

Люди воевали и не понимали, что победить революцию это значит вовсе не «разбить живую силу противника

а так или иначе залить неугасимый пламень злобы, факелом вспыхнувший в душе русского народа... Русский русскому стал врагом; русский русскому стал волком,— а если одна стая волков истребит другую стаю, то ведь останутся не ангелы — откуда ангелам взяться? — а останутся те же волки. Не понимали того, что определенные вожди совершенные пустяки; не понимали, что из многомиллионного народа всегда кто-нибудь да выдвинется; что главное отвлечь народ, а вожди упадут сами. Упал же теперь в грязь обаятельный когда-то «наркомвоен» Троцкий... Остался лишь прежний юркий журналист, которого по-прежнему ссылают в места не столь отдаленные...

Для преодоления революции нужна была совесть, а совести-то и не было.

Ни в красном, ни в белом стане.

* *

Совесть была только в одном адмирале Колчаке.

Он отлично понимал, что «военными» методами ничего не сделаешь... На казачьем кругу Сибирского войска, давшем беспредельные полномочия теперешнему перелету атаману Иванову-Ринову, адмирал говорил в августе 1919 года:

— Один я ничего не в силах сделать! Я только зову на помощь всех, кто любит Россию. Делайте же!.. Казаки начали, и это хорошо!..

Буквально те же слова он говорил немного позднее и на собрании беженцев в зале Омской женской гимназии:

— Вы можете вернуться в ваши родные места только с оружием в руках... Это зависит от вас самих... Берите же в руки ружья!

Адмирал звал народ. Звал за собой. Звал идти по своей собственной народной воле. Но ведь «только на государственной службе познаешь истину». И невыносимая казенщина Омской ставки и военного командования делала все, чтобы помешать народному движению; она распускала огромные — до 40 000 — ижевские и воткинские революционно поднявшиеся добровольческие отряды, она переходила на регулярщину — в гражданской войне! — и с этой регулярщиной рухнула!

Адмирал был по имени диктатором, Верховным Правителем. Диктатуры ждали, просили, молили ее. Но совесть не позволила ему быть диктатором.

Совет министров из случайных людей, не умных, а просто ловких и хитрых, а иногда волевых и прущих очертя голову, вроде покойного В. Н. Пепеляева, забрал власть от адмирала. Адмиралу доказывали на основании и международных положений и финансовых осложнений и прочих и прочих доказательств, что ему самому распоряжаться никак нельзя. И адмирал был игралищем ловко раздутых интриг, а не дела. Все эмигранты с надеждой взирают теперь на московскую оппозицию, хотя, конечно, большевики умнее и хитрее тех же самых белых эмигрантов в то время, когда эти последние сами находились в сплошной оппозиции в Омске. Адмирала обвиняли в пороках, в расстрелах, в преуменьшении прав Экономического совещания, прав «общественности», во всем, в чем угодно. Оппозиция атамана Иванова-Ринова была самой сильной оппозицией. Иванов-Ринов лез в казачьи вожди, в правители, поддерживаемый казачеством, которое гордо разглагольствовало в Омске про беженцев:

— На казачью землю пришли да распоряжаются!

Оппозиция! Оппозиция!! Оппозиция!!!

Несомненно, в этой разваливающей работе белые были чрезвычайно сильны.

А сколько лиц из высшего командования в Омске торговали всем, чем можно: вагонами, шелковыми чулками (хотя бы — Иванов-Ринов) и т. д.

И когда один раз «диктатор» захотел повесить некоторых спекулятивных «орлов», взявших не по чину, то в его руку вцепилось столько народу, что эта рука не поднялась выше каких-то несчастных писарей...

* *

В первой своей статье «Дым отечества», написанной приезде в Омск с фронта в июне 1919 года, в «Сибирской речи», у чудесного В. А. Жардецкого, я заявил, что Омск провалится... За это мне сильно попало. Но почему на контрреволюционное, национальное дело смотрели как на какой-то веселый пикник? Обрадовались, что «свергли»?

Профессору воен. академии генералу Иностранцеву было дано поручение адмиралом:

— Расследовать известный конфликт между генералами Гайдой и Лебедевым, который (конфликт) фактически положил конец Сибирской армии.

Гайда поставил ультиматум:

— Или я и победа! Или Лебедев и Ставка!

Генералы Дитерихс и Иностранцев приехали к Гайде и спрашивают:

— В чем дело, братше?

Помилуйте,— со слезами на глазах говорит Гайда, мной командуют — из Омска под самую Пермь... Всяка моя самостоятельность приравнивается самовольству... Когда я беру Пермь, а с ней запасы, их отсылают куда-то, и они остаются в руках противника... От меня берут лучшие части и губят их... Мои подчиненные все твердят, что все это на руку коммунистам... Я докладывал адмиралу, но ничего не выходит...

Мудрая комиссия решила:

— Прав Гайда!

А Лебедев?

— Тоже прав! — решила комиссия в своем соломоновском постановлении. И оба маститых комиссионера-генерала сидят мирно: один — где-то в Европе, а другой — в Шанхае. А Россия в течение восьми лет занимается неудачными социальными перестройками...

В Омске, в тылу, русские политические Гамбетты пламенно прели в прениях, вычисляли хитроумные коэффициенты для расчета на ежемесячное жалованье служащим в связи с все падающим рублем... Армия катилась назад, Пепеляев, командарм-I, покрыл последним матом Лохвицкого, командарма-II, на общем совещании...

* *

Шел развал. Адмирал все ночи проводил у карты фронта, сжигая сотнями папиросы. Он командовал фронту из флажков... остановиться... Но линия флажков катилась и катилась назад.

Тогда я в «Нашей газете» напечатал фельетон «Зуды о Михрютке», который одиноко стоит на фронте, а его подпирают:

Телефонисты, которые говорят, куда Михрютке идти.
Обозные, которые Михрютке новые сапоги возят
Кашевары, которые ему кашу варят.

Интенданты, которые Михрютке жалованье припасают, и так далее, до —

— Штаба, где г. г офицеры флажки переставляют — куда Михрютка двинулся...

Был грандиозный скандал. Было обвинение «в натравливании армии на тыл».

На Шипке все должно быть спокойно.

* *

Я напечатал в «Русском бюро печати» большую афишу-плакат:

— Красные идут в Омск; их лозунг — в Сибирь за хлебом! Сопротивляйтесь! — вот ее краткое содержание.

Успех афиши был чрезвычайный, но несколько неожиданный... Из банков стали выбирать вклады; цены на товары стали падать; все бросились к поездам на восток...

Генерал Лебедев долго бранил нашего шефа, покойного расстрелянного А. К. Клафтона, за «распространение провокационной паники».

* * *

А Омск пал.

Я нагнал, на лошадях, поезд адмирала в Новониколаевске. Там мне не дали аудиенции, и я рассказывал лишь ген. Мартьянову, что я видел во время моего путешествия от Омска до Новониколаевска:

Вагоны с трупами!.. Отбитые мороженые руки и ноги!.. Ужасающее халатное нерадение начальства... Разброд в армии!..

Я вышел. Смеркалось. Синее морозное небо, алый закат. Бесконечный ряд элегантных вагонов — Международного о-ва спальных вагонов и КВЖД. Часовые конвоя адмирала с национальными нашивками. Кое-где зажглись желтые колпачки электрических ламп за зеркальными стеклами. У одного широкого зеркального окна мрачный профиль адмирала, с папиросой в зубах...

— В последний раз...

* *

Кто его не предавал, этого человека?

Все. Сначала — русские, потом — иностранцы.

Деяния ген. Жанена, неслыханным образом предавшего адмирала, останутся навсегда в русской душе. Не знаю, как чувствуют себя чехи, а эти «братья» когда-нибудь еще вспомнят о сибирских действах, где они мчались в вагонах, снаружи которых были прибиты жирные стяги мяса, внутри слышался женский веселый смех «русских» женщин, а сами русские брели по сугробным дорогам ледяным походом. Кто верхом. Кто в санках.

Конвой адмирала с национальными лентами предал Верховного Правителя.

Предали его братья чехи.

Предали его союзники-французы.

Предали его девять иностранных флагов, которые его охраняли...

Пожалуй, это честь — быть преданным столькими нациями!..

И герой Балтийского моря, герой Черного моря, который дрался с турецким и германским флотом,— спущен под лед стальной, синей Ангары, сибирской реки.

И еще есть умные головы, которые предполагают, что «белым помогут союзники».

Или еще не довольно? Или еще не вспоминаются слова Тараса Бульбы:

— А что, сынку, помогли тебе твои ляхи?

«Госиздат» хорошо бы сделал, если бы издал эпопею адмирала Колчака и осветил то, что сделали с этим человеком, представлявшим Россию, хитрые западные люди... Ведь белые бедны как церковные крысы...

*

Генерал Дитерихс, попав в Верхнеудинске в вагон генерала Жанена, рассказал сему последнему, что каппелевцы, идущие пешком, готовы отомстить ему, Жанену, за смерть Верховного.

И Жанен, благодарно подхватив с собой Дитерихса, ускакал в поезде в Харбин...

Иркутск я обошел в Ледяном походе двумя днями после смерти адмирала. Ввиду нашего разногласия во взглядах относительно Карла Маркса, в нас стреляли из-за Ангары из пушек...

Лопалась шрапнель.

— Какая чепуха!

А когда я прибыл в Читу, там была великая радость: адмирала и Омска уже не было, и атаман Семенов со товарищи мог беспрепятственно восстановить Россию...

Еще раз — какая чепуха!

И вы думаете, это прошло?

Ошибаетесь! Это еще живет. Это актуально. Посмотрите на смешные действия одной местной харбинской газетки, как она старается, «разоблачая» того же Семенова, и вы поймете весь трагизм фразы:

Ничего не забыли! Ничему не научились!..

Была, конечно, панихида по Колчаку. Привычным жестом воздели священники ризы; привычным равнодушным жестом поправили свои волосы, высвобождая из-под тяжелой парчи. И понеслись синие облака ладана, и раскатились многоголосным жемчугом певчие:

Со духи праведных скончавшеся!

Но не к присутствующей толпе, по большей части азартной, себялюбивой и равнодушной, направляется мой взор. Туда, назад, к бесконечным просторам Сибири, которую мы изошли в Ледяном походе, уходя из России... Там витают кровавые призраки тех, кто смертью своей запечатлел свой подвиг верности.

И среди них обмерзлая, кровавая, спущенная под лед фигура болярина Александра.

Эти видения можно видеть только совестью. И во имя этой совести — придет время и будет историей учинено жестокое действо с теми, которые это душевное качество потеряли, предаваясь своим делам и делишкам, предаваясь себялюбивой политике.

Ложь и политика

> Что ему книга последняя скажет,
> То на душе его сверху и ляжет!
>
> *Некрасов*

Пропаганда!

Могущественная пропаганда современности.

Необходимое средство для обороны государства. Некий французский писатель сказал по этому поводу:

— Поскольку народы вооружены один против другого, постольку они должны располагать и лгущими политиками так, как они располагают пушками и ружьями.

Пропаганда! Сильнейшее средство современности, но, увы, яды которой рекомендуется употреблять в чрезвычайно ограниченных количествах.

Ибо в противном случае оно производит действие противоположное...

Пропаганда! До сих пор в русском обиходе это слово означает известные меры для распространения идей в народе... Русские ей еще верят.

Пропаганда в европейском употреблении нынче значит ложь, распространяемую при помощи средств публикации:

— Слухами, парламентами, ответственными интервью, газетами.

Гутенберг, отпечатывая первый лист своей Библии, был убежден, что он делает великое дело:

— Распространяет слово Божие.

Романтические времена прошли.

Газеты делают погоду ложью.

Дело Гутенберга — заслуживает всяческого уважения. Дело пропаганды — не заслуживает уважения; и раньше Европа брезгливо относилась ко всему, что она могла назвать:

А, это пропаганда!

Но теперь, с появлением остроумной книжки известного английского политика, члена английского парламента А. Понсонби «Ложь во время войны» («The Falsehood

in the Wartime»), поле действия пропаганды в Европе вообще будет сужено.

Правда, А. Понсонби рассматривает европейскую пресс только во время войны, но никто не помешает сделать выводы, провести аналогии и для настоящего времени.

Газета — есть ложь; для того чтобы направить ку нужно людскую массу, нужно эту массу направить на определенное явление, внушить ей известную мысль.

Это и делает пропаганда, это и делает пресса.

Не ищите воды от камня, не ищите правды в прессе политике; подходите осторожно к тому, что дают вам утром еще сырые листы вашей газеты.

Потому что лгут все — политики, писатели, газетчики, газеты, как они лгали во времена Великой войны, ведя наро к своим целям.

Вступление Англии в войну на стороне Франции было подготовлено давно, слухи об этом пошли позднее, и в первый раз в 1911 году 8 марта член парламента Жоветт запроси. верно ли, что в случае войны Франции с Германией английские войска выступят на помощь Франции.

Младший секретарь по иностранным делам мистер Ву. дал отрицательный ответ.

Дал на аналогичный вопрос отрицательный ответ и мистер Асквит 10 марта 1913 года.

И оба лгали.

Зато в своей книге «Перед войной» лорд Альдан пишет, что еще в 1906 году он участвовал в обсуждении проблемы, как «собрать и сконцентрировать в Англии каком-либо месте против Бельгии экспедиционный британский корпус в 160 000 штыков».

А в 1918 году, в августе месяце, Ллойд Джордж прямо говорил в парламенте относительно происхождения войны.

— Мы имели договор с Францией, и, в случае нападения на нее, Соединенное Королевство должно было поддержать ее...

М-р Хоггс (с места): — А мы этого не знали!

Ллойд Джордж: — Да, если на Францию напад

Голос: — Это прямо новость!

А это был важный секрет. Сам Бонар Лоу в том же 1918 заявил в парламенте, «что очень вероятно, что знай Герм

ния, что Англия наверняка вмешается в войну,— она не выступила бы»...

Итак, Англия ждала этого момента, когда можно было броситься в смертный бой, ждала с 1906 до 1914-го — 8 лет! Поэтому после сараевского убийства предпринята была большая пропагандная работа по обработке общественного мнения Англии. Если бы Англии сразу было предложено вмешаться в борьбу по поводу этого убийства, то, говорит Понсонби, «Джон Буль мог бы послать ко всем чертям и чужую Сербию и своих политиков»... Началась пропаганда «героической Сербии», «героического маленького народа».

На эту удочку попалось английское общество и русская не менее героическая дипломатия. А между тем тот же сербский премьер Пашич 13 августа 1915 года потирал руки, заявляя:

— Никогда в истории не было еще для Сербии более выгодного времени, нежели теперь с началом войны!

Равным образом и поход германских войск через Бельгию не был сюрпризом для Европы, и Бельгия не была причиной войны. Существовал давнишний договор с Бельгией на этот счет, как заявил потом, в феврале лишь 1922 года, Чемберлен. Но Бельгия с ее «клочком бумаги», опять «маленький героический народ», блестяще была использована для того, чтобы подогреть общественное мнение союзников. Вспомним, как попался на эту удочку наш Л. Андреев, написавший восторженную пьесу «Король, закон и свобода».

Конечно, одновременно с этим общественное мнение Европы натравливается на Германию и Австрию; именно они считаются бесспорными виновниками войны. «Германия и Австрия одни только и желали войны»,— пишет «Таймс» в номере от 6 августа 1914 года.

Но почему же Англия не декларировала раньше свою солидарность с Францией, если она не желала войны? Бесполезны такие вопросы: ведь вся ответственность за войну в § 231 Версальского договора уже определенно возложена на центральные державы.

— Кайзер — главная причина войны,— кричат газеты. Правда, про него английская «Ивнинг Ньюс» еще 17 октября 1913 года писала в следующих выражениях:

> Мы должны прямо заявить, что кайзер безупречный джентльмен, слово которого значит больше всяких договоров; он наш гость, которого мы всегда рады приветствовать и отъезд которого

> нас печалит; он правитель, права которого столь же обоснованы на народной воле, как и нашего короля...

Зато год спустя передовая в английской «Дейли Экспресс» об этом же кайзере звучала иначе:

> Города сожжены, старики и дети убиты, женщины и девушки изнасилованы, беззащитные рыбаки утоплены,— и все это сделано по приказу этого коронованного преступника...

Вот почему после такой подготовки Ллойд Джордж в палате общин в 1919 году 3 июля заявил торжественно:

Император германский, который в продолжение 30 лет говорил о величии своей страны, теперь беглец из своей страны и скоро предстанет перед судом! (громкие аплодисменты) — перед судом всех стран, которые столь истерзаны по его приказанию...

И Версальский договор под одобрение натравленного прессой мира прямо включает статью об ответственности кайзера.

Долгожданная война внезапно началась. Конечно, здесь хороши все средства, чтобы разложить пропагандой армии противника. Начинается среди общей разведывательной работы усиленная работа департамента пропаганды под управлением лорда Нортклиффа, редактора «Таймс», который поставил себе целью разлагать армию противника, играя на национальных противоречиях германских и славянских национальностей центральных держав.

Генерал Гутьер, командующий 6-й германской армией, пишет в своей книге о пропаганде союзников:

> — Метод действия организации Нортклиффа — это наводнение фронта при помощи аэропланов всякого рода литературой; листовки и памфлеты, поддельные письма германских пленников, трактаты и брошюрки, подписанные именами германских поэтов, писателей, государственных деятелей, поддельные книжечки «Всеобщей библиотеки» сыплются сотнями тысяч и т. д. и т. д.

Чужой фронт должен быть разложен; но прежде всего должно быть поддержано горячее настроение у себя дома, в Европе. Военное значение Р ссии стояло тогда очень вы-

соко, и поэтому для сведения общества, подавленного наступлением германцев в Бельгию, «Дейли Ньюс» 14 сентября 1914 г пишет:

> — Как читатель увидит из корреспонденции м-ра П. Филиппа, нашего специального корреспондента, русские войска в настоящее время сражаются совместно с бельгийцами... Германская армия отрезана в Бельгии благодаря совместным операциям русских и бельгийских войск...

Конечно, это пропаганда, то есть сплошная ложь, ложь, чтобы спасти положение. И, конечно, для поддержания настроения против германцев идут разные истории о немецкий зверствах.

16 октября 1914 года «Стар» сообщает:

> — В городе Демфри только что стало известным о потрясающей кончине местной молодой девушки, сестры милосердия Грэс Юм, которая с началом военных действий отправилась в Бельгию и работала в полевом госпитале. У нее немцами отрезаны обе груди, и она скончалась в страшных муках. Ее семья получила от нее записку, написанную непосредственно перед смертью. Записка помечена 6 сентября и гласит: «Дорогая Кэт, прощай! Не долго мне жить! Госпиталь пылает. Германцы — мучители. У одного человека отрезали голову... У меня отрезали правую грудь... Передай мой привет... Прощай. Грэс».

У мисс Юм после написания этого письма была отрезана и вторая грудь и т. д.

Письмо имело большой успех, но по расследованию оказалось, что оно было написано самой Кэт Юм, и шериф приговорил эту 17-летнюю писательницу к аресту в тюрьме. Но оно достаточно было использовано газетами.

Зверства германцев вообще имели потрясающий успех, разные выдумки продолжают обходить газеты. «Сэндей Кроник» 2 мая 1915 года пишет следующую трогательную историю:

> Несколько дней тому назад одна дама-благотворительница посетила в Париже дом, в котором жило несколько бельгийских беженских семей. Во время своего визита она заметила девочку лет 10, которая держала руки в самодельной муфточке, хотя в комнате было тепло. Вдруг эта девочка сказала матери: — Мама, пожалуйста, высморкай мне носик!..— Шокинг! — сказала благотворительница по-

лушутя, полусерьезно.— Такая большая девочка, как ты, и не умеешь пользоваться носовым платком! — Ребенок промолчал, а мать сказала печально: — Да у ней нет ручек, мадам! — Благотворительница содрогнулась, догадалась.— Или это сделали немцы?! — спросила она. Мать разрыдалась. Это был ответ.

И хотя кардинал Мерсье и десять американских корреспондентов свидетельствовали всю нелепость таких рассказов, тем не менее они ходили очень долго и все им верили.

Рассказы о распятом канадце, о глицерине, приготовляемом немцами из трупов своих солдат, о зверствах с пленниками,— все имеет это нарочито ложный характер. Даже знаменитый инцидент с потоплением «Лузитании» пропагандой представлен в ложном виде. Уинстон Черчилль в своей книге «Мировой кризис» указывает, что на «Лузитании» был военный груз в 173 тонны из винтовок, шрапнелей и патронов и что капитан получил предупреждение о потоплении прежде, нежели он покинул американский берег. По другим источникам, всего на борту «Лузитании» было 4200 ящиков с патронами Спрингфильда, но В. Вильсон запретил публиковать этот факт. И «Лузитания» осталась свидетельством «зверства немцев».

Ложь проникает не только в прессу, но и в область, «которую нельзя подделать»,— фотографию, и здесь все направлено к одной цели — к пропаганде.

Немецкое «Дас Эхо» 29 октября 1914 года помещает фотографию немецких войск, идущих по дороге в Бельгию.

Французский «Ле Журналь» воспроизводит эту же фотографию под заголовком:

— Отступающие немцы. Захватывающая картина, как отступает армия Гинденбурга, разбитая на Висле.

По Европе циркулировали тогда многие фотографии еврейских погромов в России в 1905 году. «Ле Мируар» воспроизводит их под заглавием:

— Преступление немецких орд в Польше.

Фотография, снятая с манифестации в Берлине перед дворцом 13 июля 1914 года, в «Ле Монд Иллюстре» носит название:

Варвары выражают свою радость по поводу потопления «Лузитании».

9 июля 1914 года в «Берлин Локальанцейгер» была фотография офицеров, получивших призы на скачках, с серебряными кубками в руках. Эта фотография была воспроиз-

ведена в русском «Всем мире» под заглавием «Германские грабители в Варшаве» и потом в «Дейли Миррор» с обозначением:

— Три германских кавалериста, нагруженные награбленным золотом и серебром.

«Дас Лебен им Бильд» изображает трех улыбающихся немецких солдат, убежавших из французского плена. Одна датская газета преподносит ту же фотографию под названием:

Убежавшие из ада. Трое немцев радуются, что попали в плен к французам.

И так далее, и так далее. С большим удовольствием должны мы отметить искусственно подмеченную неутомимым коллекционером печатной лжи «творимую легенду» о колоколах Антверпена.

Кёльнская газета — начало ее — сообщила:

— Когда падет Антверпен — загремят колокола (подразумевается — в Германии).

«Ле Матен» подхватила:

— «Кельнише Цейтунг» пишет, что священникам Антверпена было приказано звонить в колокола по случаю падения крепости.

«Таймс» присоединилась:

— «Матен» сообщает из Кёльна, что бельгийские священники, которые отказались звонить в колокола, когда Антверпен пал, были прогнаны со своих приходов.

«Корриере делла Сера» не отстает:

Как пишет «Таймс», несчастные бельгийские священники, отказавшиеся звонить по случаю взятия Антверпена, сосланы в каторжные работы.

И «Ле Матен» блестяще увенчивает эту пирамиду:

— Согласно информации «Корриере делла Сера», известно, что варвары, победители Антверпена, наказали бельгийских священников, героически отказавшихся звонить в колокола, повесив их вверх ногами внутри колоколов вместо колокольных языков.

* *

Ожесточение, раздуваемое ложью, доходит до крайних политических пределов.

В. война — это война против милитаризма! восклицают газеты, а военные расходы Англии в 1913 — 14 гг. были

фунтов ст. 110 750 000, а в 1924 — 25-м — фунт. 117 525 000.

Это — война за права малых национальностей! Бе аннексий! Мы не сражаемся за территории! — восклицае Бонар Лоу, а к Британии присоединены: Египет — 350 000 кв. миль, Кипр — 3584 кв. мили, германская юго-западная Африка — 322 450, германская восточная Африка — 384 180 кв. миль, Тоголанд и Камерун (пополам с Францией) 112 41 кв. миль, Самоа — 1050 кв. миль, германская Новая Гвинея — 90 000 кв. миль, Палестина (мандат) — 9000 кв. миль, Ирак — 145 250 кв. миль. А всего к Великобритании присоединено Великой войной новых земель 1 415 929 кв. ми.

Конечно, победителей не судят, и пользование ложью, если оно приводит к победе, не имеет никаких последствий. Но горе тем, кого печатная ложь и пропаганда заводят тупики поражения, тем, кому уже не верят, будучи слишком долго — целое десятилетие — отравляемы ядом коммунистической лжепропаганды.

Во что обошлась русская революция

Предположим на несколько минут, потребных на прочтение предполагаемой статьи:

— Того, что случилось,— не было...

А что было бы?

* *

Русский фронт рухнул в начале 1918 года. Через девять месяцев, 5 ноября 1918 года, рухнул под последним нажимом германский фронт. Знаменитая «точка» на карте, поставленная маршалом Фошем, была достигнута.

Союзники победили! В Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке народ танцевал на улицах.

Как известно, отказ России от войны произошел под влиянием пропаганды революционеров, определенных лиц, которых можно даже назвать поименно. Петроградский Совет солдатских и рабочих депутатов первым отказался от войны, начал пропаганду мира обращением «через головы правительств, к рабочим всего мира». Таким образом, рабочим России как бы принадлежит честь быть глашатаями мира, со всеми вытекающими из этого и за то последствиями.

Русской революции был нужен мир ради нее самой, а не ради мира, не ради измученных на фронте солдат; дикая гражданская война, свирепствовшая до 1922 года и отбросившая Россию к XVI веку,— вот что было непосредственным результатом этого «мира»; вообще эти результаты настолько печально общеизвестны, что мы не будем о них и говорить.

Но все-таки предположим, что русская армия, что русский командный состав оказались бы более стойкими, предположим, что, обложенная кругом снарядами все растущей продукции русских заводов, русская армия удержалась бы на фронте до того заветного дня ноября, когда рухнул западный фронт и съехались между окопами представители высшего германского и союзнического командования. Тогда, конечно, в число победителей попала бы и Россия, хотя бы даже она

только пассивно держалась и результаты войны и мира бы. бы иными.

Итак:

— что бы тогда получил русский наро от этого мира и что таким образом потеря революция, погнавшись до времени миром?

Конечно, первым делом появилось бы в народе чувство полного удовлетворения. Русские солдаты не придрали бы из окопов, дезертировав на крышах товарных поездов, пришли бы домой победителями.

— Удовлетворительное же состояние духа всегда родит известный консерватизм и государственное настроение. И многое было бы народом прощено из того, что при историческом положении дел повело к революции и ее взрывам.

В этом государственном смысле, надо сказать, большое значение имело бы занятие русскими Константинополя, которое уже было решено между министром иностранных дел С. Д. Сазоновым и другими союзными представителями. Крест на св. Софии стал бы не мечтой, а самой настоящей реальностью, и этот факт своей одной только наличностью заставил бы русскую мысль обратиться на другие, старые дороги.

Тем, кому великодержавность России не говорила ничего как идея,— она светила бы воочию из этого золотого креста... Подумать, как бы стали г. г. журналисты рыться в книгах Леонтьева, Хомякова, Киреевских, Аксаковых, ища яркого выражения для старых, оправданных истин и чаяний... Пожалуй, много народу уверовало бы в то, что задача России не коммунистические революции, как верит публика теперь, а величавое охранительное направление стиля московских публицистов 80-х годов.

О, публика всегда верит удаче... Победителей не судят! Я сам в Москве в 1918 году на Тверской видел одного спекулянта, азартно восклицавшего:

Какое время! Какое время! Весь мир горит в огне революции...

Думается, что св. София привела бы его в еще большее восхищение... Таких, как он, весьма много.

Польша, как то ей было обещано в манифесте главнокомандующего в 1914 году, получила бы свободу из рук России.

Со всех сторон движутся русские рати,— писал тогда в манифесте вел. кн. Николай Николаевич и обещал, что давнишняя мечта польского народа будет исполнена. То, что Польша и теперь получила от Версальского договора 28 июня 1919 года, она получила бы не от латинского народа католической Франции, а от славянской, родственной России.

Славянские ручьи слились бы в русском море...

Освобожденные народы, чехи, сербы и прочие, как равно и Румыния, конечно бы держалась за мать-Россию. Даром, что ли, были сформированы эти чешские полки?! Если и теперь они, эти народы, считают нужным делать реверансы в сторону затрепанной, избитой эмигрантской России, то кольми паче расшаркались бы они тогда!

Конечно, тогда бы не было нынешней малой Антанты, которая и теперь доставляет столько неприятностей Муссолини, а все эти братушки прилежали бы России неутолимо. И из Константинополя — не только из Рима,— было время, правили всем Средиземным морем. Не пришлось ли тогда древнему Риму сказать:

— Уж не «Mare Nostrum», а «Mare vostrum».

Одним словом:

— Твой щит на вратах Царя-Града!

И в Лиге Наций царили бы не хитроумные западные люди, а царила бы возросшая мощь России... Версаль смахивал бы на Вену 1814 года.

*

Отсюда легко видеть, что в Версаль, в Зеркальную галерею кроме:

— Франции, Америки, Англии, Италии, Японии, Китая, Бельгии, Боливии, Кубы, Эквадора, Греции, Гватемалы, Гаити, Геджаса, Гондураса, Либерии, Никарагуа, Панамы, Перу, Польши, Португалии, Румынии, Чехословакии, Югославии, Сиама и Уругвая (ведь и Уругвай воевал в Великой войне!) — пришла бы тогда еще и Россия. И, конечно, она в Версальском договоре (может быть, он был бы тогда Петроградским договором?) предъявила бы к Германии тоже свои права и притязания.

По ст. 231 — 247 Версальского договора о репарациях ясно указывается:

— Союзные державы указывают, и Германия признае что Германия и ее союзники, как виновники войны, ответс венны за весь ущерб и убытки, которые понесли союзные правительства и граждане их государств в результате вязанной войны, вызванной нападением Германии и ее союзников.

Отсюда для Германии «вытекает обязанность возместить этот ущерб».

Дорогие сограждане! Как вы думаете, плохо было бы это или нет, если бы побежденная в честном бою Германия не отыгрывалась бы теперь на России, как она отыгрывается сейчас, а сама платила бы вам ущербы? А?

Именно это возмещение ущерба гражданскому населению формулировано в договоре весьма выразительно:

— Германия должна взять на себя уплату пенсий всем потерявшим трудоспособность семьям погибших во время войны, независимо от того, принадлежат ли эти жертвы войны к гражданскому населению или же к составу армии.

Итак, граждане инвалиды и граждане ветераны, все бы имели отличную поддержку, которую бы вам выплачивала даже не Россия, а чужая страна — Германия! Конечно, вам не пришлось бы валяться тогда по тротуарам Харбина, мерзнуть под заборами или зря обращаться в собес.

Как известно, теперь, за время мира, Англия выплатил своим ветеранам (участникам войны) и инвалидам пенсиями крупную сумму, исчисляемую в сотни миллионов фунтов стерлингов. Конечно, это те миллионы, которые могли бы иметь и русские ветераны.

Далее известно, что Англией после войны построено более миллиона коттеджей для рабочих, размером не менее четырех комнат. Конечно, эти коттеджи построены на репарационные фонды. А русские рабочие сидят без всяких «коттеджей».

Кроме вознаграждения населения союзных стран, Германия должна производить союзникам репарационные платежи, всего на сумму в 60 миллиардов золотых марок.

Германия обязана была восстановить флот, потопленный у союзников ею, для чего она должна была отдать союзникам все свои суда размером более 1000 тонн, половину судов 1000 — 1600 тонн и четверть полного тоннажа рыбачьих судов. Кроме того, ее верфи должны строить 300 000 тонн судов ежегодно для союзников.

Германия возвращает союзникам все разрушенные и

увезенные ею машины, паровозы, подвижной состав и т. д. Кроме того, Германия выдает союзникам большое количество скота.

В то время как объявившие похабный мир Троцкого и К° русские голодали в 1921 году в Поволжье и других местах, их былые союзники сидели за роскошно убранными столами послевоенного пира. Я нисколько не касаюсь того, морально или аморально такое поведение союзников, морально или аморально такое поведение русских. Это прежде всего холодный факт, не более, и факт, стоивший очень дорого России!

Этот факт надо помнить. Русские революционеры, конечно, сыграли в руку не только немцам, но и Европе, не допустив русских представителей сесть за версальский стол для подписания почетного мира. Англичане и французы содрали с Германии все, что они только могли взять. И если бы в их рядах сидела и Россия, конечно, им бы пришлось меньше на то количество, которого не получил русский народ.

Революционеры говорили об «экономической выгоде» русской революции, поскольку прекращалась сразу «разорительная война», поскольку революционеры отказывались от уплаты русских долгов. Какая глупость! Разорительная война, прекратившись столь чудесным способом вроде объявления Троцкого, что «война с Германией прекращена, но мира нет», не сберегла ничего из русских паев. Все результаты продукции четырехлетней бешено работавшей русской промышленности в виде оружия, снарядов и т. д. оказались забранными немцами. Немцы с юга России вывезли громадные запасы продовольствия и контрибуций. Наконец, царские долги как-никак, а надо признавать и Советам, потому что это единственное условие, при котором победоносная буржуазная Европа милостиво соглашается на «признание совправительства». Вчера в газетах промелькнуло известие, что за 1927 год золотые россыпи Ленского товарищества (Лензолото) в Англию вывезли золота на 40 000 000 рублей. Это ли не платежи по долгам, не платежи за нефть?

Россия теперь испытывает недостаток во флоте; не только нет военного, но и торгового-то не хватает! А тогда был бы и военный, был бы и значительно увеличившийся торговый флот.

Благополучное окончание войны имело бы еще многочисленные, самые благотворные следствия, а именно: такой прилив денег от репараций, благожелательное, уважительное отношение с дружественной Европой привели к тому, что русская промышленность расцветала бы и шагала

бы полным шагом. Дальний Восток, Средняя Азия были бы завалены русскими товарами; относительно нефти тогда было бы сомнения у иностранцев — покупать или не покупать ее. Если возбуждает изумление своими размерами какой-то Волховстрой (проектированный, между прочим, до войны) то после войны, при таких огромных капиталах, Россия могла бы строить такие Волховстрои десятками.

Кроме того, крестьянство могло бы в виде компенсации за счастливо оконченную Великую войну получить земл на выгодных условиях, так что эти условия, улучшая быт крестьянина, не разорили бы и другого, землевладельческого класса. Европа была бы завалена русским хлебом. А Россия — европейским золотом.

Недостаточность земельного, промышленного и сырьевого фонда Европы бросила бы ее капиталы на восток в Россию, и если мы до войны видели капиталы Америки, бойко работающие в неоглядных степях Западной Сибири,- теперь, в это время, через 10 лет после войны, вся Сибирь процветала бы, выбрасывая из недр своих богатства на потребу миру, под контролем России. Тогда не были бы «экономическим достижением» какие-то разговоры с Японией относительно «рыбных ловель».

Если Россия и так, в 20 лет царствования императора Николая II, своими средствами экономически удвоилась, то теперь бы, при столь огромном притоке капитала внешнего, развитие ее пошло бы гигантскими шагами. Никогда еще Россия не была бы так богата деньгами. К тому же горизонты рабочего и крестьянина после войны стали шире. Гражданский мир давал работать каждому свое, и, конечно, положение крестьянина, рабочего и интеллигента было бы неизмеримо превосходнее положения в настоящее время.

Но то была бы «с и л ь н а я Р о с с и я»... Революционерам прежде всего потребовались «сильные потрясения» ра. их власти.

И вот их результаты. Макиавелли говорит, что «Манлий получил власть, обещав римлянам победу... После этого была битва при Каннах». Неужели здесь не найдется экономиста, который бы подсчитал аккуратно, что примерно в это время потеряла Россия из-за пламенных, но глупых революционеров-фанатиков и, стало быть, во что обошлась ей русская революция?

Два портрета графа Растопчина

Известно отношение Толстого к Наполеону, столь ярко выступающее у него в романе «Война и мир». Не Наполеон это ходил в Россию походом, не он действовал как известная личность, как герой истории. Нет, маленького, ничтожного Бонапарта таскали какие-то обстоятельства, по существу своему являющиеся простым недоразумением.

Но пусть Наполеон далек нам, русским; пусть мы ничего не имеем против, что этого признанного чужого героя и всемирного императора развенчают. Но Толстой не ограничился только Наполеоном; не менее сурово он разделался и с русскими героями.

Это уже плохо.

— Древние оставили нам образцы героических поэм, но для нашего времени героические истории не имеют смысла! — пишет он.

— Разве Бородинское сражение было дано Кутузовым на заранее выработанной позиции? — спрашивает Толстой.— Отнюдь нет! Это только казалось так, что позиция была выбрана.

— Разве из Москвы сознательно уходило население перед врагом? Нет, «в разных концах Москвы бессмысленно шевелились люди, не понимая того, что делали»...

— Разве, наконец, пожар Москвы, выгнавший Наполеона, пожар, который воспевается в народных песнях, не был делом рук яростных патриотов?

— Нет, «Москва сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, что она не могла не сгореть,— пишет Толстой.— Деревянный город, в котором при жителях, владельцах домов и при полиции бывали каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей и живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры на улицах и варящие себе есть два раза в день»...

Поэтому нечего приписывать пожар Москвы «яростному патриотизму Растопчина», а просто надо отдаться во власть неизбежного.

— И наконец, разве сам-то Растопчин был героической фигурой?.. Он, главнокомандующий Москвы, сановник высо-

кого придворного звания, слуга Екатерины II, императора Павла Петровича и, наконец, Александра I,— разве это был герой?

«Пылкий, сангвинический человек Растопчин... не имел ни малейшего понятия о том народе, которым он думал управлять,— повествует Толстой и немедленно обобщает это: как и каждый из администраторов». Он призывал народ остаться, бороться с Наполеоном, раздавал оружие, вывозил народ, и все это напрасно, все это делалось само собой,— Москва сдана, народ сам разбегается... И «Растопчин почувствовал себя вдруг одиноким, слабым, смешным, без почвы под ногами»...

Поэтому, когда его спросили, как быть с Сенатом, с Воспитательным домом, университетом, пожарной командой,— он на все говорил:

Лошади есть — пусть едут во Владимир... Не французам оставлять!..

— А как быть с сумасшедшим домом?

— Пусть едут, вот и все!..

Перед нами, таким образом, отвратительная, нелепая, слабая фигура. Нелеп Наполеон с его смешными, по Толстому, претензиями, но более нелеп толстовский Растопчин Только для того, чтобы самому себе показать свою власть, он приказывает привести политического Верещагина, которого и отдает на растерзание толпы. Но и тут слабые нервы не выдержали:

«Пош... пошел скорей!..— крикнул он кучеру дрожащим голосом... а перед глазами видел одно удивленно-испуганное, окровавленное лицо изменника Верещагина в меховом тулупчике»...

Был ли такой публичный анализ человеческой и начальственной психологии общественно полезным?

Конечно, нет! При авторитетности Толстого, при рокой распространенности его книг, при русской покорности пишущим талантам,— в этом разлагающем смысле «Война и мир» стоила хороших тысяч революционных прокламаций.

На каждого администратора, на каждое начальствующее лицо публикой немедленно же накидывалась нехитрая схе понимания Толстого.

— А,— думала публика про любого губернатора.-

пишешь обращение к народу, ты приказываешь, но это не ты сам делаешь, а это тебе только кажется!.. Власти на самом деле у тебя никакой нет!

— Ты гордо ездишь по городу? Но мы знаем кое-что. Толстой разъяснил, что на самом деле ты конфузишься и только изображаешь из себя Юпитера... Ты не герой, а слякоть!

А так как и сам русский губернатор был человеком воспитанным, тоже знавшим Толстого и верившим ему «верой угольщика», то он тоже думал про себя, что ему и полагается стесняться, конфузиться, бояться публики...

Толстой внушил ему, что все его действия — это случай. И когда пришла революция, многие генералы, губернаторы и прочее начальство надело красные банты и пошло по улицам с толпами петь Марсельезу.

«Давая и принимая Бородинское сражение, Кутузов Наполеон поступали непроизвольно и бессмысленно»,— свидетельствовал граф Толстой на стр. 151 VI тома своих сочинений.

Губернаторы, и генералы, и интеллигенция точно и аккуратно исполнили этот завет:

— Они ведь действовали тоже «непроизвольно бессознательно».

* *

А между тем есть и иная точка зрения. Попавшаяся мне недавно биография графа Растопчина излагает эту фигуру совсем по-другому, нежели излагал ее Толстой. Но ведь эта биография относится к 1854 году, не к нашим дням.

Твердо и ясно начинаются строки этой биографии:

Граф Растопчин, Федор Васильевич, пламенный ревнитель русской народности, обессмертивший себя и свое имя событиями 1812 года, происходил по прямой линии от грозного Чингисхана. Потомок Чингиса Борис Давыдович Растопча выехал из Орды на Москву при великом князе Василии Ивановиче в начале XVI века. Сам граф Федор Васильевич был близок ко двору Великой Екатерины и принимал участие в беседах ее с Шуваловым, Кобенцелем, Сегюром и др. Императором Павлом Петровичем Растопчин был назначен первоприсутствующим в коллегии иностранных дел, составляя договоры с Неаполем, Великобританией, Португалией, Баварией, Швецией, Пруссией и Данией, за что пожалован

был многими иностранными орденами. Но иностранная карьера не прельстила его. Выйдя в отставку в связи с белью Павла I, Растопчин жил в Москве и в 1807 году выпустил книжку «Мысли вслух на Красном крыце», написанную превосходным народным языком, в которой отстаивал самобытность русского народа, борясь против подражательности иностранцам, против «зараженных заморской проказой».

Таким образом, мы можем сказать, что его борьба против Наполеона была совершенно сознательна, а не механична. 12 мая 1812 года именно на него выпал выбор государев быть главнокомандующим в Москве. Возбужденное Растопчиным московское дворянство выставило против Наполеона ополчения 80 тысяч человек, дало деньгами 3 миллиона, да купечество дало более 10 миллионов рублей. Он заведовал ополчениями губерний — Московской, Тверской, Рязанской, Ярославской, Владимирской, Тульской, Калужской, Смоленской и в течение одного месяца собрал и отправил в поход 12 полков...

...Чем ближе была опасность,— продолжает неизвестный биограф,— тем деятельнее был граф Федор Васильевич.

И не 2 сентября граф Растопчин приказал эвакуировать Москву, как написано у Толстого, а с того времени, когда французы заняли Вильну. Присутственные места, учебные заведения вывезены в Казань, архив коллегии иностранных дел и 175 пушек — в Нижний Новгород.

После Бородинской битвы эвакуация приняла такие размеры, что только одного казенного имущества было вывезено на 63 000 подводах. В ночь на 31 августа выехал из Москвы владыка Августин и с ним на 300 подводах спасена был патриаршая ризница, Владимирская и Иверская иконы Божией Матери.

2 сентября стали тянуться через Москву войска. В Замоскворечье запылали дома; Растопчин сам поджег свой загородный дом и другой свой дом — в селе Воронове, Калужской дороге.

Москва горела, Наполеон вступал в нее.

Растопчин, однако, не уехал далеко. За все время пребывания Наполеона в Москве он был то во Владимире, в селе Красная Пахра — в 30 верстах от столицы. 20 сентября оттуда он обнародовал свое знаменитое послание к крестьянам, в результате которого они все поголовно вооружились. Несмотря на все обещания и увещания Наполеона, борьба

народа против французов приняла такие размеры, что за 6 недель вокруг Москвы их было истреблено до 30 000 человек. Наполеон в своих бюллетенях назвал Растопчина «сумасшедшим поджигателем» и при уходе из Москвы приказал сжечь последний его дом.

Через день после ухода Наполеона гр. Федор Васильевич был уже в Москве и принялся за горячую деятельность по устройству разоренных москвичей. Он разместил их по квартирам, за казенный счет выдал теплую одежду и кормил в продолжение целого года. Он сейчас же открыл на площади против генерал-губернаторского дома базар, куда съехались со всего округа крестьяне, привозя хлеб, овес, муку и пр.

Скончался Растопчин 18 января 1826 года и погребен на Пятницом кладбище в Москве. И,— заключает скромный биограф,— народ его называл крепким слугой государевым, Отцом Москвы.

* *

Перед нами две манеры обрисовки одной и той же фигуры, ее два портрета, и — как разны их результаты! Если следовать примеру Толстого — сколько тонкого хлада, развращения, отравы, неустойчивости проливается в человеческую душу. Толстой взял себе какое-то облыжное право судить всех и свой суд произносит чрезвычайно строго и взыскательно. В этом толстовском наплыве обыденщины, в его, по выражению Тургенева, «подробностях, выковырянных из-под мышек», тонет и национальное и общечеловеческое качество изображаемых им людей. Его фигуры обращаются в манекенов, которых за ниточки дергает, как на игрушечном театре, закон необходимости, и сладостная «ткань жизни», про которую говорил в «Фаусте» Гёте, обращается в сплошную мертвечину. Своим уклоном в сторону механистичности и закономерности Толстой подготовил путь для воцарения учений, подобных учению бездушного марксизма, подготовил, таким образом, путь для ужасов революции.

А для русского общества нужно теперь как можно больше сильных фигур, крепких людей,— крепких слуг народных, которые личным творчеством, верой в себя, в святость своего дела повели бы его к новой общественной дружной жизни, как всегда вели Русь ее добрые герои.

Две борьбы за Вишневый сад

Это, брат, тебе Анг.

Вишневый сад!

Нежная, воздушная почти трагедия русской семьи...

Русские люди даже умирают как-то красиво... Эстетично... Белые массы цветов, голубое небо,— говорит Аня.— Ах, я так люблю родину...

Дом, в котором родились и выросли герои драмы, стоя. долго. Очень долго.

Во всяком случае — шкаф, перед которым последнии Гаев произносит свою знаменательную речь, стоял на свос месте сто лет.

— Дорогой многоуважаемый шкаф...

Но — сад и имение заложены... Надо платить проценты

Помните,— предупреждает Лопахин,— помните 22 августа аукцион... Доставайте деньги... Отдавайте ваш сад внаем дачникам... Пустите дачников в ваше имение

Но предупреждение не помогает. Гаев «прососал на леденцах свое состояние», по его словам. Гаев все время изображает, как он играл на биллиарде. Сестра его, по-русски порочная и по-русски нежно-святая Любовь Андреевна, при. тела из-за границы и стремится снова:

— В Париж! В Париж!

Даже лакей Яша стремится туда же, в Париж, от надоевшей ему любви Дуни Козодоевой, пикантной горничной, бестолочи и «необразования» русской жизни...

— Париж! Вот где земля обетованная!

Гаев клянется честью, что и сад и дом не будут проданы. Честью!

И все же он приезжает домой в вечер, когда в старом доме устроены никому не нужные танцы, когда пьяный н чальник станции декламирует никому не нужную «Грешницу», когда Гаев, плача, снимает с пальцев пакетики:

— Тут — керченские сельди, а тут — анчоусы... Я целый день.

И гордо бросает Лопахин, опьяненный своей новой

властью, властью нового человека, на вопрос о том, кто же купил Вишневый сад:

— Я купил! Я — мужик, я — Лопахин... Я купил!

Ах, помните ли вы меланхолические стуки топоров, рубящих Вишневый сад, помните ли Фирса, забытого и умирающего...

Так чеховским аккордом от оборвавшегося в шахту каната русской жизни кончается «Вишневый сад»...

Русское искусство любило смерть, и перед ее вечным взором само умирание было красиво... Смерть русского дворянства была самим искусством...

* * *

И интересным образом в английской литературе я встретил аналогию «Вишневому саду». Английскую аналогию.

У блестящего стилиста, писателя и драматурга Голсуорси есть драма «Ihe Skin Game».

То есть «Борьба до шкуры». Не на жизнь, а на смерть!

В описании обстановки первого действия уже видно это сродство сюжетов.

М-р Хиллкрист, помещик и дворянин, со своей женой и дочерью в своем имении давно живет

Со дней королевы Елизаветы.

Прадеды, деды, внуки, правнуки...

И в раскрытое широкое венецианское окно — все один и тот же вид, которым любовались.

— И прадеды и правнуки.

Широкие поля, тенистые деревья, и мир, мир, мир...

Но наряду с этим несокрушимым бытом здесь налицо новые веяния. Средств тоже маловато, и часть имения продана уже нуворишу Хорнблоуэру...

Он ставит там обжигательные печи... Он выделывает посуду. Он накапливает деньги...

И, купив участок, он первым долгом выселяет из домика уже тринадцать лет там живущих арендаторов — мужа и жену.

Он расширяется. Ему некуда поместить рабочих...

Я — восходящее солнце,— дерзко заявляет он при объяснении Хиллкристу.— Вы — закатное солнце, как выражаются поэты!

Он должен выселить этих маленьких людей, хотя дал раньше слово их не трогать... А кроме того, он покупает и

тот участок, на который открывается вид из венецианского окна старого дома, он там поставит обжигательные Уж и закурятся же они!..

Дело в том, что этот заветный участок, на который любовались из окна деды и прадеды нашего тихого помещика, уже находится в других руках. Уже продан.

И на происходящем аукционе победа на стороне нового человека:

Участок продан ему, восходящему солнцу, тому, кого вся жизнь впереди,— правда, за колоссальную сумму

Он допустил, правда, военную хитрость и сбил торговавшегося из последних Хиллкриста.

— Победа?

По-русски — да. По-русски, помещик Хиллкрист с семейством должен элегически выехать из старого дома, чтобы обломком старого быта коротать свои последние дни.

— В Париже, что ли?

Но то, что было в Вишневом саду,— «это, брат, тебе не Англия».

— Мама похожа на Англию,— говорит молодая мисс, дочка старого помещика.— Когда она действует, для нее годятся все средства!..

И мисс Хиллкрист начинает действовать.

Бороться за гнездо.

* * *

У нувориша есть сын Чарльз, женатый на миссис Кло. А у миссис Кло, молодой и интересной женщины, есть в прошлом какая-то старая, но неприятная история.

До замужества.

И управляющий Хиллкриста, собачьи преданный человек, Даукер, рассказывает эту историю.

Находятся свидетели, которые подтверждают неблагопристойное поведение миссис Кло. Скандал, который грозит нуворишу, грозит разрушить его благосостояние.

Миссис Хиллкрист с помощью, мягко выражаясь, шантажа получает документы от униженного, раздавленного возможностью скандала Хорнблоуэра:

— Ведь дело происходит в Англии, где общественное мнение существует... Живет, действует...

В этом документе м-р Хорнблоуэр обещает предприимчивой даме:

— продать заветный участок перед окнами старого дома семейству Хиллкрист по сходной цене, терпя большой убыток.

За то другая сторона обязуется никогда не разглашать этой скандальной истории...

Но — тайна уже дала течь... Горничная Анна знает о переговорах миссис Кло, и узнает о них ее муж...

И в озаренном лунным сиянием венецианском окне старого дома, перед которым происходит горячее объяснение глав двух семей, разыгрывается трагедия.

— Я борюсь за мой дом,— заявляет м-р Хиллкрист,— борьба идет «до шкуры».

— Вы побили меня теперь, Хиллкрист,— кричит несчастный нувориш,— вы меня обесчестили, вы разрушили семью моего сына, вы убили моего внука прежде, нежели он родился. И когда я смогу, я отомщу вам...

И в лунном сиянии, на фоне мирных полей несут покушавшуюся на самоубийство миссис Кло...

* *

— А вывод?

А вывод — семья английского Вишневого сада п о б е д и л а!

Победила какой угодно ценой, сражаясь за дом, за могилы, за тихий вид на вековые поля... Сражаясь за доброе — злым. Такова жизнь!

Но, молча, обескуражен этой Пирровой победой, сидит м-р Хиллкрист.

Ужасно! — говорит он.— Борьба за шкуру... Борьба до шкуры. Ужасно!..

Папа! — кричит дочь.— Это не ты виноват Папа, это мать!

Нет,— отвечает отец.— Я хозяин дома... Это я... И когда мы начали эту борьбу, у нас были чистые руки... А теперь?

* *

Семья Гаевых из «Вишневого сада» сохранила руки чистыми.

Более того. Она отрясла прах от ног своих — уехала за границу.

И Любовь Андреевна недаром сказала такое презрительное слово в этой пьесе:

— Чистюлька!

Гаевы — чистюльки! Но эта семья потеряла Вишневый сад.

А Хиллкристы — не потеряли. Они завоевали свое место под солнцем.

И пусть ответит мне любезный читатель, у кого хватит терпения дочитать эти строки до конца: — Кто же прав? Кто же прав?

Вопрос, который держит на себе всю русскую революцию.

Свободная вакансия

Если окинуть мысленным взором существующую теперь в СССР и в эмиграции прессу, жуткое чувство проницает сердце...

Во что обратились хотя бы газеты в СССР? В однородную, серую массу казенного материала, откуда бесполезно ждать какого-нибудь живого слова...

Совгазеты заняты сейчас с серьезной миной налаживанием соваппарата... Вот передо мной «Наша газета», довольно популярное московское издание... Какой-то «труженик» с места кричит о «непорядках аппарата»... Помилуйте, надо ведь «механизировать» бумажное делопроизводство, для чего каждую бумажку надо положить под «дырокол», пробить дырки, выровнять и т. д... И труженик «по системе Тэйлора» требует, чтобы все потребные дыры в бумагах пробивались бы «машинным способом» — еще в типографии, при печатании известного бланка...

Но обличение «непорядков» может завести очень далеко... От обличения неправильной тактики «дыроколов» до обвинения Моссельпрома, что тот «не дает» хорошего карандаша... Нет, огрызается Моссельпром, мы даем карандаш, мы торговать умеем. Мы распыляем наш продукт по канцеляриям всех самых больших учреждений...

Серость, скука — вот что распространяется по совпрессе; и как в годы реакции XX столетия — в девятом и одиннадцатом можно было читать только отчеты Государственной Думы, которые являлисъ до некоторой степени откровениями и характеризовали положение страны,— так и теперь в советских газетах привлекают до некоторой степени внимание только официальные отчеты о разных съездах и прениях.

И это — русская пресса?! И это русское общество? И это то самое слово, про которое поэт восклицал:

Над вольною мыслью Богу неугодны
Насилие и гнет
Она, в душе рожденная свободно,—
В оковах не умрет...

Берегите Горького, берегите! — истошно кричит какой-то писатель в той же «Нашей газете».— У него очень слабое здоровье, от чествования он может надорваться умереть!..

— Какая чепуха!

Сумерки прессы. Сумерки русской мысли, русской публицистики...

Не лучше дело обстоит и за границей.

Эмигрантская пресса — увы! — не является уже тем могучим «Колоколом», который лил когда-то в царствование Николая Павловича (Николая Палкина — по выражению графа Толстого) свой благовест по всей России. Заграничная пресса, правда, обставила всю былую Россию своими колокольнями, но, Боже мой! — что за слабый трезвон срывается оттуда. Колокольни обомшелые, зеленые, колокола надтреснутые, а кто трезвонит на них?

— Да те же старые знакомые, которые осточертели российскому обществу и дома за последние двадцать пять лет старого строя... Все они, эти властители дум!..

Советские газеты бьют тревогу о разных «романовцах», которые всплывают там и сям в бесконечной России; они кричат «о голубом масонском интернационале». И действительно, есть некоторые, и значительные, данные утверждать, что монархическое движение, хотя бы по психологическому правилу, как обратная реакция, имеет известное распространение в массах России.

— А в загранице — в эмигрантщине — тут монархистов хоть пруд пруди!.. И что же мы видим? Есть ли монархическая пресса?

— Никакой такой прессы нет! Есть, правда, монархический ежемесячник «Двуглавый орел», но надо сказать, что он воплотил в себе все давно известные отрицательные качества монархической старой прессы... Вся старая монархическая пресса в русском монархическом государстве была сплошь на казенном содержании.

Были, правда, давно проблески, вроде славянофильского движения, но самое интересное то, что К. Аксакову и А. Хомякову... было запрещено цензурой писать в поддержку самодержавия... И нынешний «Двуглавый орел» при своем монархическом содержании — пахнет нафталином, словно ничего не произошло.

В нем упражняются разные высокие чины, иногда даже выставляющие перед фамилией свои безвредные придворные

звания, и, кроме того, в нем столько злобности и столько неумности, что просто руками разводишь...

Трудно его читать, да его никто почти и не читает... А монархическая идея живет и ширится так, самотеком, за счет непосредственного сознания народного... И интересно, что если, например, то же харбинское «Русское слово» и выставляет на своих страницах портреты погибшей царской семьи, то это отнюдь не значит, что в нем когда-нибудь появится статья, доказывающая необходимость монархии...

От старых дореволюционных дней в русском эмигрантском обществе сохранилась какая-то лукавость по отношению к монархии. И хочется, и колется...

* *

Если, таким образом, при монархическом настроении монархическая эмигрантская пресса не отличается ни умом, ни распространением, то, при малых требованиях на несколько прокисшие продукты демократизма, мы видим всюду засилие прессы либеральной.

При этом у этой прессы — явление, обратное тому, которое мы наблюдаем у прессы монархической... У нее — перепроизводство ума. О, возьмите любую из либеральных газет, это — горе от ума!

Милюков, Струве, Керенский и др. состязаются друг перед другом в вытряхивании своих извилистых, ловко подобранных, молью траченных идеек... И как давно всем знакомы эти идеи!.. Ведь сколько лет тому назад, бывало, мальчишкой 3-го, 4-го класса гимназии, вернувшись домой после обеда, выгружаешь из кармана перед уютно пылающей печкой принесенную из класса «нелегальщину»... Кто были те радетели, которые тогда снабжали этим самым «Освобождением» точно такого же образца, как теперь печатается «Борьба за Россию»: в две колонки, мелкий шрифт, тонкая-тонкая бумажка? Да тот самый Петр Бернгардович Струве, который, сидя за границей, вне ужасов и гнета царского правительства, призывал русский народушко «освободиться».

Тогда — о! — тогда он был силен и молод. Он тогда был не кем иным, как «борцом за свободу», революционером. Правда, в других листках эсдеки сердито разоблачали его «либеральную подоплеку», но в сущности все «шли врозь, чтобы бить вместе».

Миновали веселые дни 1917 года, и Петр Бернгардович теперь сидит все в той же заграничной позиции и уже хвалит «Россию»... И снова он для России нелегальный, и снова он эмигрант... Всю жизнь эмигрант! Прямо мрачный символ какой-то, а не человек...

Другой уважаемый руководитель общественного мнения — профессор Белградского университета П. Н. Милюков. Снова язвительная память выводит стишок из достопамятного 1905 года, если не ошибаюсь, принадлежащий Саше Черному, ныне пишущему преимущественно о фоксиках:

> Гессен сидел с Милюковым в печали.
> Оба курили и оба молчали.

Весь накликанный ими гром и буря революции 1905, 1917 гг.— увы! — не принесли Павлу Николаевичу отрады. Характерный образец российского интеллигента, он мыслил даже наедине с самим собой образцами английской конституции.

Раз допущенный в 1917 году к власти, он повел ее по всем правилам «западных обычаев» и немедленно «сдал», не заботясь о том, что она попала Бог знает в какие руки. Зато Павел Николаевич чист, а это — главное.

И этот неловкий в политической жизни человек продолжает издавать газету и, главное, утверждать, что «все образуется»... Кто читал Милюкова как таковото? — Никто.— Кому он нужен? — Никому!

Русские эмигранты хватают зарубежные газеты из-за того только, чтобы почитать, как дело обстоит насчет большевиков... А что касается до того, что думают сами руководители газет,— это не играет большого значения для русской массы...

Куда ни посмотри теперь — повсюду говорят, что православная церковь имеет теперь огромное значение и играет огромную роль в жизни русского народа.

Но, господа, напрасно бы вы стали искать какой-нибудь печатный орган, который был бы посвящен церковно-общественной стороне русской жизни. Если в 1611 — 13 гг из Троице-Сергиевской лавры шли знаменитые послания, то в настоящее время из того же оплота национальной жизни в духовенстве — из Сремских Карловец — не раздается ника кого голоса И нельзя же никак думать, что церковь теперь может отделываться такими духовно-назидательными изданиями, вроде харбинского «Хлеб Небесный» из келарни отца архимандрита Ювеналия.

* *

В русских широких народных слоях зреет темная новая мысль, зреет известное сознание. Но со стороны высших слоев — увы! — мы не видим никакого желания прийти к низшим слоям на помощь... Нет писателя, голос которого бы собрал в единый фокус все русские нужды народные, слово которого гремело бы.

Нет публициста во всероссийском масштабе, который мог бы обращаться своим независимым, правду несущим голосом к обеим — красным и белым половинам... Нет теперь фигуры русской прессы, которая могла бы пролагать пути, а не идти по старым дорожкам увиливания или перепахивания старого... Нет фигуры среди интеллигенции, которая бы рискнула на пересмотр многих положений и, в частности, на выдвижение требования гражданского мира на первый план, потому что в противном случае Россия погибнет... Нет пастыря, поднявшего свой голос в пользу России. Нет усовершенствованных в смысле национализма Герценов, нет православных Писаревых, нет монархических Катковых и Аксаковых, нет церковных Добролюбовых, нет плачущих гражданскими слезами Некрасовых, нет строящих заново русскую историю Карамзиных, нет поэтов крестьянства Столыпиных, нет поэтов фабрики — Морозовых и Прохоровых, нет того, что характеризовало русскую душу с самой лучшей стороны и в последнее, девятнадцатое столетие,— нет духовной энергии и посыла...

Увяли все!

А главное — нет пророка стиля Достоевского, который только бы распахнул свое сердце и нашел бы там, что ему надо говорить так, чтобы только гром пошел по Руси...

Одним словом — нет на Руси одного:

— Человека.

Его вакансия свободна!

Занимайте же, господа!

К толпе

Разговоры, разговоры, разговоры.

Публика спешит что-то выговорить... Чего-то добиться

Разговоры — все равно как пена на пиве. Кажется, что пьешь, а на самом деле только разжигаешь жажду...

А напьешься только тогда, когда доберешься до жидкости Плотной и холодной...

Удовлетворение будет тогда, не когда г. г. Милюковы, Струве, кадеты всех мастей и проч. до чего-то «договорятся», а тогда, когда выйдут личности с практическим под ходцем.

Во всяком случае — прежде всего личность. Человек

Если вы хотите открыть торговлю — вы не обойдетесь без того, который отличен талантом торговли...

Если вы хотите взять себе дворника, то вы должны найти человека такого, у которого, словно по волшебству, подметен рано утром двор, убран снег, наношена вода, тротуары посыпаны песком...

Не прельстит же вас человек, который исторически-научно сможет подойти к «вопросу о посыпке тротуара» или к цифрам финикийского оборота?

Если вам надо государство — вы должны брать людей, которые умеют его делать.

Ни Милюков, ни Струве этого не умеют. Это они блестяще доказали своей прошлой деятельностью. А уж социалисты — тем паче.

Нужно практиков, практиков, господа. Твердых, простых, немудрящих.

Разговоры, разговоры, разговоры.

Словно щенок, тычущийся мордой в углы...

Пишут, пишут, пишут.

Для кого? — невольно задаешь себе этот вопрос (сам грешен)

Представьте себе своих знакомых.

На одного большая статья производит впечатление пушки, направленной ему в физиономию...

Другой — похож на ловца блох: так он задумчиво и четко подчеркивает карандашиком обмолвки и недостатки.

А третий — вообще ни на что не реагирует. Он сам все знает.

И совершенно отчетливо сознаешь:

И эти писания, и эти разговоры, если какой-нибудь практический толк от них должен быть,— должны быть построены так, чтобы быть ориентированными на толпу.

До тех пор, покамест в толпе не зажжется под влиянием слов, под влиянием букв известное движение,— писание есть известное истощающее дыромоляйство... Кричи в окошко, в ночь, и нету тебе ответа...

Только толпа укрепляет прессу, только толпа укрепляет государственного деятеля. Как магнит железные опилки, должен он притягивать к себе толпу...

Толпа делает и революцию, и контрреволюцию, и бьет стекла, и заражает воодушевлением, ревом отвечая на удачное зажигательное слово...

— Толпа, толпа, толпа!..

* * *

Все-таки, несмотря на разные плохие рассуждения о «толпе», глас народа — глас Божий...

Провоцированная толпа может растерзать кого угодно — она зверь в этом отношении... Но с другой стороны, в общем,— она почти всегда права... Если она и терзает невинного, то она права своей внутренней яростью... Толпа — это концентрация страсти, действия.

Помните Верещагина в «Войне и мире» в изображении Толстого? Толстой всй силой своего толстовского скептицизма обрушивается на графа Растопчина. А действующим главным лицом является все же толпа.

И разве, по существу, она не права, что она громит шпиона? Нужно быть кретином, чтобы отрицать это!

А разве вам не жалко Верещагина? Ведь неизвестно, был ли он шпионом! — спросят вас.

Да, но нас социалист Крыленко научил хорошим словам:

— Лес рубят — щепки летят...

* * *

В толпе вы всегда найдете тот активизм, который просидели на своих стульях г г разговаривающие.

Сколько за эти десять лет пришлось и видеть и пережить разных переворотов! И вот в последний миг, когда начинается действие, всегда появляются из толпы какие-то совершенно неизвестные, невиданные ранее люди... Они самостоятельно исполняют распоряжения, они бегут во все стороны, их несут потом раненых, облитых кровью, и их взоры горят; они лежат на углах улиц в тех нелепых позах, в которых подчас валяются убитые наповал.

Слово произвело свое действие, оно обернулось в силу через толпу

Но как осторожно дóлжно расходовать эту силу

Из слова брызжет кровь...

*

На какой-то «бон» Шанхайского Сберегательного общества можно выиграть 30 000 долларов за шесть.

На сколько же несчастных придется один такой счастливый «бон»?

Из потраченных за время десятилетий революции мириадов миллиардов слов — сколько придется таких, которые будут действительно сказаны «с силой и со властью»?

— С действием, пришедшим из толпы?

И все же в толпу должны быть устремлены взоры говорящего. В толпе, в ее настроении, в ее переживаниях должен он найти направление для своих мыслей, своих слов... И если даже он и хочет по-своему направить эту толпу, то должен это сделать, опираясь на те скрытые в ней самой реальные хотения, которые он сумеет сам констатировать...

Горе тому оратору, который слушает самого себя, свою ненависть, или свое раздражение...

Если его раздражение — раздражение толпы,— он жив Если же его скорбь выражается в личной скорби потере присвоенного ему камергерского мундира — можно быть уверенным, что успеха он никогда иметь не будет...

Это его личное дело... Без публичного значения.

* *

В толпе, жадно смотрящей на оратора, в толпе, утром разворачивающей газету, всегда есть известные очаги, непрерывно тлеющие; и для ораторского, и для политического, и для газетного успеха надо уметь нажать на эти рычаги... Надо устремить холодный, анализирующий взор в самую психическую глубь наших дорогих соотечественников и разгадать там, чего хочет толпа,— потому что она, может быть, сама не опознала еще того, чего она хочет...

Поэтому нечего бояться фантомов и миражей Нечего бояться советской купленной казенной прессы, которая покрывает словно радужной нефтяной пленкой воды действительности... Под этой пленкой толщиной в тысячную микрона — вода, сладкая и свежая вода...

Помню я в декабре 1918 года Москву, всю безобразно заваленную снегом, навозом, голодную, пришибленную... И помню те очаги, которые горели себе под тарарабумбией газетной шумихи.

Холодный, высокий, нетопленый дом на Зубовском бульваре, где жил Вячеслав Иванов. Пальто с меховым воротником, берет на характерной красивой голове поэта, кусочек сахара, вынутый из маленькой серебряной табакерки из кармана... Но какое горение и какая сила беседы!.. Какая сила стиха!..

Помню Гершензона, замерзшего, склонившегося в пледе над столом, сверкающего своими очками и лохматой головой, и его руки-клешни, которые вылезали из-под стола у самого близорукого носа...

Помню беседы в ночной тишине, когда после голодного дня так остро и напряженно работал ум...

Говорят, голод ослабляет и понижает энергию; да, так, но только наполовину. Зато ведь голод так просвещает ум, так выскребает совесть и предлагает человеку целый ряд практических проблем...

Недавно в зарубежье появилась анонимная поэма под заглавием «Эпафродит», происхождения московского, советского несомненно, судя по описанию «обстановочки»... Но сколько таланта, терпения, сосредоточения в себе надо было иметь, чтобы написать эту вещь... Она похожа, по напряжению, на Дантову «Комедию», до такой степени она отлична от обстановки, в которой писалась, до такой степени она ослепительна в окружающем мраке...

Есть еще золото в русских толщах народных, и ведь все то золото, что рекламируется в печати...

Золото государственного и религиозного опыта, религиозного и государственного переживания... Социального опыта...

Вот что надо опознать. Вот где университет и наука... А ведь наши ученые еще долго будут следить за разными «достижениями западной мысли»!

Ученых много, умных мало...

(Пушкин)

* *

А сколько пословиц должно разноцветным дождем вбрызнуться в народной толще после таких испытаний!

Сколько острых словечек...

* * *

Итак — толпа!

Итак — живой и реальный народ. Всматривайтесь в него, чего он хочет. Только с ним, только через него.

Но это отнюдь не значит, что деятели, которым предстоит действовать в предстоящую годину, должны «обожать» этот народ, должны цепенеть от одного его крестьянского титула и мужичьего звания.

Что они должны шалеть и молча покорно смотреть, когда народушко будет азартно громить фабрики и имения новой буржуазии.

Слушать, что говорит народ,— это значит слушать не рев отдельных Иванов или Кузьмичей, а слышать то, что говорит идея народа.

Да, идея народная.

Нельзя понять, почему Иван или Кузьма может водительствовать массами, выкрикивать лозунги глупые и убийственные, а какой-нибудь интеллигент этого не может?

Пожалуйте на трибуну, пожалуйте к демагогии!.. Будьте готовы ко всему.

Повторите, заставьте, двиньте, создайте в толпе внутреннюю организацию, которая будет помогать вам проводить ваши лозунги, будет сковывать разброд страстей...

Идеям Маркса и прочим глупостям и пошлостям противопоставьте свои идеи... Пересмотрите русскую историю.. Поймите без сентиментальности, что такое русский народ... Пересмотрите наших публицистов, да не тех, линия которых привела к революции, а тех, которые засыпаны пылью, пошлостью и издевательством либерального прохвостничества.

Не Белинского, Писарева, Чернышевского, Добролюбова, болтуна Михайловского.

А Аксаковых, Киреевских, Хомякова, Данилевского, Победоносцева, Каткова, Леонтьева, Шарапова и др.

И поверьте, что эта линия, линия консерватизма, бесконечно умна, гораздо умнее линии либеральной, и в то же время ведь эта линия оправдана событиями русской революции.

Этой линией строилось тысячелетнее русское государство, и строилось с умом, и, конечно, стоит полюбопытствовать, как оно строилось...

Посмотрите, наконец, историю и навыки иных государств, особенно тех, которые ловко управляются с революцией, а не хвалят ее на всех перекрестках... Пора понять русскому обществу, что та же Англия, которая в русском обычном дореволюционном понимании выглядела столь либерально, в сущности стоит на почве самого полного и последовательного консерватизма. Парламентизм — это умный английский консерватизм...

* * *

Не пора ли и русской государственной мысли стать умной? Без наскоков, без жидоедства, поняв и выковав национальную традицию, с ней пойти в массу, но не как «просветители» этой последней, а как равноправные граждане, готовые на то, чтобы проводить и доказывать свои взгляды, готовые сделать «асаже» всякому, кто выступил бы «в порядке революционном» Только русский народ в его современном состоянии! Только русское государство! — вот цели.

А что касается тех, чей зад отдавило колесо русской революции, кто до сей поры плачет и вздыхает о разных привилегиях, то можно сказать:

— Сами того желали, г-н Данден, сами — когда либеральничали, когда не боролись за старый строй тогда, когда он был реальностью!

И вам нет другого пути, как выбор:

— Или в толпу, или в музей истории!

Зачарованные петухи

Петуха, как известно, легко загипнотизировать.

Поставить его на черном столе, наклонив клювом к столешнице, провести от клюва мелом прямую белую черту, и бедная глупая птица останется в созерцании этой белой черты как зачарованная.

Политика — искусство превращать отдельных людей в зачарованных петухов; вояки и бойцы, спорщики и протестанты обращаются в покорных зачарованных петухов. «Уставясь в землю лбом», они следят за волшебной линией политики и дыхнуть не смеют вне ея. И как крысолов из немецкой сказки, играя на дудочке свои заливистые трели,— правит ими политический деятель...

Но много ли этих петухов?

Отнюдь нет! Для того, чтобы получить кажущуюся власть над народом, политическому деятелю вовсе не нужно вести за собой весь народ.

В политике надо только несколько, не очень много петухов, которые изобразят, будучи удачно расставлены при помощи прессы, «весь народ». Не считать же, сколько их на самом деле? Так ведь одно слово «просим», подчас выкрикнутое самим же ловким кандидатом, предоставляет ему председательское кресло, как избранному «всенародно»..

Такое же положение находим мы и в современной России ведут коммунисты, несколько волевых, напористых человек с хорошо подвешенными языками, уставившихся в свою идею. А народ?

Народ идет за ними, кажется нам; нет, вообще никуда он не идет. Народ безмолвствует. Если угодно даже знать, то обстоятельство, что коммунизм держится в России столь упорно 11-й год, причиной именно имеет, что народ российский к происходящему не имеет никакого отношения.

Да, вот именно так. Власть сама по себе, а народ русский никогда не любил власти и держался от нее особняком

Посмеивается и держится.

* *

В некрасовском «Кому живется весело, вольготно на Руси» есть пребезобразнейшая сцена, на которую никто из критиков, кажется, не обращал внимания. А жаль! Сцена, которая доказывает, что Некрасов знал его величество Мужика с глубиной, переходящей в жуть. Сцена эта заключается в следующем эпизоде:

— Мужики ходоки подъезжают на лодочке к крестьянскому сенокосу, который в полном разгаре. Они выходят на берег и в это время видят в народе волнение. Зовут старосту Клима, кричат ему, чтобы поскорее оболокался и встречал господ. Действительно, подплывает с хором музыки косная лодка, из которой является старый барин, помещик, в сопровождении своих двух сыновей с ихними барынями Пощупав сено, барин приказывает вновь его раскидать по лугу — не просохло достаточно. Мужики и бабы дружно бросаются исполнять это, тогда как один из искателей истины убеждается саморучно —

— сенцо сухохонько.

Барин садится пировать после обхода сенокоса и вообще держит себя так, как будто бы он — полноправный крепостник-помещик. Любопытствующие путешественники справляются у «народушки», и тот со смешком повествует им, что барин старый самодур, что его сынки упросили крестьян доставлять ему удовольствие, прикидываться крепостными, назначили даже специального старосту Клима, плохонького мужика, откуда-то выучившегося произносить слова:

Р о с с и я и А т е ч е с т в о!

и потрафляющего барину своими патриотическими речами. А мужики то и дело что только глумятся над барином-«старинушкой», произносящим цветистые речи относительно патриархальных преимуществ крепостного строя. И когда вылезает какой-то обличитель, который бросает в глаза старику «всю правду»,— мир, хохоча, ославливает его сумасшедшим и утаскивает в сторону. Мир не интересуется ведь «всей правдой». Ему нужна з е м л я, е м у о б е щ а н н а я, а начальство ведь всегда блажит, и на него внимание обращать не следует.

Барин даже сечет Клима в назидание всем, и Климу приходится провести и эту трудную часть своей роли, что он и исполняет во исполнение мирских директив:

— покорно ложится на конюшне, спустив некоторую

часть своего туалета. Эка важность! Зато землицы получишь, мыслит он, убежденный реалист

Так мелодия интернационала теперь играется на всех дудках, а в глубине России растет ироническое, смешливое отношение к коммунизму:

— Новые баре тешатся! Пущай их!..

*

Русская народная жизнь идет в несколько этажей; одном «проводится программа пятилетки», в других в известной и разной степени — никакой вообще программы не проводится. Несколько загипнотизированных коммунистов-петухов никак не составляют общеполитической погоды Вот вам конкретный пример.

— Все знают, с какими трудностями сопряжен для известного люда переезд через границу в СССР и оттуда. Учреждаются паспорта, за них гонят страшные суммы, наш брат, публицист, готов писать, что это «неслыханно», что и во времена Николая Павлыча ничего подобного не бывало, одним словом — зачарованные петухи уткнулись носами в линии ж. дороги в западном и восточном направлениях

Но увы! Если паспортные формальности и нужны кому-нибудь, так только небольшому слою горожан, чиновников бывших и настоящих и прочим всем «государственно мыслящим» людям. Они действительно кланяются в ноги новому барину:

— Батюшка барин, ваше пролетарское величество. Сделай милость, отпусти на простор за границу!..

А остальные массы? — Они свободны!

Ведь, господа, стало же бытовым явлением, что российская граница в соседние страны стала проходима в любом почти пункте и оттуда «просачиваются» массы народа, которые и принимаются соседними государствами весьма благородно и им предоставляется право и возможность жить по-человечески.

На днях пил в одном доме чай монах, ну хоть Пансофий, бодрое, веселое, энергичное русское лицо в истовой бороде и этот особый, неуловимый, необычайно лукавый, мужичий русский взгляд.

Никогда этот взгляд не упрется в ваш взгляд, как упрется вспыхнувший дерзостью и отвагой взгляд европейца; нет, он если и упрется, то только тогда, когда будет знать все

ваше бессилие, а так, в другое время, будет скользить мимо, нарочито пустой, лукавый, веселый и возбуждающий досаду... Ох, крамолен русский человек, и никак его не ухватишь — ни за какое «чувство долга».

И мы все, сидевшие за столом, слушали немудрящего этого монашка буквально затаив дыхание... Он только что прибыл из СССР Бродил там по всей земле, был в Москве, заходил во все монастыри и церкви Зауралья, все видел, везде сам справился, как дело обстоит с верой, хорошо ли блюдут. И выходило, что блюдут правильно.

— Что-о? — говорил он.— Виза? Какая виза? Да мне весь переход через границу стоил семь рублев... Почему? А потому что не знают люди, как надо идти. Сто пятьдесят верст нужно пройти. Болотом надо идти; вот как, а там у него разъезду никакого нету. Нету разъезду, я знаю! Ну и сам я мог пройти, без проводника. Идет болотом тропинка, ни вправо, ни влево, а прямо иди, к рубежу и дойдешь.

И на меня пахнуло XVII веком; помните, как хозяйка говорит Григорию Отрепьеву в «Борисе Годунове»:

— Ни лысого беса не поймают; будто и нет в Литву другого пути, как столбовая дорога!.. Вот отсюда свороти влево да бором иди по тропинке до часовни, а там прямо через болото на Хлопино, а там уж всякий мальчишка доведет до Луевых Гор. А там и рубеж...

А как же, отец, вещи с вами были или нет? — осведомился я.

Вещи? Для чё вещи? Я вещи первым делом в Никольске в багаж сдал, а на пограничной и получил. Провезли в лучшем виде... Предъявил квитанец и получил... Удо-обно!.. А то за визу платить, Господи помилуй, да что ж это, каки деньги! А главное, как идти, нужно вот что помнить — где у их штаб. Ну, я сначала-то и распознал: эдак штаб да эдак штаб, а ты посередке и иди, всегда будет аккуратно.

И как раньше царские, так теперь и советские приставы ищут ветра в поле... А монашек, в рясе, ходко шагая по русской земле, пробирается к рубежу, зорко смотря туда и сюда, где штаб социалистической власти.

О, идеи никогда не улавливались на штыки, и зачарованных петухов не может быть очень большого количества. Жизнь бьет ключом в России — настоящая подлинная жизнь...

А в Свияжске — вот случай вышел,— рассказывал наш путешественник, которому все внимали затая дыхание.— Лежали там мощи Симеона-епископа, в монастыре-то. Когда

царь-то Иван митрополита Филиппа заточил, а после приказал умучить, так Симеон-то на стороне Филиппа вышел Его этот Малюта Скуратов и задуши, а после мощи открыли, положили во Свияжске. Так приехали из Москвы смотреть доктора разные, живцовские священники и вообще «Гупеу»... И вот, милые мои, как стали вскрывать, а небо было ясное, синее совсем было... И как раку открыли — ветер и гром ударили. И пошло по церкви шорканье, шум, словно волна народа какого невидимого пришла и стала. Ну тут один красноармеец и перекрестился. Да! Вот до чего: перекрестился!

Сказки? — Может быть! Но не только сказки. Кто смотрит на это дело с высоты своего интеллигентского величия, тому это — сказка; а ведь народ теперь, вот так же, как и в XVIII веке, руководится не газетами, что сплошь врут, а именно вот такими слухами. Не такими ли народными слухами был приведен в Москву Самозванец, несмотря на всю противоположную годуновскую «информацию»? Не такими ли слухами и ходоками утверждается положение единственного национального института русской церкви теперь?

Гонение на церковь? — спрашивает монашек.— Нету теперь никакого гонения. Теперь молись сколько хошь. Налогами душат, это верно. Ну кой-как народ выручает. А пастыри и народ твердо держатся старой тихоновской веры. Теперь хорошо, ясно. Живцов не любят. Нет, теперь свободно — ходи куда хочешь...

Несколько зачарованных коммунистических петухов стоят на страх врагам, упершись носами в партийную линию, а в народе идет своя особая жизнь. Сильная жизнь, такая, какая всегда была в народе и которой столь мало интересовались в русском обществе. И если посмотреть в народ, то увидишь, что он тот же, что был всегда: уживался русский отлично с татарами, и много мудрости держит в себе народная душа.

И против чарований и мудрований социалистических — ясно сказано спокойным, немудрящим монашком:

— Тут штаб, тут штаб, а ты в середку и иди! Ниче-его!

Письмо в Москву

Некий Михаил Кольцов, один из московских нахамкесов, в № «Правды» от 27 ноября 1928 года почтил меня длиннущим писанием по поводу посланного в Москву на отзыв отдельного оттиска моих статей о Ленине.

Мои статьи о Ленине всерьез рассердили часть харбинской эмиграции; по ее компетентному мнению, и писать-то не стоило о предмете, заслуживающем столь мало внимания, как Ленин; раздавались, далее, голоса, напоминавшие старые речи Камилло Дюмулена, о том, что-де «человек, пишущий о Ленине, подозрителен» и т. д.

Но каково же было мое удивление, что в этом кольцовском коммунистическом письме раздражения и гнева было еще больше, нежели в словах наших националистов! И в видах справедливости я должен признаться, что, просмотрев предисловие к моей книжечке, Кольцов заявил авторитетно про меня:

— Автор — идиот и проходимец!

Признаться, я несколько опешил в первый миг, прочитав такой решительный отзыв о своей скромной персоне. Спасибо, Кольцов, что открыл мне глаза! Спасибо и за то, что научил настоящему московскому литературному стилю, как нужно писать... А мы-то придерживаемся здесь ненужных приличий, избегаем вольностей, доступных твоему изящному перу, работающему на пользу грядущего человечества

Но, почитав кольцовскую статейку дальше, я утешился. Нет, читатель, положение наше не так безнадежно плохо, как казалось мне сначала. Оказывается, при всей неодобрительности моего труда, «автор его преследует определенные, нисколь не нелепые цели»,— пишет Кольцов.

И я должен сознаться, что упомянутый нахамкес действительно понял мои заветные желания и определил их довольно верно; и это уже большая заслуга.

Он пишет:

> Иванов сознательно направляет свои строки не к заграничному, оскудевшему деньгами, волей

и чувствами эмигранту Он ищет другого читателя внутри нашей страны...

Вот это обстоятельство и обидело так нашего уважаемого скриба; за 11 лет великой бескровной он всерьез уверова. что он и ему подобные писучие молодцы захватили в полон навсегда российскую словесность и расправляются с ней по-свойски. Они и впрямь уверовали, что обывательский и мужичий ум и здравый смысл съел черт, и для подкрепления этого обстоятельства повсюду кажут на палке чучело эмигранта, при всех регалиях, снабженного особой нагайкой, пугая им честной народ.

Привыкши владеть пришибленной Белокаменной, они впрямь думают, что русские, счастливо находящиеся за границей, пишут только для собственного взаимоуслаждения и воспоминаний о прошлом и генерал Краснов на белом коне и есть единственный эмигрантский властитель дум.

Нет, Кольцов! Если вы кое-чему понаучились в истории революции 1789 и др. годов, если опыт Парижской коммуны использован вами, то опыт Бурбонов и нас кое-чему научил; но кроме того, мы, зарубежные писатели, никак не можем понять священности ваших прав на то, чтобы скакать вам одним по просторам российским и проповедовать то, что не лезет ни в какие ворота. И мы тоже хотим попасть на российскую территорию и уже проповедовать то, что само лезет в любые мужичьи ворота. Должно, должно быть покончено с монопольностью вашей проповеди! И будет покончено, будьте покойны.

Это обстоятельство рассердило Кольцова. Он бы желал полюбовной разверстки на том основании, что речи эмигрантских журналистов — речи для эмиграции, а советских для России; но живет, несмотря ни на какие революции старая латинская пословица: Habeant sua fata libelli pro capitu lectoris.— Имеют свою судьбу книги в зависимости от головы читателя. Писание Кольцова, конечно, не имеет никакого значения за рубежом ГПУ, а вот моя книжица могла бы найти читателя в России. Так об этом компетентно свидетельствует и сам Кольцов:

— Его желанный слушатель — притаившийся и сейчас слегка обнаглевший контрреволюционный обыватель, злостно настроенный интеллигент, мелкий буржуа с нетрудовым доходом или тот же буржуа на советской службе...

Это уже хорошо.

* * *

Итак, в чем дело? — как говорит Харбин.

Дело в том, что Кольцов сердится, что моя книжечка может стать чрезвычайно неприятной для соввласти. И Кольцов произносит знаменательные слова, к которым должна прислушаться русская эмиграция:

> Харбинский Иванов прокладывает новые пути. Он нащупывает рынок с другой стороны. Он учитывает реальные обстоятельства... Брошюрку с портретом Ленина на обложке можно спокойно держать на столе и даже в учреждение принести и, хихикая, прочесть с сослуживцами...

Известна этика готтентотов: если я у тебя съел корову — это хорошо, если ты у меня — это плохо... Если Кольцовы под разными соусами лезут со своими книжками по всему миру, маскируясь в наиболее защитные цвета, то это одно дело... Но Кольцов искренне возмущен, когда «можно, подмалевав образ Ленина, уцепившись за его величие и превратив его в нечто среднее между Петром Великим, Стенькой Разиным и патриархом Гермогеном, разводить черносотенство с видом поклонения перед победами большевизма»...

Слава Богу, Юпитер сердится!.. Значит, и мы кое-чему выучились...

— Ах, Иванов из «Гун-Бао»,— продолжает лирически Кольцов,— где же вы были раньше? ...Догадайся вы насчет «неслыханных прибылей» (при протекционной системе, при пренебрежении к жизни рабочих.— *В. И.*), убеди вы «молодых русских капиталистов» — чего доброго, оскандалился бы Маркс со своими теориями, не нужен был бы Ленин...

Ах, господин Кольцов из «Правды»,— скажу я,— вашими словами говорит сама истина. Скажите, пожалуйста, положа руку на сердце, если оно еще у вас осталось и не заменено партбилетом,— скажите, а разве вот Маркс не оскандалился по всей Европе именно поэтому? Разве там не обошлось превосходнейшим образом без Ленина? Превосходнейшим образом обошлись! Да и обходятся. А вот мы не обошлись, и вот в этом есть некоторый род исторической обреченности. Поэтому, пожалуйста, не мерьте на свой собственный «метр», не считайте, что если я так писал о Ленине, то только для того, чтобы «соблазнить» одного из ваших малых, над которыми вы куражитесь, заткнув им рот; я писал для того, чтобы отметить некоторую степень объективной истины.

Для вас эти кадры «бывших помещиков», «жандармских офицеров» да «бывших фабрикантов», ныне прозябающих в скромных совтолстовках, о которых вы пишете,— человеческая пыль, которую вы легко и свободно топчете ногами; для меня это русские живые люди, с горячей кровью, нисколько не хуже вас.

Даже больше — они, массы их, должны понять нехитрую штуку, что если одним дано захватить власть так, как захватил ее Ленин, то и другим можно проделать тот же эффектный трюк; но вовсе не для того же, для чего захватывали власть те, в хвосте за которыми вы сейчас бежите, не для «экспериментов в планетарном масштабе», а для строительства действительной, спокойной мирной жизни, трудовой, равной, культурной... И Ленин исторически нужен был для того, чтобы русский народ оценил необходимость правильности былого устройства государства и пришел к выводам, отмеченным вашим совпоэтом

Кто так страдал — имеет право
У тихой речки отдохнуть..

Наша народная речка — тиха и прекрасна, а ваша — размашиста, шумна и бестолкова. Я должен сказать, что то, что делаете вы, не отличается умом, несмотря на грандиозность.

Что ж, история ведь знает и грандиозные глупости!

Был на Руси умнейший человек К. П. Победоносцев; но были у него глупые консисторские чиновники. Был умный, хитрый и сумевший захватить власть у истерика Керенского — Ленин; но вы все — вы хвост Ленина (помните хвост Робеспьера!), вы только консисторские чиновники, эпигоны, проматывающие то, на что поднялся размах Ленина, и над вами хохочет весь мир.

Да, и вами, как его последователями, я действительно «очень недоволен», как пишете вы. Русский народ должен иметь возможность трудиться, быть обеспеченным продуктом своего труда; нетрудящийся же из трудящихся — есть люмпен-пролетариат, и цена ему грош, и нельзя ему отдавать на правеж все государство, вот — «наша речка» И на этой речке сияют тихим светом всегдашние идеалы Руси покорливость, находчивость, лукавство благочестие,— все то, на что вы подняли руку и, конечно, не уничтожили, а только затушевали, покрыли, как тончайшая нефтяная пленка может радугой покрыть иногда глубокие воды нашей Волги.

Вы пишете:

> Всеволод Иванов шепчет такую симпатичную мечту: очевидно, согласно объективного хода вещей, понадобится новый Ленин, который будет более объективен в свойствах русской души и создаст новый православный, всенародный Октябрь.

Что же, Русь состоит из Ивановых. «Трудно бороться с врагом, когда он с крестьянским паспортом или с профсоюзной книжкой осторожно напирает и шевелится внутри страны»,— пишете вы. Да, это шевелятся Ивановы, сотни, тысячи, сотни тысяч, миллионы Ивановых... И поверьте мне, они теперь знают, что они хотят, эти Ивановы, и будет время — они прорвут вашу плотину.

«По этим лапам, протянутым из-за границы к Ленину и к Октябрю, ничего не стоит ударить»,— пишете вы.

Да.

— Но до поры до времени.

Гранит или тамтам?

На гранитных пилонах писали свои письма египтяне, на каменных стелах. Важеватыми, строгими были содержания этих надписей и уж во всяком случае — значительными. Полными тайного смысла выглядели слова на граните,— иначе и не стоило бы трудиться — вырезывать их. «Медь торжественной латыни» звучала подобно трубе сквозь века.

В Конго бьют в огромный барабан негры; звуки тамтамов несутся по зарослям первобытных, сырых лесов, подхватываются другими тамтамами и так — условными ударами — передаются из бесконечного края в бесконечный край нужные известия. Только мгновение живет звук, два-три мгновения живет, раскатываясь и поглощая его, эхо, и снова наступает первобытная, извечная тишина лесов.

Там — тысячелетия известий, здесь — одно рокочущее мгновение; негры и египтяне — вот два полюса отношения к слову, к мысли, так или иначе запечатленному в знаках мира сего; и по поводу образа этих двух противоположностей — поставим вопрос:

К какому же способу запечатления принадлежит газета, пресса? К египетскому или к негрскому? Действует ли она лишь раскатом, теряющимся в далях, или, словно вырезанная на камне, остается на века?

По свойствам бумаги, по качествам самого изобретения Гутенберга — она должна словно быть сравниваемой со звуком тамтама. Газета ведь эфемерида, бабочка-поденка, живущая даже не полный день; газета ведь ценится только утра, тогда, когда подается к утреннему самовару; а опоздайте с газетой — в телефон уже рычат сердитые подписчики. К полудню уже вянет газета, а к вечеру осыпается, вот как осыпается сейчас осенняя черемуха за окном, перед которым я пишу эти строки.

Но тем не менее некоторое внутреннее сознание протестует в нас при признании газеты только лишь звуком тамтама, глухим раскатом, бесследно исчезающим в читательском лесу. Требуется нечто такое, что бы придавало прессе какое-то более важное значение, сдабривало бы ее отблеском вневременных и сверхценных элементов.

Журналист не только «тамтамит» об известных событиях подчеркивая оглушительными ударами свои дневные сенсации, «злобы дня», нет,— кроме того он подчеркивает ту либо иную значительность данного факта.

И от этой значительности — должна зависеть и продолжительность данного известия; бывает, правда, в прессе необходимо и то, что называется выдумкой, пробным шаром, знаком времени. Но горе ложной сенсации, рассчитанной на момент, если она не унесется с гулом барабана, ее родившего! Шумная пропаганда, попавши на тихую полку библиотеки, имеет лишь показательный исторический интерес; а агитационное воззвание, вырезанное на камне,— что способно пробудить оно в вас, кроме сознания своей бессильности временное запечатлеть в вечном!

Больше того. Если то, что имеет интерес только рева тамтама, собрать в книгу, поставить на полку в библиотеку, то, если это обыкновенно и не имеет характера пророчества, что бывает достаточно редко,— книга эта уподобляется сухому ложу пробегавшего здесь раньше ручейка. Она переживает саму себя. Там, где-то в другом месте, бежит ручеек жизни, и зеленеют берега его, а здесь — уныние и тоска неоправдавшихся мыслей, свидетельство их бесплодия.

И около книги этой да еще «N-ного тома собрания сочинений» так и видится фигура автора; жуткое зрелище умерших неоправдавшихся предсказаний, жуткое зрелище потухшего костра мыслей, пепел которого разносит бесстрастный ветерок...

— Жестокий суд над работой целой жизни...

* * *

Передо мной книга издания 1916 года Московского книгоиздательства:

— «Успокоение». Заметки провинциала.

Книга эта представляет из себя XVII том Собрания сочинений Е. Чирикова и, надо полагать, собрана из статей, писанных для какой-то прессы.

Теперь Чириков в эмиграции. Он эмигрант, он ярый антибольшевик. Теперь его сознание обогащено иным опытом.

Но в книге, в семнадцатом (!) томе сочинений, собраны публицистические произведения сего писателя, относящиеся

к 1911 году. То была эпоха Столыпина, эпоха, в которую Россия мужала, росла и крепла экономически очень сильно Но, к сожалению, в эту эпоху «сознание» писателя вовсе не следовало в качестве «надстройки» за тем материальным базисом, и это самое сознание российской пишущей братии одолевала тогда некая космическая скука.

Эта эпоха государственного укрепления расценивалась тогда как «эпоха беспощадной реакции».

«Успокоение» — иронически, ехидно называет эту эпоху Чириков в своих статьях, и изобретение Гутенберга и слабая древесная бумага еще сохраняют нам звуки его революционного тамтама. То, что маститый писатель писал тогда,— то никоим образом не соответствует тому, что он пишет теперь. И невольно думается: если существует действительно «голос совести», то он говорит писателю теперь густым басом:

— Ну и чепуху же вы писали, братец!

Все «Успокоение» — это истерическое кидание на русскую власть, на правительство. Видите ли, России дана в 1905 году «конституция», «как в Англии». А по-прежнему «права личности» и «гражданина» нарушают то один плохой губернатор, то другой злой полицмейстер. Те меры, которые принимает правительство, «глупы, тупы, неразвиты»:

> — Теперь все честное,— пишет наш писатель,— любящее родину, полезное для нее,— раз не носит клейма резиновой палки или не заявляет себя административным прихвостнем — берется под подозрение и оттесняется от общественной жизни, а что носит вышеуказанное клеймо — привлекается к ней
> И потому
>
> И сосут, сосут, голубчики,
> Беспрестанно, без конца,
> Строя собственные домики
> В поте белого лица...

Талантливое неустанное перо Евг. Чирикова воспроизводит некоторые «ужасные случаи».

Например, в то время начиналось движение «потешных Прошло полтора десятка лет с того момента, и мы видим как все государства ставят себе проблем воспитания в государственном и военном духе своей «смены». И фашистская бацилла, и большевистское пионерство, и английский бойскаутизм, и т. и т д.— все это явления одного порядка. Но стоило только

в России возникнуть в то время этой идее, как против нее восстали все и вся.

То была идея «потешных», идея неплохая, если взять ее в историческом аспекте. Из «потешных» при царе Петре возникла Россия, и, таким образом, никакой потешности в этом не было.

Но...

...— Дайте нам фельдфебеля в Вольтеры! — орет г. Чириков.— Германия победила Францию вовсе не школьным учителем!

Равняйтесь!
Шагом маршш!
Ешь глазами начальство!
Здорово, ребята!
— Здра-вия же-лаю, ваше высокор!..
Русь идет!
Ур-р-ра!..

И перо теперешнего эмигранта продолжает:

— О, если каждый житель с малолетства будет приучаться маршировать под музыку, если он с детства будет приучаться есть глазами начальство, как и кого зовут и величают (читай — царя),— он будет гореть любовью к родине и исполнится непобедимой храбрости...

Ну и чепуху же вы писали, братец! — говорит, вероятно, теперь Чирикову бас, голос совести.— Ах, какую чепуху! В неловкой форме, в неловком виде,— вы не узнали нужной правды... Вам правду надо было все осиянную, «сверкающую»... А полюбить ее национально-черненькой вы, разумеется, не могли...

— О Англия,— восклицает англичанин,— со всеми твоими недостатками я обожаю тебя!..

А вы — вы не шарахнулись от нужной правды в сторону.

Не знаю, что думал тогда маститый наш писатель, но думается — он Россию ненавидел...

Ненавидел из-за плохой полиции, плохих губернаторов, невоспитанных педагогов.

Только, видите ли, революция могла принести воспитанных педагогов, прекрасных учителей, великолепную милицию. И наш писатель злобно издевается тогда над описанием революции, над предупреждающими голосами:

В Царицыне,— с негодованием пишет Евг. Чириков,— на площади показывали «гидру революции».

Чудовище это представляло из себя дракона с распростертыми крыльями, готовящегося подняться на воздух. В длину «чудовище» имело около трех сажен. Голова его возвышалась сажени на полторы над землею, с раскрытой пастью. Из пасти высовывалось вроде стрелы «лютое жало»...

Снизу к чудищу были привязаны влачившиеся по земле красные и черные флаги: первые изображали флаги революционеров, вторые — флаги анархистов.

В раскрытой пасти чудовища был прикреплен лист картона, на котором было написано:

— Аз есмь революция, жена дьявола. В утробе моей сидят жиды и дураки русские, безбожники, клятвопреступники...

Это «чудовище» было сожжено, причем послушник Савва обратился к толпе с речью, в которой посмел выяснить значение происходившего:

Может быть, из вас кто-нибудь смотрит на совершающееся здесь зрелище как на простую шутку или на простую забаву? Нет! Перед нами совершаются события великой важности. Перед нами извлечена подлая революционная гидра на посмешище и позорное сожжение.

И Чириков продолжает дальше свои издевательства:

— К чему бы это? — спрашивает Иван Иванович.

— К юбилею! — отвечает его собеседник.

Очевидно, он намекает на предстоящий 300-летний юбилей дома Романовых.

Теперь мы только плюнем по поводу всех этих былых тирад Чирикова, а ведь тогда — он был «властителем дум»! Дешевые лавры! Властвовал и издевался,— душил все инстинктивные оборонительные движения русского народа, отпугивая от них интеллигенцию, смеясь над их неловкостью, и таким родом — обезглавливал их.

И пожалуй, в современном своем романе «Зверь бездны» Чириков более подходит к илиодоровскому пониманию революции, нежели к своим проповедям 18 лет тому назад. Но все-таки проблема революции висела в воздухе. Недавно тогда отшумел еще шумный 1905 год, проповедовались и другие возможности. Кричит ли наш публицист об опасности, которую он, обладая историческим опытом, исто-

рическим знанием и знаниями русской действительности, провидит, или же, наоборот, напускает соответственный революционный туман?

Он избирает второе, и в довольно оригинальной форме. Он утверждает: все эти гидры революции реального под собой ничего не имеют, а представляют из себя создание.. охранного отделения... Улыбнитесь, Сталин!

> — О том, что луна делана в Гамбурге,— пишет Чириков,— мы знали из «Записок сумасшедшего», а о том, что революция делается в охранных отделениях, очень наглядно увидали из истории с Азефом.. Революция в настоящее время выделывается не столько заграничными комитетами революционных партий, сколько самой охранкой, которой революция нужна, как вода для рыбы... Революция у нас давно обратилась в доходную статью с выигрышами в 200 000. Бомба, покушение, экспроприация стали неизбежными ступенями охранной и полицейской карьеры, и кто из чинов этого милого учреждения втайне не мечтает:
>
> Бомбочку бы... или покушеньице на собственную особу!..

И издевательство Чирикова идет дальше:

> Про высоких жандармских чинов известно, что масса сотрудников прекрасного пола состоит на казенном при них иждивении и «сотрудничество» их далеко не ограничивается одной политикой... Живо я представляю себе эффектную картину мобилизации молоденьких и хорошеньких шпионок:
>
> — Здорово, барышни!
>
> — Здравия желаем, папашка!

Веселый водевильчик, не правда ли? Очень жалко только, что он вышиб самого писателя Чирикова за границу и сделал его эмигрантом.

* *

В книге Чирикова много таких откровений; эти описания были гулкими звуками тамтама и теперь постоянно замирают. Но в то же время они учат многих, ох, многих писателей:

— Эй, братец, поберегись, придержи язык!.. Пиши так, чтобы это могло быть сохранено без всякого стыда для тебя

на будущие времена. Смотри, чтобы твои писания соответствовали истине... А то, если будут «прогнозы» на манер Чирикова,— удирать придется!

Для этого есть хорошее английское правило:

Выжидай и смотри!

— А когда же писать? — спросит какой-нибудь «писатель».

Так что ж? — отвечу я ему.— Можно... того... и не писать! Это ведь не обязательно!

Финал русской интеллигенции

Недавно появившееся в «Последних новостях» «Письмо из Москвы» об интеллигенции в эмиграции наделало много шуму. В этом письме некий автор, скрытый под псевдонимом И. А., наговорил эмиграции много неприятных вещей. И не нужна-то эмиграция, и Россия ее «не примет», и Россия «ее боится», и т. д. и т. д.

Эти разговоры пошли довольно круто и вызвали известные «гадания», которым предаются зарубежные талантливые фельетонисты:

— Любит Россия эмиграцию, не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет?

И так далее. Должно, однако, сказать, что, во-первых, кокетливое одергивание эмиграцией своих одежд перед возвращением «туда» должно почесться несколько преждевременным. Ощипывание маргариток — дело изящное, но к моменту решительно неподходящее.

— В такие времена, как наши, чеховские настроения неподходящи.

Какие же подходящи? А вот какие. Те, которые характеризуются волевой насыщенностью. Серебряковское профессорское («Дядя Ваня») — «Ах, господа, дело надо делать, дело!» — не годится для наших дней. Эмиграция должна ясно и отчетливо понять, что в то время, покамест она странствовала по городам и весям, иногда даже не без приятности,— в революционной России-то самой кипела как-никак, а волевая работа.

Революция пробудила волю в самом народе — вот что мы должны помнить. Правда, воля эта манифестировалась чрезвычайно бурно, нелепо, разражалась в эксцессах, но все же это были запасы человеческой русской энергии, проявлявшиеся тем эффективнее, чем более были заострены полюсы социальных противоречий. Большевизм потому именно брал верх, что его руководители умели своими бросаемыми лозунгами раскрывать массивы этой накопившейся энергии. И если эта энергия была направлена на гражданскую войну, то есть на борьбу против определенных реальных классов, то только потому, что первичным оспорным, психологически по-

нятным движением народа всегда является тенденция гипостазировать, воплощать в определенное лицо причину раздражающих неурядиц...

— Долой виновников государственного нестроения! кричал бунтовавший в 1917 году народ.— Долой представителей старого режима!

И, собственно, только внутреннее темное, чудовищное убеждение, что это справедливо, заставляло русский народ совершать все те жестокости, все те зверства, которые он совершил. Даже матросы, бросая своих офицеров в воду, были убеждены, что это «справедливо».

Внушил ли это кто им, были они в этом убеждены — это уже второстепенно.

* * *

Волевое напряжение первых дней революции осталось в народе в дальнейшем; именно это напряжение характеризует собой большевистский режим. Делать, делать во что бы то ни стало!

Развертываются грандиозные планы, опьяняющие участников известной поэзией творчества. Планетарные размеры разных электростроев захватывают дух. Индустриализация должна быть такой, что должна переплюнуть все существующие государства. Армия должна быть такая, чтобы быть могучее всех... Это ли не программа?

Оговорюсь, что я здесь имею в виду не то скрытое лукавство, которое отмечает выбрасывание таких лозунгов со стороны власть имущих, а народное то убеждение, что власть действительно кипит волей и энергией. А такое убеждение, конечно, есть. Как-никак, а надо сознаться в том, что большевистская власть импонирует народу своей кипучестью, которой совершенно не замечалось в контрреволюционных выступлениях. В контрреволюционных выступлениях до сей поры замечалось лишь одно:

— Злорадство тому, что у революционеров ничего не удавалось, а затем, при захвате власти, слишком подчеркнутый рачий ход назад на всех парусах.

А между тем нужно забыть и думать теперь — отнять народа пробужденную волю к действию. Народ, преимущественно крестьянин — никогда больше не откажется ни от своей воли, которую будил в нем еще Петр Аркадьевич Столыпин, ни от своего мужичьего деятеля. Как сжатая сталь-

ная пружина наполнена стремлением расправиться и прыгнуть, так напряжен и натянут мужик стремлением работать, то есть стремлением, которому не может дать удовлетворение никакая диктатура.

И если эта воля — есть сила, то мы стоим перед российской действительной демократией. Работать, работать, работать — вот на что направлена воля народа.

* * *

Да, но работать-то не по-серебряковски.

Если эмиграция будет заниматься ощипыванием маргариток,— конечно, она может это делать на Лазурном берегу и в садах Версаля, где угодно,— тогда вывод ясен:

— Не любит!

Если эмиграция будет основывать свою работу на старом классовом принципе своего прирожденного превосходства, командирства и руководительства, опирающегося на старый авторитет, на чины, звания и так далее,— то из этого тоже ничего не выйдет.

Но если эмиграция сумеет связаться с подлинными внутринародными линиями, если она, действительно, теперь «пойдет в народ», что столь неудачно было проделано в 80-х годах,— то она будет принята отлично, но еще с тем практическим жизненным опытом, который она приобрела от своих испытаний, от поучительных массовых странствований по чужим странам.

Эмиграция должна поставить себе задачу служить мужику, а не руководить им. Со стороны внутрироссийского мужика (употребляю это слово в собирательном смысле) должно прийти то инстинктивное здоровое чутье, которое всегда руководит народом в его соборности.

Народ не может быть увлечен окончательно и бесповоротно в пропасть, и если его государствоведы убежали за границу или служат «чистой науке» — он сам и без них построит то государство, которое ему нужно. Построит по-пчелиному, по-муравьиному — вслепую, инстинктом.

Вот тут-то и понадобится интеллигенция, чтобы устранить эту слепоту, чтобы помочь тому, что должно прийти. Потеряв свои права на руководящее значение свое, в качестве теоретической изыскательницы путей, интеллигенция должна напитаться внутриродовым, стихийным русским чутьем, чутьем земли, и через это самое стать национальной,

потому что национализм — это внутреннее чутье, чутье связи, родства, голос крови и голос жизни, связывающий отдельного человека с его родом и государством.

Мужик и его мужичий царь строили российское государство, и духом их строительства, лукавым, смелым, житейски сильным и в то же время высокоблагочестивым, должна наполниться русская интеллигенция. Тогда решение маргаритки, оборванной где-нибудь в Люксембургском саду или на берегу Сунгари, будет:

Любит!

*

Интеллигенция должна на себя взять подвиг — идти в батраки к мужику — и должна иметь мужество сознаться, что в своих поисках правды государственной, в пробе новых строев — практически — в этих изысканиях мужик далеко превзошел ее. А главное — он превзошел ее в том, что он, мужик, хозяин земли.

И вот этому-то мужику, царственно сидящему на земле, любящему ее, молящемуся ей и небу, почитающему Николу Угодника, обходящего поля, должна служить интеллигенция своими суперфосфатами, тракторами, севооборотами, малыми и большими индустриями, радио и газетами и прочими мудростями, не нарушающими, а усовершенствующими ход природы.

— Смирись, гордый человек! — вот теперешняя задача интеллигента; смирись и смотри, как справляется покамест без тебя, зарубежный житель, покинутый всеми обманываемый русский мужик, ищущий помощи только у Бога... Смирись и пока не поздно — приди и поклонись мужику в ножки и скажи:

Ваше степенство! Ты, брат, мной командуй, что надо делать: прикажи, чему тебя надо учить, вразуми, как надо говорить... А я тебя научу разным заморским штукам, которыми ты и правь, потому что ты Хозяин!

Кончится тогда городская интеллигенция, выращенная из пыльных известковых Подьячевских улиц Питера, вскормленная бессонными ночами над западными начетчиками, и пахнет землей, хлебом и медовыми лугами облаченная в разум воля, русская энергия.

Власть земли

Вероятно, я никогда не забуду этой сцены.

Я в сообществе некоторых других преподавателей Пермского университета бродил с мешком за плечами в окрестностях Перми, взыскуя питания. Было это летом 1918 года...

И вот в одной избе, куда мы зашли с предложением «мены» каких-то остатков одежд, мы смотрели на кипящий на столе самовар, на разные шаньги и ватрушки, лежащие и красовавшиеся вокруг, а разговаривали с невидимым нам хозяином всех этих благ

Хозяин этот вальяжно лежал на полатях, и нам зримы были только две босые ноги да поднятые колени в штанах «фантази», раньше нас сменивших какого-то обладателя визитки на носителя косоворотки.

Мы просили продать хлеба, а лежащий на полатях нам категорически, не стесняясь в выражениях, отказывал:

Самому нужно! — говорил он.— На что мне деньги — вон две бутылки керенок закопано, куда ко псу!

Мой коллега, проф. В. извлек из мешка какое-то помятое дамское платье.

— Ну вот вам вещи! — конфузливо сказал он.— Платье!

На полатях послышалось шевеление, и на секунду показалась лохматая голова.

Ну нешто нам сгодится! Нет! Не надо!

А что ж вам надо? в голос спросили мы.

Зерькало,— отвечал голос с печки. И прибавил: Большо-о-ое!

Но зеркала у нас не было, мы вышли и побрели дальше, смотря на предуральские прохладные угоры, залитые солнцем и зеленым пихтачом...

О, это был большой удар для нашего самолюбия.

Мерзавец! — шептал проф. В. милейший, добрейший человек.— Нет, каков тон...

И после небольшого молчания прибавил презрительно:

— Муж-ж-жик!

* * *

Да, но факт оставался фактом.

Мужик оставался там в натопленной избе (была уже осень), его ждали шаньги и прочая снедь, а мы, два «барина», или, если угодно, два интеллигента, с мешками на плечах шагали по угорам.

Изба принадлежала мужику накрепко, он жил в ней, а в городе у нас была «квартира», за которую мы платили ничего не стоящими бумажками, были семьи, которые и снабдили нас этими мешками, была «наука» и были фотографии с «итальянских мастеров»...

На пароход в город мы опоздали, потому что не нашли ночью лодки на небольшой речушке, которую нужно было переехать, и потому ночевали в заброшенной барке, которую выбросил на луг разлив Камы, жались от утреннего холода, и, хотя милейший В. рассказывал любопытные тонкие анекдоты о рассеянности графа Велиегорского, известного композитора, я никак не мог забыть той иллюстрации к происшедшему в России, которую показала мне жизнь:

— Зерькало бы!

В чем был смысл этой картины?

Да в том, что, несмотря на свою «необразованность», этот мужик оказался в положении лучшем, нежели наше.

Образованность говорила о народной правде и справедливости, о братстве народов, и в результате крестьянин, ехавший значительно тише, оказался значительно дальше... Он как-никак, а живет. Он связан не с переменчивым разоренным обществом с внутриклассовыми взаимоотношениями, которые подвергаются «ломке», а с прочной землей, на которой он сидит, на которой разложен его очаг, и накрыт кровом. И этот занятый человеком пункт на земле — и есть с о б с т в е н н о с т ь, начало культуры, откуда давно мы ушли и куда свалились теперь обратно, разрушив известные «надстройки».

Одним словом, эта ночь двух бездомных интеллигентов в пустой барке оказалась великолепным семинарием по теории земельной собственности, как ячейки гражданской общины, по Фюстель де Куланжу.

О, я завидовал, прямо завидовал этому самому мужику. Вот где хозяин, строгий и грозный. Лежит себе на своей земле.

А мы — что?
Мы — дачники!

* * *

Эмиграция была до некоторой степени единственным следствием невозможности такого положения вещей; и когда интеллигенция ушла — к мужику обратились коммунисты с рационалистическими предложениями:

Социализм — это учет... Все, что производит мужик, должно быть переписано (против этого мужик ничего не имел) и должно быть о т д а н о на построение фабрик — этих храмов безбожного общества (это не могло встретить одобрения мужика ни в коем случае).

Мужик встретил отбирающего хлеб коммуниста не более почетно, чем встречал нас, приносивших ему вещи. И если коммунист по своей неделикатности и стаскивал мужика с теплых полатей, то все же это не вело к улучшению отношений.

Интеллигентский город был мягок и простодушен, и от него кое-что перепадало мужику. Коммунистический город стал тем чудовищным поглотителем, которого никак не накормишь, причем он ничего не давал мужику, кроме громких фраз.

Справиться с этим городом было потруднее, потому что свой брат «бедняк» давал городу указания за известный процент, что и у кого можно отнять, но м у ж и к с п р а в и л с я:

И теперь Сталин стоит перед лежащим на полатях мужиком и просит дать хлеба, предлагая «индустрию».

— Зерькало бы я взял! — слышится лениво с этих полатей.

И естественно, что начавший поход против каждого хозяина и хозяйства на земле пролетариат должен уничтожить и этого хозяина:

— Сначала для этого были карательные экспедиции, а потом колхозы и совхозы... Вместо дома, очага, земли проектируется создать «фабрики» зерна, семью заменить клубом, а дом — смрадным логовом для ночевки земельного люмпен-пролетариата.

Пока что мужик все же возлежит на своих полатях, и по-прежнему нетоплены квартиры в городских домах, по-прежнему они переполнены, по-прежнему в городе нет ни настоящей жизни, ни настоящей деятельности... Все попытки вертеть мужиком встречают решительный и почти космический отпор:

— Повторяется еще раз дело Коперника. Не мужик хо-

дит на помочах у интеллигентных социальных мечтателей, реформаторов, революционеров, а все они в своем существовании движутся вокруг мужика.

Земная ось, земная ось
Проникает мир насквозь!..

И тут ничего не поделаешь.
Смирись, гордый человек!

Разлив революции вымыл фигуру мужика из-под разных напластований исторической чепухи. И из земли стали выпирать очертания его гигантской фигуры, как из какого-нибудь яра могучего Енисея выпирает иногда туша допотопного мамонта.

Оказалось, что та политика, которая создала русское государство и которая состояла в закреплении земли при помощи крестьянства и создании в последующем русского общества на его основе, приобретает достоверность убедительную и потрясающую. «Крепостное право было теми лесами, при помощи которых была выстроена Россия»,— писал Данилевский («Россия и Европа»). Но нужен был опыт, чтобы убедиться во власти земли и в том, что шатущим пролетаризованным элементом никакого государства не создашь. Мужик всегда прикреплен к земле, как гвоздь, вбитый в тес, и если государство — есть в старом языке — земля, то это государство держится на мужике.

И как нам ни обидно было терпеть вышеупомянутое «заушение фактом» в тот сентябрьский ясный день под Пермью, все же ясно, что тот только правит землей, кто сидит на земле.

Если возможно было то огромное недоразумение, которое произошло в революцию, то только потому, что слишком далеки были между собой два слоя — мы с проф. В., с одной стороны, и мужик в штанах «фантази», задравши ноги возлежавший на полатях.

И если рабочий тоже пришел к мужику с требованием кормить его, то только потому, что интеллигент спровоцировал на это рабочего, уверив его недалекий, доверчивый ум, что-де «веления науки» таковы.

Интеллигенция врала на науку, ошалевший от сверкания машин темный рабочий поверил интеллигенту, и они «начали творить новую жизнь»...

А жизнь — увы! Стара, стара, как мир! Стара, как Библия..

*

В поте лица ты ешь хлеб твой! — сказала Библия.

В поте — от земли, от труда над ней. Земля — материя, которую должен преодолеть труд человека. Тогда получится культура. И даже то, что необходимо для индустрии, то тоже произведено недрами той же земли. Земля — везде и повсюду Она неотвратима, как неотвратим голод тех, кто с ней в ссоре, как неотвратим холод тех, над кем нет крова

Власть земли — страшная власть, власть вседержащая, хотя и темная, грубая, нелепая, как ноги в штанах «фантази» валяющегося на полатях мужика.

Но жизнь хотя и груба, но права. И когда я слышу по поводу моей прошлой статьи о «финале интеллигенции» горячие возражения на ту гордую тему, что как-де, мол, «я да буду кланяться мужику?» — я могу сказать только одно:

— Немало горьких минут я сам пережил в ту холодную ночь в барке, слыша утонченно-изысканные наивные анекдоты под мерцание крупных осенних звезд... И я ясно понимал, что прибавь этому человеку, мужику, сидящему на земле и работающему на ней, то, что мы считали только достоянием «интеллигенции», то есть известную долю воспитания, гражданских обязанностей, сознания своей силы и своего долга перед родиной, прибавь нам загодя больше превалирующего внимания к нему, к его нуждам, а не к красотам «крестьянских мастеров», не к «прогрессу демократии на Западе», не к «достижениям русского балета», не к «Руссо и французской революции»,— не были бы заострены так противоречия, выбросившие тогда нас с проф. В. на ночевку под барку, не теряли бы теперь мы бесплодно нашего времени в нудном эмигрантском житье-бытье за то, что мы пренебрегли властью земли.

Крестьянин и рабочий

Два титана, на которых в современном понимании покоится мир; союз серпа и молота; сплетение мускулистых рук, взаимно поддерживающих друг друга, и прочая известная символика.

Но, всматриваясь в очертания этих мускулистых фигур, опершихся на свои геральдические атрибуты, невольно видишь, что этой смычки нет; между крестьянином и рабочим, говоря языком современности,— многообещающие ножницы, то есть — расхождение.

Как Иван Иванович и Иван Никифорович, эти два близнеца современной социальной мысли характеризуются весьма различно и в своих устремлениях идут по противоположным направлениям.

Крестьянин — это поклонник золотого поля колосящейся ржи... Начиная с весны, когда он постукиванием по сельскохозяйственным чинимым орудиям открывает «весенний сезон», через лето, через «страду», к пышущей довольством и плодами осени — крестьянин идет рука об руку с природой. Общеизвестен словарь крестьянских примет, присловий, поговорок... Наконец приходит белая зима, и зима проходит, как праздник, как спокойный отдых от работы.

В тот миг, когда крестьянин бросает зерна в разрыхленную, жирную землю, когда покрывает он их движением подпрыгивающей бороны, причем сзади боком прискакивают веселые галки, таская из борозд темно-рубиновых червей, под пение жаворонка, затерянного в небесной выси,— вся эта обстановка не может не оставлять впечатления в душе крестьянина. Он чувствует благодарность доброй и милосердной природе, которая требует от него только одного, сравнительно легкого и приятного момента — извечного обсеменения земли и за то вознаграждает его так буквально, как не вознаградит ни один банк,— сторицей. Крестьянин чувствует роскошь наливающейся колосящей нивы, видит благодетельный топаз туч, восходящих из-за края неба обещающих крупным живительным дождем пролиться на ниву.. Он, ночуя в «ночном», видит кочующие в болотах и низинах ночные туманы, слышит шепоты леса и странные

ночные звуки и по необходимости настроен мистически. «Уроди мне, Боже, хлеб, мое богатство!» — говорит он, и это не пустые слова. Человек в сельской жизни ближе к природе, чище, святее, одухотвореннее... Природа возвышается над ним, как нечто великое и трансцендентное, выходящее вон из пределов человеческого разумения, и человек мал перед ней.

Нет картины более трогательной, нежели смотреть, как перед закатом румяно-красного вечернего солнца стоит перед своей полосой крестьянин и смотрит на нее. Здесь в свободном созерцании лежат перед ним результаты его труда. То, что родилось на ней, что Бог дал,— результаты его работы и сознание благословения Божьего. Если бы частым холодным грохотом низвергся бы на полосу язвительный град, если бы снежный покров зимой оказался бы тонким, если бы в веселое время цветения ржи не было бы ветров, легко переносящих животворную пыльцу,— его нива была бы бесплодна. Космический порядок,— вот что видит крестьянин в этом сочетании, и поэтому Бог для него — не опиум, а такой же его пособник и такой же крестьянин, как и он сам. Бог приходит к нему «на помощъ», седой, мощный Саваоф, с мужичьей бородой, и с ним все святые. Крестьянин в затерянности своей, среди полей, на сравнительно большой с человеком площади земли чувствует себя свободным хозяином, находящимся под покровительством Хозяина Небесного. Это — установленное миропонимание крестьянина, и нарушить его трудно, даже невозможно.

Это миропонимание приводит также к тому, что крестьянин отлично различает и моральные качества других своих «суседей». Он неотвратимым образом ищет истовости, консервативности в своих крестьянских делах и в православии находит полное отражение и заострение этого элемента. Церковь, затерянная среди бескрайних златых полей русского пейзажа,— это полное выражение слиянности веры с делом. Опиум! Только в пролетарской пустой душе, заиндевевшей от требования «критичности», могло родиться это жалкое, смешное, курьезное понятие...

* * *

Крестьянин — весь под небом, под чистыми его красками, под пылающим золотым солнцем. Как бы ни «чернить» «крестьянские нужды»,— этих красок никак не погасить.

Крестьянин видит и восходы, и закаты, и звезды, и природу все то, что не видит городской рабочий.

Вместо неба — черная, прокопченная крыша фабрики, вместо жирной, благоухающей земли — скрежет резца по металлу на вертящемся станке. Непрерывный бег перехлестывающихся ремней. Вонь и угар, шип уносящегося белого пара, метанье рычагов, грохот молота по болванке, смерть, нависшая на кранах, на цепях трансмиссий.

Может ли рабочий тут чувствовать себя хозяином,- смотреть в спокойные, бескрайние дали всепримиряющей природы?

— Нет! Конечно, нет!.. Машины — есть грохот воплощенного холодного разума, холодного исчисления, мертвящего однообразия. Рабочий — есть раб этих машин, и против них он питает известную злобу. Он — революционер всегда. Его сила покорена чужой силе; в чьих руках бы — хозяина или комитета — эта сила ни находилась бы, она всегда враждебна силе отдельного человека.

Крестьянин добр. Рабочий зол. Один консерватор, другой — революционер.

Крестьянин верит в Бога, потому что в явлениях природы он имеет свое «откровение в грозе и буре». Рабочий имеет дело с машинами, сделанными людьми, и потому убежден, что только люди всемогущи, а «богов нет». Идеалом крестьянина является согласование своих поступков с высшей правдой Божьей, которую он чует в щедрости природы или в гневе ее. Идеалом рабочего служит желание стать всемогущим, как человек, создающий машины. Крестьянин в поле маленькая песчинка. Рабочий в городе мнит себя выше крыш домов, высотой с фабричные трубы.

Соответственно этому жизнь крестьянина закончена, и он требует только одного, чтобы не разлучали его с землей, в чем выражается его привязанность к собственности. Жизнь рабочего не закончена; он стремится строить дальше, выше, строить без конца. Пролетарий — без собственности; владеет всем и ничем, поглощенный рассчитывательной силой своих руководителей. Не он «владеет» фабрикой, а фабрика тянет его с собой, втягивает в свои валы и зубцы, плющит, как плющит она бумажную массу и дает лист бумаги. Крестьянин всегда свободнее, всегда независимее от человеческой власти и не интересуется властью. Рабочий страдает от организующей силы, мечтает о власти, и потому он — деспот.

* *

Россия — издавна страна земледельческая, крестьянская, но дым, распространяемый фабриками, а равным образом и дым, распространившийся университетами и прочими школами, в «индустриализации» страны видевшими, согласно марксистскому учению, тот котел, в котором должно вывариваться крестьянство прежде, нежели вступить в «светлое царство социализма»,— этот дым, ослепив многих, заставил применять к крестьянам те методы, которыми может управляться фабричный город. Деревню стали равнять фабрике, с той же непреложностью предъявляя требования крестьянам, с какой эти требования предъявляются рабочим, а свободного крестьянина-хозяина стали превращать в раба своей земли, крепостить его.

Результаты известны. Деревня ответила городу пассивным сопротивлением,— ведь у крестьянина еще нет навыка к организации. Современная деревня объявила бойкот городу. А с этим бойкотом, с этим пассивным сопротивлением город стал хиреть. Русский город с его фабричной индустриальной жизнью похож на сынка богатого крестьянина, который, пользуясь не им самим нажитым добром, позволяет себе разные новаторства. Очень плохо кончились все эти новаторства для современного русского города! Он стал лишь жалкой счетной машиной (социализм — это учет!), причем считать-то становится нечего. Вместе с тем никнет и «продукция» на фабриках. Как бы нас ни убеждали разные издания и разные «планы» и «конъюнктуры»,— совершенно очевидно, что тот капитал, который дает возможность стране приобрести новые средства производства — машины,— лежит только на мужике; мужик, давая эти средства на покупку этих средств производства, сажает на свои плечи нового барина — город и рабочего, которые желают им командовать в силу своего заслуженного перед революцией пролетарского происхождения. Вследствие этого, со стороны мужика вполне понятен бойкот отпуска этих средств в виде «излишков». С другой стороны, так как все средства мужика идут пока на невольные приобретения «средств производства», то некому и не на что покупать продукты производства, насаждаемые промышленностью, и она бесспорно хиреет.

В России идет сейчас любопытный процесс.

Все меньше и меньше вьется дым из фабричных труб; все

меньше и меньше значения имеет город, а вместе с этим и городские обитатели*

Рабочий желал бы командовать крестьянином, как он командует армией, «опираясь на силу науки», «на авторитет достижений».

Крестьянин же ясно видит, что все эти фабрики построены на его земле, на его спине, за его мужичий счет. Он видит, что никакой особенной «науки», никаких особенных «достижений» в деле рабочего нет, кроме стремления командовать им, мужиком. И пока у рабочего в руках красная армия, мужик пускает в ход все средства пассивного сопротивления.

Уже нет в России «хлебозаготовок», нет просто хлеба; прокопченный дымом мастерской рабочий-диктатор не может выколотить себе хлеба просто на обед. Технические государственные учреждения — ж. дороги, фабрики и так далее — все это постепенно замирает. Теряет значение город, а приобретает значение мужик, одетый в домотканину, стоящий на берегу моря жизни — на краю хлебной полоски и зорко всматривающийся в нее, чтобы она не дала излишнего для тех, кто хочет ехать на нем ради кичливых завоеваний «европейской» науки.

Идет время мужичье, идет время простой, практической, здоровой русской сметки.

Идет время национальное.

Пройдет еще немного времени, и мы, немногие, которые понимаем, что происходит, очутимся одни лицом к лицу с крестьянским морем.

Гневным, грозным, величественным, но небывало жестоким.

Это будет тогда, когда красная армия от дискредитировавшего себя рабочего перейдет к обездоленному крестьянству.

Это будет пострашнее Пугачевского бунта, и немногие из «интеллигенции» найдут в себе мужество примкнуть к этому движению.

А потом — тех из эмигрантов, интеллигентов и спецов, которые уцелеют душой и телом, пригласит к себе на честную и нехитрую службу мужик, без влияний, декадентских устремлений и без всяких парламентарных гарантий.

---

* Писано в 1928 году.— *В. И.*

Об эмигрантской литературе

Несмотря на многочисленные упражнения на страницах газет и журналов местных же писателей, пыльные стогна Харбина никак не могут почесться цветущим вертоградом российской литературы.

Розы элоквенции и изящества прекрасных искусств хоть убей не расцветают на наших литературных лугах, которые напротив, являют вид печальный, пропыленный, протоптанный, подобный лугам за Сунгари.

Харбинские эмигрантские беллетристы и иже с ними, которые в своих рассказиках помещают то лирические переживания при встрече с некоей обворожительной девушкой, то копаются в воспоминаниях, расплываясь в сладкой и теплой водице, не подозревают, в каких возможностях сюжетов они пребывают. Тайга, вечная и немая, сопками покрывает границы с Россией с востока; многоводный Амур обозначает их с севера, а с запада идет бесконечная монгольская степь, однообразными волнами уходят там предгорья и сопки, где в осенней вечерней дымке играют самоцветы лиловые, синие, бирюзовые и пурпурные — пустынных далей... И в этих с трудом проходимых безлюдьях, где посвистывают тарбаганы, где стоят идолы в тряпках, где подчас, крадучись по-кошачьи, проходит царь тайги — тигр, проложены тропы русских контрабандистов и других смелых и вольных людей, грудь которых дышит так же свободно теперь, как она дышала и раньше, и которые тайными, едва заметными незримыми тропами проводят «за границу» в спасительный Китай русских граждан — беженцев из собственной страны.

С каким Одиссеем сравнится рассказ нескольких предприимчивых людей, который я слышал в Шанхае... На утлой и легкой китайской шаланде, поставив драный парус, тенью скользнули они из Владивостока, из Амурского залива, и ночью, при луне, закрытой мчащимися облаками, скакали по тяжелым, шумным волнам подальше от русских берегов. Только по каким-то огням, по кострам, горевшим на берегу, ориентировались они; когда же, пропутавшись сутки в море, приблизились они к берегу, считая, что достигли спасительной чужой земли,— их «покрыли» из пулемета. И наконец,

после нескольких дней плавания наугад, усталые, измученные грозным и шумным открытым морем, высадились они в Сейсине, где... сейчас же, как предприимчивые финикийцы, занялись торговлей, ибо с собой вывезли и часть своих товаров как валюту, на которую можно было «перевернуться»...

Давным-давно воспет Омулевским «славное море, священный Байкал», который переплывает — на бочке из-под омулей — беглый с Сахалина. Личность явно предосудительная, этот беглый до сих пор пользуется еще почетом у русской интеллигенции как непереваренный остаток укоренившегося представления о «тяготах» прежней жизни. Тяготы настоящих дней как-то упорно не находят себе эмигрантского писателя. Нет! В них упорно не видят ни человеческой воли, ни человеческой правоты, ни острых тех переживаний, которые заставляют поставить на карту все — жизнь, близких и так далее и брести проводником, а часто и так, по компасу, взыскуя одного лишь — воли, воли, воли от невыносимого гнета во что бы то ни стало.

Что бы с этими сюжетами сделал Джек Лондон! С какой неизреченной любовью к огню в человеческой обыденной, загнанной душе подошел бы он, этот гениальный писатель, к таким переживаниям... Как описал бы он Восток, который у нас на глазах. Как описал бы он беженца, покидающего свое — свое! — государство, встречающегося с остатками такого же беженца, как и он сам, но задранного тигром. Как описал бы он, как отец, усадив под Благовещенском в лодку двоих ребят, велит девочке играть в куклу, и так они едут мимо пограничного поста, показывают, что катаются. Ребенок играет, ребенок представляется, ребенок боится, и наконец — лодка поворачивает перпендикулярно к берегу и начинает уходить на противоположную сторону, к заветному Китаю... Девочка с куклой обманула пограничников, девочка с куклой убедила их, что отец везет детей кататься. И только тогда, когда лодка уже далеко, начинается стрельба, и пуля пробивает фарфоровую, раскрашенную, румяную голову куклы... И девочка плачет, потому что у ней убита кукла, отец крестится, потому что жива девочка..

Есть в настоящее время в душе русского народа огромные, неизведанные моря переживаний, настроений, при одном подходе к которым кружится голова... Как у одного пешехода — ободранные ноги и желтоватый янтарный гной ран от пыли розовеет кровью,— так ободрана душа русского народа... И, конечно, эти новые переживания, которых он не име

раньше, реальны, должны иметь последствия... Они должны перевернуть весь духовный строй народа русского, пробудить в нем любовь, нет — не любовь, а томительную жажду участливого, деловитого к себе отношения...

Но «мы ленивы и нелюбопытны»... И заповедная далекая окраина, к которой добираются с таким трудом, оказывается царством шаблона мысли, могучего человеческого шаблона... Живая человеческая мысль замирает, пропадает усилие, в котором талант писателя ввинчивается в толпу действительности, и на месте всех этих возможных переживаний воцаряется тупой и никому не нужный трафарет; наши писатели пишут:

Бывший офицер, безработный Иван Иванович, сидел на скамье около Чурина, и ему мучительно хотелось есть... Вдруг в проходившей мимо него женщине в шелковых тонких чулках на упругих ногах он узнал подругу своей молодости, Валю... Он был тогда блестящим корнетом и горел желанием положить живот на славу России. И т д.

— О, шаблон, по которому пишут беженские писатели!

И, конечно, Валя его узнает, она — бубикопф и пала, она живет с каким-то гадким иностранцем, а Иван Иванович тихо плачет о прошлом, сидя в харчевке на Зеленом Базаре, вспоминая лихие конные атаки и пропивая подаренный Валей «золотой»! Непременно, г-да, «золотой»!

Итак, за десять лет литературы Харбин ничего не дал!

Нет! Есть еще порох в пороховницах. Если у нас нет литературы, то есть люди — люди свежее воды и сильнее литературы. Незаметные люди, которые движутся сами по неисследованным тропам молодого русского духа и устраивают жизнь так, как нужно...

Устраивают наперекор стихиям, наперекор обстоятельствам, бегут из Сов. России, шоферят на трескучих «фордах», рубят лес на концессиях, укатывают мостовые на вальках, принимают самые разнообразные подданства, вплоть до советского, и через бурю наших дней проводят начала жизни во что бы то ни стало, жизни цепкой, сильной и умудренной,— вот так, как жил репейник в толстовском рассказе о Хаджи Мурате...

А литература?

А, черт с ней, с литературой!

— Что в ней, раз в ней нет жизни?

* * *

Неважно дело обстоит с поэтами.

С другой стороны и лучше.

Поэт — интуитивен. Сократ еще уподоблял поэтов оракулу, который сам не знает, откуда он берет свои пророчества.

Поэт — антенна, которая воспринимает то, что носится в воздухе, по радио времени.

Но все-таки есть предел этой восприимчивости; при каком-то повороте этой восприимчивости — необходимо оформить действительность в понятиях... Интуитивность — при общей серости — вот типическая черта современных поэтов.

Тут-то начинаются ухищрения: тогда начинается погоня за рифмой, за этим «визгом подпилка», по выражению Верлена, который опиливает концы стихов... Аллитерации, рифмы, глухие и звонкие, ассонансы и так далее фейерверком льются из стиха. Получается впечатление, что поэт слушает сам себя.

Да, сам себя... Никому, собственно говоря, он не нужен, никто не загорится от его прикосновения. Самое большее, что скажут:

— А ловко, с...с..., описал!

И только. И пройдут мимо. А на поэта смотрят странным, непонимающим взглядом...

И становится понятной та жестокая истина, что та литература, которая существует сейчас, н е н у ж н а. Да, не нужна. Как не нужны бывают изысканные слова там, где слез полны глаза и ко рту прижат мокрый платок...

Можно зачеркнуть поэтическую литературу от Бальмонта и до Пастернака и от нее ничего не останется... Ничего замечательного, никакой судороги жизни. «Литературочка»* — не формует жизни, а идет по жизни как-то сама по себе... Попусту, как белая мышка у китайца-гадальщика, носящаяся в колесике.

И страшное ощущение этой пустоты, пустого бряцания формой, удивительно подмечено старым пророком наших дней — Баратынским:

Когда на греческий амвон,
Когда на римскую трибуну
Оратор восходил и славословил он
Или оплакивал народную Фортуну —
И обращалися все взоры на него,

---

* В. В. Розанов.

И силой слова своего
Витиия властвовал народным произволом,
— Он знал, кто он, он ведать мог,
Какой могучий правит бог
Его божественным глаголом...
А ныне кто у наших лир
Их дружелюбной тайны просит?
Кого за нами в горний мир
Опальный голос их уносит?
Его полет высок иль нет,
Сам судия и подсудимый
Пусть молвит: — песнопевца жар
Смешной недуг иль высший дар? —
— Решит вопрос неразрешимый...
Среди безжизненного сна,
Средь гробового хлада света
Своею ласкою поэта
Ты, рифма, радуешь одна...

Но игра пестрыми звонкими камешками созвучий — или это не отрешенность от потока жизни, не осужденность на бесплодие?

За зеленой лампой

Так и представляется — широкий, большой кабинет там, в уютных переулках Москвы, живой сетью оплетающих Арбат. Стены покрывают фотографии и рисунки, и не один, а целые десятки, развешанные строго, любовно. Здесь военные в старинных, узких в талии мундирах, высоких воротниках и туго замотанных галстуках, с прическами а ля купль, с крутыми, высокими лбами. Статские — в широких, наоборот, сюртуках, с бархатными и шелковыми отворотами, в длинных волосах, раскинувшиеся на мягких софах, поджавши под себя одну ногу, иногда — курящие длинные трубки, дамы — в высоких строгих воротниках, длинных рукавах с буфами, в платьях, подобранных, как облака, на бедрах, с высокой грудью, затянутой в корсет с гладкими шелковыми лифами, кончающимися длинным мыском.

Среди теплого ровного шоколадного тона фотографий, среди всех этих квадратов, прямоугольников, овалов портретов, отливающих полированным орехом рамок, медным кантиком обводки, блестящих иногда вкось отсвеченным окном,— как нежные переливчатые жемчуга блестят матовыми красками миниатюры... И опять тот же смелый, властный характер мужских лиц, опять певучая нежность и гладко причесанная прелесть женских, изящная грация манерно немного склоненных набок голов, которые обегают волной ниспадающие локоны... И посредине, в голубой рамке-коробочке под стеклом, в тусклом золоте оправы, пропыленный и словно помертвелый, вензель из чьих-то каштановых волос — А. и Р

Широким, длинным углом изогнулся темно-коричневый огромный диван, в котором иногда на неободранных местах кожи тоже отражается вечернее окно, а также и румяный свет лампады. И в противоположном углу комнаты — огромный письменный стол, над которым тяжко повисли масляные картины и портреты в смутно блещущих золотых рамах...

Я особенно любил этот кабинет, когда наступал весенний звонкий вечер и синие сумерки мешались с последним лилово-пепельным, розоватым светом из окна...

Окно прорезывали тонко прорисованные веточки голых

берез, стоявших под окном и начинавших собой огромный сад, а на круглом уютном преддиванном столе, накрытом длинной, спадающей до полу скатертью безукоризненного цвета густого вина и заваленном книгами и журналами, зажигалась невысокая толстая фарфоровая лампа под зеленым шелковым колпаком. На стол и на ковер проливался желтый круг, и в перламутре и мраморе сумерек, керосинового света, папиросного дыма смутно рисовались невысокие полки с книгами вдоль стен кабинета, бюст широколобого Платона и мягкий узор пестрого ковра...

И тогда, когда из-за заглушенных портьерами дверей других комнат доносились негромкие переливы рояля, а из-за несдвинутых гардин окна — перезвон московских церквей, густо насаженных в толщу векового людского муравейника,— как тогда увлекательны были беседы с хозяином этого дома, стариком Р человеком, много видавшим на своем веку, другом таинственного русского философа Владимира Соловьева, смутной тенью промелькнувшего в русской действительности, с другом Константина Леонтьева, навещавшим его в Троице-Сергиевской лавре, когда этот бывший врач, консул, писатель и русский великий эстет погружался в монашеский затвор; как интересны были беседы с этим человеком — биографом непознанного русского мудреца Григория Сковороды, с человеком, за шесть десятков лет своего существования так много хорошего тонко и умно видевшим в жизни!..

Нам подают душистый чай,
Мы оба кушаем печенье
И вспоминаем невзначай
Людей великих изреченья...

отметил один русский поэт этот процесс почти прозорливости, ясновидения, которым характеризовались эти разговоры. Вопросы истории, вопросы философии культуры оболокались в плоть и кровь, и времена становились почти прозрачными под внимательными старческими взорами, с медлительной усмешкой глядевшими на вас...

Здесь воочию в этой обстановке была перед нами в последнем свидании русская культура собственной ее персоной. Эти фотографии, эти картины, портреты знаменовали полную связанность со старым, знаменовали накопленность русского утонченного духа в течение целого столетия...

В тихий сумеречный весенний час, как таинственный цветок Иванова дня, распускался перед нами застенчи-

вый, тонкий цветок величайшей духовной культуры мира, культуры русской.

Не всегда тонкость есть признак слабости. Неимоверной силой своей тонкости русская культура до сих пор побеждает Европу; по-прежнему старый аромат русских цветущих лугов, задумчивых перелесков изящно сочетается в ней, в своей природной святости и благоговейности, с тонкой просвещенностью Вольтера и французов, с дионисическим творчеством немцев; только с русской культурой, в которой дышит свободно оформленная природа, согласует свой ритм музыка античного гомеровского гекзаметра, в котором слышится мерный шум волн о крутые и миловидные берега Эллады; и тоже в этом духе русской культуры — голубые зеркала Босфора, где отражаются золотые главы св. Софии, покрывавшей собой величайшую божественную роскошь на земле и в то же время кровавые интриги гинекеев; и разве не вяжется со всем этим персидский темно-красный, в синих, зеленых, металлических разводах вроде запятых или диковинных рыб халат хозяина?

И насколько дышал силой этот тонкий, серебряный старик в персидском халате, что чувствовалось какими-то прямыми путями, что холод и роскошь белых университетских аудиторий, озаренных холодным блеском электричества, и речь профессора в черном — была только отражением, развитием, размножением того, что говорилось тогда, в синих сумерках вечернего московского часа...

Там было сердце, в котором вились легкие и прекрасные образы, здесь же эти образы отпечатывались на студентах, неуловимо влияя на их образ мыслей, обусловливая то, что сложно называлось русской культурой и так вдохновенно, свободно и широко выливалось хотя бы в Татьянином дне..

* * *

О, зеленая шелковая лампа, символ любовного, осторожного отношения к действительности... Где-то ты теперь? Просматривая советские газеты, журналы, книги с такими чуждыми физиономиями, которые изо всех сил стараются быть замечательными, хотя в них нет ровно ничего замечательного, я не вижу твоего спокойного, ровного желтого керосинового света... Грохот сапог военного коммунизма разогнал тихие грезы и неустоявшийся, только лишь начавший всходить и формироваться дух русской нации, нежный,

беззлобный, исключительный по своим могучим качествам, и заглушил слова Р слова Соловьева, слова Константина Леонтьева...

Я отлично помню Москву в 1918 году. С моим патроном и приятелем проф. У взбирались мы на пятый этаж дома на Зубовском бульваре, где жил Вячеслав Иванов. Нетоплено, мрачно, сизо от табачного дыма было в квартире; сам великий поэт сидел в драной шубе, в теплом берете, и среди этого неустройства, неуюта странно выглядело его чеканное, похожее в профиль на Данте, лицо... Он прихлебывал чай, обжигая иззябшие пальцы о стакан, и читал изумительно и проникновенно свое глухое стихотворение:

Или все, что сердцу молвит: — помни! —
Отымает дальний небосклон
У тебя, чужой каменоломни
Изваянный выходец, Мемнон?

И когда заря твой глыбный холод
Растворит в певучие мольбы,
Ты не вспомнишь, как, подъемля молот,
Гимном солнце славили рабы?

И оттуда на Арбат в глухие, зимние ночи, когда страшны и затеряны фигуры одиноких прохожих, когда издали похлопывали выстрелы; как-то идя ночью из Замоскворечья через мост, я видел, как среди всеобщего мрака сияли озаренные прожекторами кремлевские дворцы, над ними плавал в черном воздухе освещенный красный флаг; вся эта мрачная картина отражалась в черной, виды видавшей Москве-реке. Сугробами была завалена Москва, грохотали грозно и многозначительно грузовики, а мысли все же были там, около зеленой лампы тихого вечернего света души.

В шубе, шапке, весь окутанный паром дыхания и чая, высовывая из-под стола только толстые очки на бородатом лице да клешни писучих рук, проповедовал мне тогда Гершензон:

— Надо все отбросить... Надо забыть о всякой культуре! Надо помнить только о том, что реально, что нужно... Вот — дом нужен... Даже не дом, а просто изба... Разносолов не нужно, нужен хлеб... Давайте то, что нужно... Стройте, работайте, как работают плотники...

И он уныло жевал мякиш черного хлеба.

А вокруг него так и вились пленительные образы, которые из простой литературной критики сумел извлечь этот еврей, русский более русских, этот Левитан от литературы.

Круг него в пару чая, дыхания и табака печально витала грибоедовская Москва, прекрасное семейство Марии Ивановны Римской-Корсаковой, и Наполеон, скачущий с Коленкуром, и искрящаяся моральная слава 1812 года.

Все глубже наваливался снег первой зимы коммунизма, все глубже уходило под его мертвый, белый покров зерно русского духа...

Где же этот дух теперь? Жив ли?

Верю, что жив.

За грохотом официальщины, физкультуры, шумных Маяковских, злобных Демьянов Бедных, ядовитых газов, профсоюзов, за гаммой мелкой, странной прессы, с которой никому не придет в голову серьезно считаться, в тихих переулках Москвы еще теплятся кое-где зеленые лампы, идет русская жизнь... Правда, бедно, скромно, но зато — независимо, гордо, пусть и лояльно...

Из огромных барских кабинетов, из аудиторий университета он ушел, этот дух, в каморки, в уплотненные квартиры; но по-прежнему там, в России, висят на стенах старые портреты, по-прежнему лежат на кладбищах дорогие покойники, горят лампады в московских храмах, видавших еще Грозного. В щелях, в каморках, катакомбах таится русская культура, и вдруг иногда вынырнет в наших краях то в синей круглой шляпе какой-нибудь командированный в Китай молодой ученый, то просто в вагоне из сурового полотна наволочки, на которой столь всем знакомое красным крестиком вышитое: «Счастливый путь!»

В подпольной литературе, в дневниках, которых теперь на Руси великое множество, в шепоте интимных разговоров, в пении и молитвах в сияющих церквах — везде он, русский дух, такой особенный и все же такой родной!

Есть, никуда не ушла эта страшная, тонкая сила русской культуры, некуда ей деваться со своей земли. И будет время, когда на Руси в уюте и свободе отдельных домиков, окруженных садами, а не в уплотненных каменных гниющих трупах домов опять засветит лампа под зеленым шелковым колпаком, польется благожелательная, умная беседа, и это тонкое дыхание будет куда сильнее барабанного рева марксизма.

Тогда настанет русская весна, а с ней светлая тайна русской озими:

— Не оживет, аще не умрет!

Лампадка и радио

Прочел как-то на днях необычайно глупую статейку во владивостокском «Красном знамени». Красная пресса вообще не блещет разумностью,— это было бы ущербом революции, но это был такой шедевр, что я ее даже вырезал и спрятал вырезку в свой архив.

Дело в том, что в одной деревне, в Приморье, красный летчик предложил покатать на аэроплане местного семидесятилетнего старика — дедушку Кустова. Старик с опаскою полез в стальную птицу, и когда полетел, то немедленно сверху в свою родную деревню бросил письмо на «парашюте».

Письмо примечательное. Во время Великой войны в солдатских лавочках продавались такие трафаретные победоносные письма, напечатанные курсивом, которые следовало только подписать и посылать родителям в деревню. Теперь, очевидно, заведена такая же мода для полетов. Дедушка Кустов на высоте 300 метров подмахнул крестиком бумажку, а услужливый наблюдатель выбросил ее на «парашюте».

В этой штампованной бумажке дедушка Кустов удостоверяет, что он, Кустов, 79 лет от рождения, крестьянин такой-то деревни, поднявшись на аэроплане, увидал воочию... «что Бога нет», и что «все это выдумано попами»... Ввиду этого он раскаивается в своих прошлых преступлениях и заблуждениях и просит его считать ныне безбожником...

Классический случай, где партийная благоглупость красной рептилии превзошла саму себя... На государственный счет, на государственной бумаге, в государственной же типографии газетные «спецы», не верящие ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай, а только занимающиеся своим газетным ремеслом из-за скудного куска хлеба, печатают эту ахинею, этот бред безграмотного дедушки Кустова...

Еще, кажется, никогда не было унижено до такой степени значение русской прессы! Пусть проснутся в своих гробах «отцы революции» на Руси и посмотрят, какую ахинею порет дедушка Кустов вместо «милорда глупого и Блюхера», покамест его переводят ловкие люди на колхозную ногу...

Кроме своей потрясающей анекдотической глупости этот

случай характерен вот еще чем; ведь это — доведение до абсурда того довольно распространенного среди русского общества положения, что-де технический прогресс убивает веру в Божество, что каркающий звук радио, передающий очередную новость или рекламу магазина теплых дамских рейтуз, гасит тысячелетнюю, до той поры мирно мерцавшую лампадку...

Только глубокой технической отсталостью массы русского общества можно объяснить это явление. Вера в Божество может быть затронута этими явлениями только в том случае, если сами эти явления признаются чудесными, если на место Божества устанавливается другое, непонятное, страшное и потрясающее гораздо более проявленным могуществом, нежели старое Божество.

Моя бабка рассказывала мне в детстве, что когда первый поезд двинулся по Николаевской железной дороге, то окрестные крестьяне созерцали эту диковину несколько необычным образом: оборотясь задом к полотну, смотрели они на чудесное явление между собственных расставленных возможно шире ног:

— Такая несколько экстравагантная поза давала возможность воочию видеть «покойников», которые дружно везли поезд...

Техника, таким образом, для невежественных голов, привыкших в религии видеть главным образом чудесную сторону, представлялась известного рода шаманством, другой верой, чернокнижьем; и можно без преувеличения сказать, что русский мужик и до сих пор на вводимые технические усовершенствования смотрит в той же позе, как он смотрел и на первый паровоз, и, несомненно, в любом могущественном коммунисте видит дьявола. Техника действует на русскую массу до сих пор потрясающе, как настоящее чудо, и это реальное чудо вытесняет другое чудо — чудо религиозное. И если это состояние русского народа показывает отсутствие в нем известной естественнонаучной подготовленности, то легкая религиозная уступчивость в этом отношении заставляет констатировать отсутствие в том же народе развитого сознания, моральных элементов в религии, тех именно элементов, которые обусловливают собой развитие общества, его культуру и, конечно, которые не заменить никакими техническими приспособлениями. И при развитии авионов, при наличии «цеппелинов», и «доксов» любой жулик все же будет жуликом, непоколебимо.

Лампадка перед иконой Ильи-пророка светит малиновым

тихим светом не тому поражающему обстоятельству, что божественный пророк летал по воздуху, почему и является теперь патроном авиаторов, а тому непоколебимому моральному обаянию этого пророка, который не стеснялся от властителей мира сего требовать благоприличного поведения и не стеснялся обличать технически усовершенствованных волхвов.

Глупый старичок Кустов, полетав на авионе, мог отлично пойти в церковь и положить там несколько поклонов за то, что Бог его сподобил видеть развитие человеческого ума. Но что делать, если российский отечественный максимализм не желает учиться, не желает идти путем труда и развития стандарта общей работы в своем народе, а требует крыльев от Господа Бога, ставит Ему свечи, а не получив — обращается к Западу, от которого и получает чудесный снаряд, платя за него тем же пчелиным воском, хлебом, шерстью, всеми естественными дарами богатой русской матушки земли, неизменными со старины Гостомысла.

Но это «состояние чуда» скоро кончится. Большевики разыгрывают теперь на радио, на аэропланах роль того аверченковского студента, который, приехав на кондиции в глухую помещичью семью, захватил все обаяние в свои руки тем, что единственно он умел заводить граммофон... Он умело им пользовался — пил, ел, спал и заводил. Это обаяние дымом исчезло, как только, раз проспав, он проснулся от рева граммофона, который уже сумел пустить его юркий воспитанник.

Русский мужик со временем сумеет пустить в ход и мотор аэро, и наладить приемник и сохранить при этом убеждение, что нужно поступать по чести и справедливости и что Бог есть не соперник авиаторов в небесных пространствах, а сама Правда и Милость. И тогда граммофонных дел мастерам придет конец. Их выгонят с позором, сколько бы они ни спекулировали на эффектном использовании темноты.

И тихий свет лампадки будет уживаться рядом с благозвучными мелодиями, с благоприятными речами из громкоговорителя, как это практикуется по всему миру.

Религия не противница техники, хотя нельзя религией пытаться заменить технику. И в русской технике, и в религии нужно одно и то же — усиленная работа.

Трактор или личность?

То направление исторической мысли, которое в экономических явлениях и в их вожделенных «законах» ищет основу построения истории, совершило большое и непростительное преступление. Если история идет так, что она зависит только от «ввоза» и «вывоза», если она зависит от того, что какой-либо исторический деятель возжаждал материальных благ своего соседа, и причем возжаждал совершенно стихийно неотвратимо,— тогда, конечно, история — длинный ряд вожделений одних и механической покорности «экономической необходимости» других.

Как Колумб открыл Америку? В истории экономического типа мы не услышим ни слова о тех творческих снах, которые овевали его голову, о тех творческих брожениях в душе, когда зовет даль... Паруса каравеллы «Санта-Мария», которая три месяца плыла на запад по синим пазухам Атлантики несли с собою не удалую доблесть решительного человека, а были скорбными знаменами нужды, которая заставляла человечество «выселиться» из Старого Света в какой-то иной, были кровавыми знаками жадности к золоту и ароматам Индии, к которым искали более близкий «экономический» западный путь...

И если мы будем таким манером строить историю вообще, то те многие исторические образы, которые окружают наше сознание, которые кивают нам, ободряют и ведут своим примером, обратятся в какие-то безвольные манекены, в картонных паяцев, которыми дергает за ниточку трактор истории — «экономика» — своей костлявой механической рукой голода, неизбежности, похоти и прочих «законов».

Скажите любому художнику или поэту, что он творит пишет только потому, что он хочет есть,— он сможет ударить вас от ярости. Скажите монаху, несущему свой подвиг пере взыскуемым Богом, о том, что он просто «устроился», чтобы «не работая» есть,— и слезы оскорбления польются у него и глаз. Неужели для исторического деятеля все дело только еде, в пище, товарах и сырье? Ведь современные коммунисты в Москве служат прямым опровержением этого положения

Как раз там, в Москве, нет ни пищи, ни товаров, н

всего такого, что механически привлекает человеческую душу.

*

Мы привыкли искать в истории законы,— и вот мы теперь в положении загипнотизированных:

Раз все совершается по неким непреложным законам, стало быть, смотри и не рыпайся... Придет время — и кто-то нас освободит...

— Тоже по «историческим законам»!

Но разве вы не чувствуете, как вы задыхаетесь в этой мгле необходимости? Разве вы не чувствуете, как вам хочется выхода, движения, свободы действий? Разве вы не чувствуете некоторой тоски по личности?

Разные исторические обстоятельства, просто говоря, затуркали русского человека. Разного характера новые законы не дают ему дышать. Распространяемая с настойчивостью система современной русской жизни представляет собой такой нонсенс, такую бессмыслицу, что она становится очевидной всем... А пресса, люди, учреждения как зачарованные повторяют ее все вновь и вновь, эту бессмыслицу...

Кто может разрушить этот дурной сон, это наваждение, это оцепенение русской воли?

— Личность! Только личность! Живой, ясный, добрый и в то же время сильный и суровый в своей силе человек... Человек, который бы действовал как отдельный человек и в то же время сохранял бы уважение к другим, ради которых и для которых он это делает, ради общего.

И в такие минуты лучше всего раскрыть историю Рима.

* * *

Когда галлы наполняли Рим, когда только в Капитолии отсиживались отцы и небольшие военные силы, один из дома Фабиев отправился в свой дом на Квиринал, чтобы совершить у себя в доме, занятом врагом, обычное моление.

С покрытой головой, неся в руках священную утварь, вышел он из Капитолия, прошел между толпами врагов в свой дом, помолился и так вернулся обратно.

Он исполнил свой семейный долг.

Галлы его и не испугали, галлы его и не задержали. А ес-

ли бы он был задержан, он умер бы так, как умер консул Маний Папирий.

Это было тогда, когда галлы с Бренном во главе ворвались в Рим. Должностные лица остались сидеть в своих креслах, со всеми знаками своего достоинства, лишь посматривая совершенно спокойно друг на друга.

Галлы сочли их за статуи, и один из веселых дикарей дернул Папирия за бороду, на что тот ответил ударом своего жезла.

Немедленно же неустрашимый старик был убит.

Но что было страшно этому римлянину, который не боялся самой смерти, как это рассказывают хотя бы про Марка Курция.

На Форуме Рима образовалась большая и очень глубокая трещина, рассказывает Тит Ливий, и смущение воцарилось в Риме:

— Не предвещала ли она несчастия для города?

Один из авгуров разъяснил, что Рим должен посвятить этой трещине самое дорогое — и тогда бездна закроется, а Рим будет существовать вовеки.

Вовеки? Разве этого мало для того, кто любит свою родину больше всего!

И сенат совещался, стараясь определить, что же самое дорогое по цене можно было бы свергнуть в недра земли для искупления ее гнева.

Но на Форум вскакал на коне, в полном вооружении юноша Марк Курций:

— Что может быть дороже в нашем городе, нежели храбрый, нежели оружие? Их я посвящаю подземным богам на искупление!

И с конем он бросился в трещину, которая немедленно же закрылась.

И Рим стоит вечно.

Юноша принес свою жизнь в жертву — кому?

— Республике.

То есть государственному делу. Потому что для римлянина государственное дело было первым делом. Главным

Настолько первым, что для него римлянин жертвовал собой, как сделал это консул Публий Дений Мур. Узнав призрака, явившегося во сне перед битвой с латинянами, что военачальник одного войска и все другое войско обречено богом смерти, он решил пожертвовать собой, чтобы тем привести к гибели войска противника; закутанный в пурпурную тогу, он произнес следующее посвящение:

— Юпитер, Юнона, Отец Марс, Квирин, Беллона, вы лавры, вы новые боги, вы боги отцов, подземные боги! Я за государство Рима, за войско, за легионы римского народа обрекаю себя смерти, с собой — легионы врага.

И он поскакал один на войска противника, где и пал смертью храбрых. Победа осталась за Римом.

Нет, римляне приносили государству в жертву не только себя. Они приносили и своих сыновей. Закон — вот что был обязан блюсти римлянин, общий и великий закон, покровитель всех и каждого: нарушителям этого закона грозила смерть, кто бы они ни были.

Тит Манлий Империоз, консул, во время войны с латинянами отдал приказ — избегать всяческих столкновений, покамест командование не найдет это нужным... В войне участвовал его сын, тоже Манлий, который командовал сотней конницы. При случайном столкновении с противником молодой Манлий был дерзко вызван на бой предводителем чужого отряда, ловко справился с ним и убил его. Радостный, поскакал он к отцу, чтобы показать ему трофеи — доспехи убитого.

Но отец знал, что закон до́лжно исполнять. Трубы собрали войско, консул, окруженный легатами и трибунами, изложил дело и объявил, что храбрый сын, Манлий, нарушил приказ и потому заслужил смерть,— и отдал ликторам распоряжение:

— Делайте ваше дело!

И когда старый консул после этой казни сына проходил по войску, на него смотрели солдаты, даже старые центу рионы, как на существо высшего порядка.

Потому что он делал историю Рима.

* * *

— Благо государственное — высший закон! Вот что говорили римляне; и в то же время они понимали, что тирании не должно быть места. Там, где чужая воля подавляла волю народную, там полный достоинства народ вставал в защиту законов, ибо знал, что закон — это свобода народа.

Нет, история не только механические причины, голодом и нуждой толкающие человечество. История — это козырная масть, это ряды блестящих личностей, на которых отдыхает наш взор, история — это массы, отдыхающие своим взором на отдельных личностях... И не мишура, не постыдное чув-

ство — стоять в рядах народа малым, незаметным человеком и неистово кричать, махать шапкой, платком, плакать все что угодно, быть готовым сделать все, что прикажут, отдать саму милую жизнь, видя, как в отдалении проходит человек или группа людей, воплощающая нацию.

Желания к этому у народа — сколько угодно. Народу — тоже немало.

Но воплощающих личностей пока что нет.

Не видать что-то.

Духа нет, одна тракторная механика холода, страстей и страха.

Назад!

Дружно гребите во имя прекрасного
Против течения!

Старый эпиграф

Недавно как-то в одном местном, любящем отечественную литературу обществе был предложен общий вопрос:

— Кто из присутствующих прочел бы о каком-либо из поэтов?

Некто предложил доклад «о Сельвинском». Было принято. Игорь Сельвинский — новый поэт, пользующийся славой и известностью. Я предложил тогда прочесть доклад о Державине. Мое предложение, должен сознаться, не было встречено ни восторгом, ни даже просто одобрением.

А между тем Державин поэт, и кто же может усомниться в том, что он поэт. Возьмем хоть эту сверкающую, манерную характеристику екатерининского русского вельможи:

Там под его рукой гиганты —
Трепещут — земли и моря...
Другой — чистит бриллианты
И тешится, на них смотря...

Почему же Державин неинтересен как поэт? Почему же не нужен о нем «доклад»?

— Державин ведь стар,— сказала одна милая девушка.— Что там интересного!.. Старо!..

* * *

Стар?

Державин — современник Гёте и Шиллера. И все же Шиллерову «Песню о колоколе» в Германии не считают отжившей... Все-таки ее «декламируют господа тайные советники», как говорится это у Г Манна. Все равно написанный в век Екатерины гётевский «Фауст» не потерял своего творческого и культурного значения до сих пор. А современник Ивана Грозного Вильям Шекспир до сей поры пользуется мировой известностью.

ство — стоять в рядах народа малым, незаметным человеком и неистово кричать, махать шапкой, платком, плакать все что угодно, быть готовым сделать все, что прикажут, отдать саму милую жизнь, видя, как в отдалении проходит человек или группа людей, воплощающая нацию.

Желания к этому у народа — сколько угодно. Народу — тоже немало.

Но воплощающих личностей пока что нет.

Не видать что-то.

Духа нет, одна тракторная механика холода, страстей и страха.

Назад!

Дружно гребите во имя прекрасного
Против течения!

Старый эпиграф

Недавно как-то в одном местном, любящем отечественную литературу обществе был предложен общий вопрос:

— Кто из присутствующих прочел бы о каком-либо из поэтов?

Некто предложил доклад «о Сельвинском». Было принято. Игорь Сельвинский — новый поэт, пользующийся славой и известностью. Я предложил тогда прочесть доклад о Державине. Мое предложение, должен сознаться, не было встречено ни восторгом, ни даже просто одобрением.

А между тем Державин поэт, и кто же может усомниться в том, что он поэт. Возьмем хоть эту сверкающую, манерную характеристику екатерининского русского вельможи:

Там под его рукой гиганты —
Трепещут — земли и моря...
Другой — чистит бриллианты
И тешится, на них смотря...

Почему же Державин неинтересен как поэт? Почему же не нужен о нем «доклад»?

— Державин ведь стар,— сказала одна милая девушка.— Что там интересного!.. Старо!..

* * *

Стар?

Державин — современник Гёте и Шиллера. И все же Шиллерову «Песню о колоколе» в Германии не считают отжившей... Все-таки ее «декламируют господа тайные советники», как говорится это у Г Манна. Все равно написанный в век Екатерины гётевский «Фауст» не потерял своего творческого и культурного значения до сих пор. А современник Ивана Грозного Вильям Шекспир до сей поры пользуется мировой известностью.

— В чем дело? Старо?

На Западе — там дело выходит как-то иначе. Если поэт или автор там прошел через толщу веков, значит, он сделался любимейшим поэтом, автором в своем народе. Никто не отвращается от Мильтоновой поэмы «Потерянный и возвращенный рай», никто не презирает Данте только за то, что он был современником Андрея Боголюбского. Скажите имя «Данте» — и не предстанут ли в слухе вашем его славные терцины, не звучит ли при имени «Петрарка» нежный сонет?

Откуда же эта русская вера в съедающую силу времени? Откуда эта уверенность в том, что то, что старо, то и плохо?

Почему Петрарке, Шекспиру и Данте посчастливилось «пройти сквозь века», а нам не посчастливилось, и все тут?

* * *

Теперь повсюду в эмиграции устраивается праздник русской культуры и о Пушкине говорится столько и так, что Александр Сергеевич, с его живым и здравым взглядом на вещи, вероятно, ворочался бы в гробу на Святых горах, если бы мог слушать те «рефераты», которые читаются о нем... Эмиграция шествует теперь с портретом Пушкина на своем знамени, как во время оно шествовал какой-либо средневековый цех со своим значком... В нем, в Пушкине, как бы сосредоточена вся русская культура.

А Пушкин был не один. Вокруг него много цвело его современников. Но они забыты. Кто помнит стихи кн. В. М. Долгорукого? Стихи Дельвига? Н. Языкова? Ф. Туманского? А. Илличевского? В. Козлова? С. Шевырева? И. Великопольского? Кн. Вяземского? Ф. Глинки? и т и т. д.,— одним словом, говоря языком проф. Ю. Н. Верховского, кто помнит «поэтов пушкинской поры»?

Пожалуй, что никто не помнит, исключая разве несколько чудаков-книгочеев или пушкинистов.

Если хорошенько вглядеться в суть русской культурной повадки, то ясно станет, что она не столько заключается в памяти, сколько в забвении... Русская история валит ордой, а за ней остаются черные кострища ее кратковременных ночлегов и оседлых расцветов. Одна эпоха сменяет другую... Пришел Пушкин — пришло и отрицание Пушкина и провозглашение «сапогов выше Шекспира»... Пришло время Писарева

и Добролюбова — пришло время новых поэтов, таких, которых и сейчас уже мало кто помнит, вроде Александра Добролюбова. Да это не только в прошлом. И в современности мы видим поэтов, уже отцветших и сданных в архив. Если бы не умер Брюсов, он был бы просто пугалом в век Маяковского, и Бальмонт пережил уже сам себя. А Маяковский — уже не переживал ли сам себя, и публика жадно ждет «н о в о г о» слова от новоявленного Сельвинского... Быстрицкого... Какого-то Безыменского.

Сколько их! Куда их гонят!
Что так жалобно поют!..

В СССР теперь, говорят, 7000 поэтов. Куда же там читать Державина... Удивительно, как это еще Пушкина не забросили! Да, там, наверное, забросили...

* * *

Гёте, Шиллер, Шекспир — стоят, как готичные соборы.

Прошлое, величавое и седое, глядит сквозь их пестрые витражи, в медвяно-золотом, индиговом, кобальтовом, карминном свете рисующие простые, величавые фигуры истории.

Целые эпохи глядят с фигурных украшений однобашенного, неоконченного Страсбургского собора. Его медные, литые двери работы великих мастеров открыты настежь, и в жаркие дни так приятно посидеть там и прислушиваться к звенящей молчаливо стрельчатой выси, смотря на смутное в дневном радужном свете мерцание золотых лампад у открытого алтаря.

Столетия смотрят на вас с высоты этих стен, оставленных творческой историей.

Огнем, пожарами отмечен путь русской истории. Пожарами страшными, как пожары лесные, которые сжигают все на пути.

А в Италии еще высятся арки римских императоров, под которыми, гремя котурнами, проходили некогда кованные медью легионы.

В России арки, памятники валяются, взрываются церкви, забываются имена поэтов, и существует только одно жадное устремление.

— Вперед! Во что бы то ни стало вперед! К новому!

Западная история — строительная история. Она оставляет позади себя уютные, островерхие города, мирные, как виш-

невые сады в цвету, но, однако, предусмотрительно опоясанные гранитными стенами, откуда в случае нужды льется расплавленный свинец, летят острые бревна, камни, стрелы и пр.

Пожарища отмечают собой путь русской истории. Эпохи — одна ослепительнее другой — вспыхивают постепенно. Отрыжка не то Византии, не то Скандинавии... Улус Ханской империи. Восточное царство Ивана Четвертого. Европейская империя Великого Петра. Просвещенная, счастливая пудреная страна Екатерины Второй. Блеск на мгновение крестьянской, суровой России Павла. Умиротворительница мира при Александре Благословенном — Отцеубийце. Военная казарма при Николае Первом. Славянофильское народное государство с мечтой не то о Босфоре, но то о Дунае при Александрах. Святая Русь — при Николае Втором. И, наконец, Союз Советских Социалистических Республик. Страна не господ, а рабочих, «творцов жизни», «мозолистых рук», красных знамен, несущих освобождение всему миру...

Все в России меняется, как в калейдоскопе. То, что было вчера, не годится уже сегодня. Ссылками, тюрьмами караются те, кто был человеком, принадлежавшим ко «вчера». Сибирь при каждом повороте колеса русской истории пополняется ссыльными, огонь настоящего сжигает прошлое. Каждый русский непременно должен быть «человеком передовым». Он непременно не должен «отставать от века». Он должен «идти в ногу со временем». Отцы, в прямую противоположность старому мифу о Хроносе, должны пожираться детьми. Князья церкви должны быть ограничены и обезличены собранием людей. Внуки гораздо умнее дедов. На месте кладбищ и памятников должны быть разбиты сады.

Так, номады, хороня своих хаганов, прогоняли через могилы табуны коней, чтобы ни малейшего следа не оставалось от прошедших царств.

Ибо они предпочитали время в течении — времени, остановившемуся в делании, влитому в формы, колоссальных готических кафедралов.

Степь — культуре.

И дошло до того, что, осматривая вещь александровской эпохи, мы удивляемся:

— Господи! Неужели же этот комод такой дивной работы сделан так давно? Как! Разве не новое только дает красоту? И тогда умели лучше, нежели теперь?

* *

Нет! Все, кто осознал себя как действующую личность среди русских граждан настоящего времени,— он должен твердо и ясно поставить себе лозунг:

— Довольно культурных пожаров! Довольно! Нам нужен не один только Пушкин... Довольно нам теории о Руси как о Фениксе, сгоревшем и возникающем вновь из пепла... Мы признаем не деревянную, сгорающую ежегодно, чаадаевскую Русь, мы признаем камень нужным для стройки. Мы в нашем новом манифесте должны объявить, что горе всякому, кто тронет старое. Пусть старое умирает само, мы не хотим убивать. Мы хотим только созидать, и созидать не толпой бессловесных рабов, которых гонит на стройку Днепростроя или Санкт-Питербурха очередной владыка,— мы хотим быть свободными строителями свободной жизни. Нет ценности выше ценности человеческой личности, в которой горит Божественный огонь и так сладко перекликается через века с людьми, которых мы никогда не видали и которые так же, как и мы, были напоены этой человеческой жаждой творчества... Мы должны идти, сверля, долбя, сокрушая стену времени, и позади нас не должны пылать фейерверки пожаров, не должны оставаться кровавые гекатомбы жертв, а должны возникать гранитные учреждения, железобетонные города, сильные нравы. Мы должны заключить мир с прошлым и признать гнев царя Ивана, и творческий размах Петра, и лукавство Александра, и охоту смертную к творчеству у СССР.

И это признание, это заключение мира с прошлым, настоящим и будущим избавит нас от дополнения к смертной охоте — от участи горькой:

— от драки за новые эпохи на пустой русской равнине, где за тысячу лет русского государства не удосужились ни городов приличных настроить, ни дорог напроводить, ни приличной жизни учредить...

Пусть прошлое и любовь к нему будет тем свинцом в известном месте русского человека, которого ему не хватает для систематической и упорной работы, работы, рассчитанной не на пятилетку, а на века.

Потому что века нужны, чтобы создавать грандиозные кафедралы.

— Назад!

Лев Тихомиров

Много за последнее время пишут о Льве Тихомирове. «Красный архив» недавно сообщал о тех обширных планах, которые предпринимал этот революционер и бунтовщик сначала и убежденнейший монархист потом. Оказывается, им была задумана работа, имевшая состоять из 80 книг.

Эти книги должны были быть посвящены тому, чему должна быть посвящена вся работа мыслящей части русского современного общества, а именно — характеристике русских деятелей, опознанию национальных свойств русской души и разнообразных ее проявлений.

Лев Тихомиров хотел характеризовать отдельными монографиями: революционеров Плеханова, Лаврова, Желябова, Перовскую — ведь и революционеры тоже русские, и этот тип подлежит исследованию не меньше иных; затем шел кружок славянофилов — Самарина, Конст. Леонтьева; затем — националисты и консерваторы вроде Победоносцева, П. А. Столыпина; не оставлены без внимания и либералы вроде Михайловского, народники — Г Успенский, националист художник В. М. Васнецов и др.

И сделай он это — русская мысль была бы углубленнее, очищеннее, согласованнее; может быть, он и сделал это — но «Кр. архив» хранит по этому поводу молчание.

Но во всяком случае сама фигура Льва Тихомирова, эта символическая русская фигура, раскрывается в изданных Центроархивом «Воспоминаниях» самого Тихомирова (Москва, 1927).

Сколько верных, сколько волнующих мест!

* * *

Народоволец, участник преступлений 1 марта 1881 года, Тихомиров, конечно, благополучно проживает за границей. Но не благополучно у него на душе.

Вот перебирается он из Франции через границу Швейцарии и пишет в своих наблюдениях:

— Это огромное количество труда меня порази

> Смотришь, деревянные дома каменные, многолетние. Смотришь поля. Каждый клочок огорожен толстейшей высокой стеной, склоны гор обделаны террасами, и вся страна разбита на клочки, огорожена камнями.
>
> Я сначала не понимал загадки, которую мне все это ставило, пока наконец для меня не стало выясняться, что все это — собственность, это — капитал, миллиарды миллиардов, в сравнении с которым ничтожен труд настоящих поколений.
>
> А что у нас, в России, прошлый труд? Дичь, гладь, ничего нет... А здесь это прошлое охватывает человека!..

Это интереснейшее интуитивное наблюдение чуткого и умного человека напоминает другую характеристику России, сделанную Чаадаевым в одном из его «философских писем».

Там Россия тоже приравнивалась к пустырю, кучам дерева и соломы, которые можно выжечь, но которые нельзя разрушить.

> И невольно назревала мысль: какая же революция сокрушила это каменное прошлое, всюду вросшее, в котором все живут, как моллюски в каменном рифе? — пишет Тихомиров.

В результате наблюдения жизни Европы у него полное отвращение ко всякому революционерству. Эти свои новые мысли Л. Тихомиров публикует в нашумевшей брошюрке «Почему я перестал быть революционером?». Факты революционного направления стали слишком возмущать его; он, между прочим, рассказывает такой случай: к революционеру Лаврову обратился один из студентов университета, прося совета — продолжать или нет студенческие волнения, которые грозят закрытием университета. Лавров посоветовал «бунтовать» и посоветовал не бояться, если закроют, а то и просто уничтожат два-три университета, потому что-де в них «молодежь только затупляется, а не просвещается».

* *

Итак, Тихомиров ушел от революции, оттолкнувшись от нее «прошлым» других стран, прошлым человеческой многопоколенной, трудовой культуры. Лишенный революции, чужой Европе, он как бы повис в пространстве, не зная, к какому берегу прикачнуться.

Но правильно ли было прошлое его суждение, что «у нас в России только дичь, гладь, ничего нет», никакого прошлого?

Нет, в душе, очищенной переживанием от фантастики революционных образов, заклубились, заволновались образы русские, органически связанные с прошлым и в то же время поэтому глубоко национальные.

Если бы не семья, то для Тихомирова можно было ожидать «всего самого худшего», то есть самоубийства. Но произошел перелом, наступило просветление, и душа наполнилась новым подлинным содержанием: революционер-атеист пришел к православию.

Вот как описывает это он:

> Помню, в первый раз после многих лет, я пошел в русскую церковь на рю Дарю. Я давно туда тянулся. Проходя мимо и видя сквозь переулок эти золотые маковки, этот знакомый абрис — так и хотелось зайти. Но я боялся и стыдился. Я отверженец, я — враг своего народа. Как я пойду туда, в посольскую церковь? Мне все казалось, что меня там узнают, вдруг скажут: — Зачем ты здесь, твое ли это место? Но вот однажды, уже летом 1888 года, я таки поборол себя, или, может быть, правильнее — меня побороло это желание, взял Сашу (сына) и отправился...

Тихомиров прошел в церковь подземную.

> — Не могу выразить, что я почувствовал в этой ночи,— пишет он,— освещенный множеством теплящихся лампад и свечей. Образа искрили своей позолотой. Дьякон читал ектенью. Когда раздалось пение молитв — мне стало страшно, я думал — у меня разорвется сердце... Скажу прямо — с детства я не плакал и презираю плач и не верю плачу... Но у меня спазмы схватили горло,— мне хотелось упасть и рыдать от горя и счастья, и от стыда за свои блуждания, и от восторга видеть себя в церкви. Я не знаю отчего, но я даже подумал: — Господи, если у меня лопнет сердце, что же будет с моим мальчиком?

Этот момент был «путем в Дамаск», путем, кладущим начало новой жизни, новой деятельности. Живя уединенно, Тихомиров стал читать Евангелие, и особым, своим способом.

> — Лежу я на своей кровати,— пишет он,— и ве. со святой книгой нескончаемый разговор. Тихо, я

один. Только дождь шелестит со всех сторон да ветер воет в окно... Лежу и думаю обо всем — что мне делать, и что правда, и что мне есть... Голова мутится. Беру Евангелие и читаю: ответ. Но ответ неудобный, и развертываю снова и вижу ответ на свои возражения и так далее.

И в таких размышлениях он однажды понял Россию — принял такой, какая она есть:

Я люблю и степь, и болото, и горы, люблю бородатого мужика, люблю базар, кучу арбузов, запах дегтя и баранок...— пишет он.

И все это объединяется «чем-то странным и мистическим», чего он не знал раньше...

И так постепенно, разворачивая однажды доставшийся ему клубок идей, Тихомиров дошел и до конца.

В «Деяниях» попался ему ответ:

И избавил его от всех скорбей, и даровал ему мудрость и благоволение царя египетского Фараона (Деяния, 7—10).— О ком же идет речь? — задумался Тихомиров.— Уж не о Клемансо ли?

И вдруг — как молния. Да это — государь?! Бог ему указывает на Россию.

И после отправленного государю прошения Тихомиров допущен в Россию, сначала в Новороссийск, а потом и в Москву, становится сотрудником «Московских ведомостей», одним из наиболее ярких консервативных писателей, автором трехтомной «Монархической государственности», этой положительно основоположной книги по государственному строю России.

* * *

— Ренегат — вот что было презрительным эпитетом имени Тихомирова всю его долгую жизнь; отрекшиеся от России звали этим именем того, кто вернулся назад к ней, к России, кто понял, что нельзя забыть свое прошлое и что нужно именно в этом прошлом видеть опору для строительства будущего.

И теперь, когда революционерами совершено перед Россией преступление большее, нежели когда-либо, когда непреклонные факты, а не летучие эмигрантские настроения показывают виновность всего русского народа перед своей страной,— образ Тихомирова становится пророческим символом. Будет много таких возвращений!

И, конечно, не с упреками встретит страна это возвращение своих сынов в национальное лоно, а с любовью, тем более что в много переживших сердцах любовь к отечеству горит пламеннее, нежели в тех, в которых она теплится беспрерывно, без обострения падений и достижений.

Такая ровность означает не героическое устремление личности а то, что просто человеку повезло и он прожил свою национальную жизнь без волнений.

Русский быт знает многих святых, вышедших из разбойников; не спасется ли Русь националистами из революционеров?

О русской душе

За царством праведных.

В своей известной Теодицее в «Братьях Карамазовых» Смердяков говорит:

— Ведь сказано же в Писании, что коли имеете веру хотя бы на самое малое даже зерно и притом скажете сей горе, чтобы съехала в море, то и съедет, нимало не медля, по первому же вашему приказанию. Что же, Григорий Васильевич... Попробуйте сами-с сказать сей горе, чтобы не то чтобы в море (потому что до моря далеко-с), но даже хоть в речку нашу вонючую съехала, вот что у нас за садом течет, то и увидите сами в тот же момент, что ничего не съедет-с, а все останется в прежнем порядке и целости, сколько бы вы ни кричали-с.

Циничный взгляд, неверие, разрыв с Божеством — вот что мы видим в страшном «бульонщике» сыне Лизаветы Смердящей и Федора Павлыча Карамазова, «сладострастного насекомого»... Он и убить может, он и душу смутить может; но опровергает ли он самую правду-то?

— Нет! Здесь — русский вольт, неверие до конца, кощунство только для испытания — а вдруг-де грянет гром, доказывающий, что есть Бог!

— Да законы природы — неизменны, стало быть, и веры нет ни малой в мире,— полагает Смердяков и сейчас же оговаривается:

— Решительно никто... не сможет спихнуть горы в море, кроме разве какого-нибудь одного человека на всей земле, много двух, да и то, может, где-нибудь там в пустыне египитской, в секрете спасаются...

И слова эти приводят в восторг Федора Павловича.

«Стой! — завизжал Федор Павлович в апофеозе восторга — так двух-то таких, что горы могут сдвигать, ты все-таки полагаешь, что есть они? Иван, заруби черты, запиши: весь русский человек тут сказался!»

* * *

Да, русский человек верит в святость: как бы он ни погряз глубоко в жизни,— а русские мастера погрязать весьма и весьма глубоко,— однако русская душа всегда чует, что где-то есть самая настоящая правда: носителем этой правды для нее являются святые, а святые — есть прежде всего реальные люди; и в вере в Китеж, Град Невидимый, и другие легенды сказывается первее всего это свойство русской души:

— Есть где-то земля праведная! Есть!

Так, в «Грозе» об этом рассказывает странница; так, нам известны многие рассказы и красивые апокрифы на эту тему, которые собирал такой мастер как А. Ремизов; эти легенды распространены среди русских богомольцев, своими лапотками ходко меряющих просторы русской земли; но вы привыкли относиться ко всему этому как к известному «фольклору», как к легендам, которые можно столь красиво стилизовать в русском духе. А между тем мало кому известно, что однажды была снаряжена русскими людьми самая настоящая экспедиция в поисках за этим блаженным царством.

* * *

Где-то на востоке сохранилась до сей поры нерушимо сказочная страна, именуемая Беловодией; по другой версии называется она Камбайское царство; в ней царствует истинная, православная вера, насаженная там непосредственно еще апостолом Фомой. Там есть патриарх, епископы, церкви; там царит справедливый царь. Правда, церкви там все больше ассирийские, но есть и русские, числом 40. Там нет ни убийства, ни татьбы (воровства), там царит истинное благочестие.

Как же пройти туда? У Мельникова-Печерского имеем сведения, что известен туда маршрут со слов инока Марка Топозерской обители, ходившего туда в XVII веке.

В середине XIX столетия явился на Руси некий епископ Аркадий, котрый во всеуслышание объявил себя «епископом Беловодского ставления»; были у него и документы: ставленая грамота за собственноручным подписом «смиренного патриарха Славяно-Беловодского, Камбайского, Англо-индийского, Ост-Индии, Юст-Индии и Фест-Индии, и Африки, и Америки, и земли Хил, Магелланские земли, и Бразилии, и Абиссинии».

Со слов-то этого епископа Аркадия и были получены

точные сведения о том, где именно находится эта блаженная страна; вот что он повествовал:

> Есть на востоке к южной стороне, за Магеллановым проливом, а к западной стороне за Тихим морем Славяно-Беловодское царство, земля Патагонов, в котором живут царь и патриарх. Вера у них греческого закона, православного, ассирийского или просто сирского языка, царь там христианский, в то время был Григорий Владимирович, царицу же звали Глафира Осиповна. А патриарха же звали Мелетий. Город по ихнему названию беловодскому — Трапезанцунсик, а по-русски перевести, значит — Банкон или Левек. Ересей и расколов, как в России, там нету, обману, грабежу и лжи нет же, но во всих — едина любовь...*

Туда-то и была отправлена в 1898 году экспедиция из уральских казаков-староверов. В депутацию вошли: урядник Рубеженской станицы Вонифатий Данилович Максимычев, Онисим Варсонофьевич Барышников, Григорий Терентьевич Хохлов; от ревнителей древнего благочестия было им отпущено 2500 рублей на путевые расходы, да город Уральск прибавил 100**

Выехали они 22 мая из Одессы и скоро были в Константинополе, где чуть-чуть не засыпались, потому что везли с собой, как люди военные, для ради дальнего пути револьверы и патроны; с трудом высвободил их русский консул.

Как водится, нанесли наши казаки визит патриарху Константинопольскому по своим раскольничьим делам и видели массу достопримечательностей: в церкви Балаклы сами видали рыбу, которую в зажаренном виде кушал царь Константин, когда турки ворвались в Византию: рыбы как были, так и соскочили в воду и до сих пор плавают с обжаренным боком; осматривали знаменитую церковь Дмитрия Салунского, причем при переходах в темных катакомбах храма, опасаясь вероломства проводника, за неимением отобранных револьверов, держали наготове ножи, чтобы воткнуть их гиду в живот в случае его подозрительных действий. Но все обошлось благополучно. В Иерусалиме посетили, между прочим, подлинный дом милосердного самарянина и видали ту самую смоковницу, на которой сидел Закхей; любопытствовали посмотреть обращенную в соляной столб жену Лота, но

---

* Ср.: «Пермские губернские ведомости», 1899, № 253.

** Г. Хохлов. Путешествие уральских казаков в Беловодское царство. Изд. Импер. геогр. об-ва.

оказалось, что ее вывезли уже в музей проворные англичане...

Двинулись дальше на французском пароходе без языка, без проводника и шли Красным морем; всю ночь просидели на палубе, ожидая фараонов, которые должны были бы спрашивать наших путников: Скоро ли светопреставление? — Но ничего не видали и не слыхали...

24 июня прибыли в Сингапур и, тут высадившись, были немало изумлены видом «извозчиков, которые не имеют ни рубахи, ни штанов, сами входят в оглобли и везут людей»...

С «извозчиками» этими вышел инцидент: зашли благочестивые казаки в какой-то магазин, и «извозчики» стали требовать расчета. Тогда Григорий Терентьевич Хохлов вскочил со стула, чтобы расправиться с ними по-казачьи. Насилу успокоили.

29 июля подошли к Сайгону, по мнению уральцев — к Камбайскому царству (Камбоджа), а на восходе солнца под пальмовым лесом услыхали благовест. Наши, стало быть! Радость была большая!

Спустившись с корабля, сели на «бегунков» и двинулись на зов. Оказалась французская церковь с латинским крестом...

Напрасно наши казаки расспрашивали и какого-то русского фармацевта, торгующего в Сайгоне, и русского консула — никто ничего про страну истинного Благочестия — Беловодье сообщить им так и не мог... Не нашли они этой страны!

Только одно их там весьма заинтересовало — изображение Майтрейи — так наз. «Грядущего Будды», у которого оказались пальцы сложены для двуперстного знамения... И через Китай, где обратили внимание на «белые воды реки Кианги», Японию и Владивосток вернулись домой.

Они так и не нашли на земле истинного блаженства Беловодского царства.

* * *

Но какой еще народ пойдет искать по земле, чтобы найти где-то привлекательную сказочную мечту свою, найти ее в реальных формах? И следовательно — какой народ может верить так свято собственным химерам?..

Никакая душа, кроме русской, вечно готовой к каким угодно крестовым походам ради слышимого ею благовеста вечности, а вместе с тем и ради неправд, которые творятся на Руси.

Даниловичи

ИЗ ЦИКЛА ИСТОРИЧЕСКИХ

Сказывали на Москве, что однажды в полночь, незадолго перед тем как государю Василию Ивановичу Шуйскому отречься от московского престола, в Архангельском соборе в Кремле был виден свет, слышался громкий плач и пение 118-го псалма:

— О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих...— и т. д.

Пение это кончилось громким и мрачным пением «вечной памяти»...

Только потом разобрались москвичи, что означало это видение: то Даниловичи, потомки Даниила Александровича Московского, сына св. Александра Невского, оплакивали исход своего рюриковского корня... Сходил со сцены в Москве последний Рюрикович, царь Василий Иванович...

А этими самыми Даниловичами, их трудами, и собралась Москва.

Политика Даниловичей была прямым продолжением политики Александра Невского. Покойный святой князь Александр Ярославич, сражаясь с немцами и вообще со всеми западными напорами, умел ладить с татарами и их могучими ханами; еще его отец кн. Ярослав Суздальский умер в далеком Каракоруме, в глубине монгольских степей, где он присутствовал при короновании великого хана Куюка и где отравила его мать великого хана, ханша Туракина. Возвращаясь с последнего визита в Монголию, где-то «около Городца» умер вел. князь Александр Ярославович.

Тропа, водившая этих обоих суздальских князей — отца и сына — в Монголию, оказалась хорошо использованною Даниловичами и привела Москву к возвышению.

— Первенство Москвы, которому положили начало братья Даниловичи, опиралось, главным образом, на покровительство могущественного хана,— говорит Костомаров.

* * *

С установлением на Руси власти монгольской державы русские распри и междоусобия теряют отныне свою силу пред авторитетом Орды. Великим князем становится тот, кто получает патент на это от великого хана, а не тот, кто добьется этого оружием, сражаясь в междоусобиях; власть ордынского царя подобно папской власти в известное время дает инвеституру на великокняжеский престол. Мы, таким образом, видим, что мечта византийцев о создании Восточной Римской империи воплотилась в жизнь в совершенно измененных формах — в формах создания Чингисовичами Евразии, объединенной Европы и Азии.

Даниил Александрович, князь Московский, твердыми шагами шел по этой тропе, не пренебрегая насилием для своего успеха. Он не участвует в распрях братьев своих Андрея и Дмитрия, которые то и дело обращались к Орде и к ордынскому царю за помощью друг против друга. Оставаясь в стороне против этих распрей, обладая Москвой, этим пригородом Владимира, он захватывает в полон Рязанского князя Константина и тем усиливает свое значение; его племянник Иван Дмитриевич, умирая, оставляет ему в наследство свой удел — Переяславль.

В 1303 году умер Даниил Александрович и оставил московский стол своим сыновьям, из которых наибольшая роль выпала на долю Юрия и Ивана Даниловичей.

По смерти их старшего брата Андрея Даниловича в 1304 году князем на Москве садится Юрий Данилович и этим сразу вступает в конфликт с князем Тверским Ярославом Всеволодовичем, который по старшинству дошел «бяше степень княжения великого»...

Как Юрий, так и Михаил отправились за разрешением спора в Орду, где было Юрию сказано прямиком: «Если дашь дани больше Михаила, то мы дадим тебе великое княжение...» Юрий Данилович этого сделать не мог, и великим князем становится Михаил Тверской.

Не стесняясь в средствах для возвышения своего удела, Юрий Данилович убивает Рязанского князя, которого захватил его отец Даниил Александрович, и урывает от Рязанского княжества город Коломну; в это же время происходит и прямая борьба между Тверью и Москвою: тверское войско ходит на Москву и на принадлежащие ей города.

В 1315 году Юрий Данилович едет в Орду к царю Узбеку, где и живет два года, изучая язык татарский, и даже женится

на Кончаке-Агафье, принявшей православие сестре хана. Из-за Новгорода между Москвой и Тверью все это время были раздоры, и, воспользовавшись милостью хана, теперь Юрий Данилович мог вывести из Орды войска против Твери под командованием посла Ордынского — Кавдыгая.

В 1317 году, лютой зимой, это войско было Михаилом Тверским разбито, и много людей, разбежавшись по лесам, померзло. Кончака-Агафья, попавшись в плен к тверичам, умерла; попал было в плен и Кавдыгай, но был отпущен и выехал в Орду с докладом о самоуправстве Тверского князя.

Предварительно этого отъезда Кавдыгай сговорился заявить жалобу на Михаила, как не подчиняющегося ханским решениям, совместно с Юрием Даниловичем и князьями Низовской (то есть Ростово-Суздальской) земли. С Кавдыгаем потому поехала целая масса князей, которых успел склонить на свою сторону Юрий Данилович. К Михаилу же Тверскому явился через некоторое время из Орды посол, именем Ахмат.

— Зовет тебя царь! — сказал он.— Езжай скорее, а то царь уже готовит войско против Твери... Все русские князья говорят, что ты не приедешь!

В сентябре 1318 года кн. Михаил нагнал кочующего Ордынского царя где-то около устьев Дона, поднес «поминки», то есть подарки; однако к нему приставили как к арестованному приставов для надзора.

Наконец собрались судить: к царю явились русские князья и положили в его кибитку различные обвинительные грамоты против кн. Михаила. Вышел и приговор:

— Царевой дани не давал, бился против царского посла, царскую сестру (Кончаку) уморил...

От семи русских князей к Михаилу приставили стражу из семи человек, на шею надели тяжелую колоду; отсюда можно видеть, что жестокость против кн. Михаила не столько была делом татарским, сколько опять-таки была следствием раздора русских князей между собой. Хан в это время пошел походом в Персию, и вместе с ханским становищем потащили и русского князя с колодкой на шее.

Перешли Терек, и вот 22 ноября к князю Михаилу, к его «веже», подъехали Кавдыгай и Юрий Данилович; они остановились, а в вежу вошло несколько убийц, схватили князя Михаила за колодку и так ударили им об стену, что ее переломили. Его били, топтали ногами, а потом русский, некий Романец, вырезал у него ножом сердце.

Интересны подробности этой расправы, которые нам сообщает летописец: «Вежу же блаженнаго разграбиша Русь и татарове. Сами же князья и боярове в единой вежи пиаху вино, повествующее, кто какую вину изречет на святого»...

Таким образом, кн. Михаил испустил свое дыхание под попойку русских князей... Тело бросили нагим, и только Кавдыгай усовестил Юрия Даниловича суровыми словами:

— Ведь он тебе старшим братом был, заместо отца!.. Что же он лежит теперь голый и брошенный?..

Юрий набросил на труп свою епанчу. Тело повезли в Москву и на ночлегах ставили в хлевах, а в церковь не пускали. Юрий ликовал и с большой честью въехал в Москву.

В 1325 году Юрия Даниловича снова позвали в Орду, и там его убил из мести сын Михаила — Дмитрий Михайлович Грозные Очи; царь Ордынский велел казнить убийцу лишь через десять месяцев после убийства. На сцену выступил брат и наследник Юрия Даниловича — Иван Данилович Калита; его восемнадцать лет княжения были эпохой постепенного поднятия Москвы.

Иван Данилович был ловким дипломатом и часто ездил в Орду, ладил с ханом, приобрел его расположение, и хан не посылал на Русь своих сборщиков дани и беспокойных послов. Московская земля отдохнула от военного разорения, стала находиться в сравнительно цветущем состоянии.

> «Перестали поганые воевать русскую землю,— пишет летописец,— перестали убивать христиан. Отдохнули и опочили христиане от великой истомы и многие тягости; с той поры наступила тишина по всей земле».

Москва под искусными государственными руками этого Даниловича стала выдвигаться на первое место. Новгород был погружен в свои традиционные вольные раздоры, Киев к этому времени опустел: Десятинная церковь лежала в нем в развалинах, от св. Софии стояли одни стены, не было монахов в Печерском монастыре. Митрополиты, ставимые Византией, даже уже не жили в Киеве, а вели страннический образ жизни; ближайший к этому времени митрополит Максим больше всего проживал во Владимире, хотя и именовался Киевским.

Его преемник, митрополит Киевский Петр, русский родом, из Волыни, тоже в своих разъездах много живал во Владимире, бывал по делам русской церкви в Орде и сблизился под

конец своей жизни с великим князем Иваном Даниловичем.

Сохранившийся ханский ярлык, данный митрополиту Петру царем Узбеком в 1313 году, превосходно рисует положение православия в то время; монголы были абсолютно веротерпимы и не мешали русским исповедовать свою веру.

Больше того, Ордынский хан в своих ярлыках давал православной церкви огромные преимущества, какие она всегда стремилась получить и от русских князей. Преимущества эти были: экстерриториальность церкви от княжеской и татарской власти, церковные суды, свобода от налогов и дани, свобода всех принадлежащих так или иначе к церкви людей от мобилизации по распоряжению хана:

> «А поедут наши баскаки, таможники, даньщики и писцы — по сим нашим грамотам, как наше слово молвимо, да будут все Соборныя церкви целы Митрополичи, никем не изображены вся его людие и всякое его стяжание, как ярлык имеет, и Архимандриты, и Игумены, и Попы и вся его причты церковные. Дань ли на нас емлют, или что иное, кто ни будет, тамга ли, поплужное ли, ям ли, мыз ли, мостовщина ли, ловитва ли кая не буди, или егда на службу нашу с наших улусов повелим рать сбирати, где восхотим воевати; а от Соборныя церкви Петра Митрополита никто же не взимает и от всих людей, и от всего его причта: те бо за нас Бога молят и нас блюдут, и наше воинство укрепляют».

При таком благородном отношении «поганых» монголов к церкви, про которое как-то постоянно забывают русские историки, конечно, она процветала и увеличивалась в своих владениях. Уйти под сень монастыря — это значило уйти из-под ига и налогов монгольских, которых (налогов) русский человек никогда не любил и даже всегда считал их изобретением антихристовым. Удивительно ли, что святитель митрополит Петр оказался большим пособником великого князя Московского?

Почасту живал на Москве св. Петр митрополит и 4 августа 1325 года заложил на ней первую каменную церковь — Успенский собор. В этот собор в 1395 г. была перевезена святыня Андрея Боголюбского, Вышгородская икона Божьей Матери, и таким образом дело властного князя Андрея Юрьевича, погибшего от русской крамолы, нашло свое продолжение в делах Ивана Даниловича.

В новом соборе митрополит Петр приготовил себе гробное

место вечного упокоения и сказал Калите следующее знаменательное пророчество:

— Бог благословит тебя выше всех других князей и распространит город сей паче других городов; и будет род твой обладать местом сим во веки, и руки его взыдут на плещи врагов ваших, и будут в нем жить святители, и кости мои зде положены будут

Через год, в 1326 году, зимой скончался на Москве митрополит Петр, оставаясь с тех пор вечным покровителем Москвы, ее нравственных символов. Его преемник, митрополит Киевский Феогност, переселился в Москву уже окончательно.

Однако в Твери еще сидел князь Александр Михайлович, сын Михаила Тверского, и легко понять, что его чувство по отношению к Москве было не из хороших. Взаимно и Иван Данилович зорко следил за каждым удобным случаем, чтобы покончить с врагом, и наконец его дождался.

В Тверь приехал татарским наместником некий ордынский чиновник Чолкан (Щелкан Дудентьевич) и поселился в княжеских палатах... Народ терпел скрепя сердце; однажды вышел случай, что татары стали тащить у какого-то дьякона Дюдка его жирную молодую кобылу, желая ее зарезать. Ударили горячие головы в набат, всех татар перебили, но кое-кто проскочил в Орду с донесением.

Зимой вошла в Тверскую землю татарская сила, совместно с русской, и во главе ее в звании старейшего князя шел Иван Данилович Московский, выжигая, разоряя землю. Александр Михайлович убежал в Псков, и Иван Данилович обложил этот город из Новгорода, требуя выдачи преступника против царевых предков, рачительно исполняя ханский приказ о представлении Александра в Орду на расправу. Бывший с кн. Иваном митрополит Феогност наложил на псковичей проклятие и отлучил их от церкви за н а р у ш е н и е п р и с я г и х а н у.

Тогда Александр убежал в Литву, где и жил 10 лет. Наскучив беженским существованием, он через 10 лет приехал назад прямо в Орду и явился пред ханом Узбеком, заявив напрямик:

— Царь самодержавный!.. Я пришел к тебе принять от тебя либо жизнь, либо смерть! Как тебе Бог на душу положит, так и делай, а я готов!

Этот смелый маневр очень понравился хану, и он возвратил Александру Михайловичу его тверское княжение; но это не могло понравиться Ивану Даниловичу Московскому, и

он немедленно по получении известий об этом скачет в Орду со своими сынами, клянется там в вернейшей службе хану. Одновременно он ведет интригу против Тверского князя.

Интрига удалась: Александра Михайловича вызывают в Орду, и он, предварительно послав туда своего сына Федора, едет вниз по Волге. По приезде он узнает, что «дело плохо: царь его убить хочет». Так говорят ему знакомые лица из ханских вельмож.

Целый месяц прожил Александр Михайлович; 26 ноября 1338 года было ему объявлено, что убит он будет через три дня. В роковой день он встал, отстоял заутреню и поехал в Орду верхом — разузнавать поточнее, когда же будет ему смерть. Сказали, что через час. Тогда он вернулся в свой шатер, причастился; пришли два палача с вельможей Тавлумбеком и ему и его сыну Федору отрубили головы. Княжие приближенные же в ужасе разбежались...

Иван Данилович радовался — теперь у него не было соперников, он верно служил Ордынскому царю и ходил даже в татарские рати с московским войском воевать Смоленск, укрепляя тем самым московский ратный опыт, а вместе с тем скупал и всячески приобретал земли.

А между тем, наряду с этим укреплением Даниловичами Москвы, сама-то Орда слабела и слабела; через 30 лет после описываемого нами времени, в 1368 году, монгольская династия Юань в Пекине ниспровергается одним чистокровным китайским монахом, который и становится родоначальником знаменитой династии Минов; мало-помалу огромное Царство Монголов начинает дробиться и колоться, гореть в междоусобицах:

— Над получившей огромный исторический государственный опыт Русью начинает восходить заря освобождения и наследования царства Чингисхана.

Через пятьдесят лет один из Даниловичей, Дмитрий Иванович Донской, который «бяше же крепок зело, и телом велик, и широк и плечист, и чреват вельми и тяжек; брадой же и власы черен; взором же дивен зело», в день Рождества Богородицы бьет на Куликовом поле силу одного из последних ордынских ханчиков — захватчика и узурпатора Мамая.

При сыне Дмитрия Донского, великом князе Василии, Москва значительно расширила свои владения; она получила землю Суздаля и Нижнего Новгорода; хан дал Василию Дмитриевичу города Нижний Новгород, Городец, Мещеру, Тарусу, Муром.

Подбирая уделы под свою руку, поселяя «княжат», то

есть потомков удельных князей, в Москве, раздавая земли за службу, прикрепляя к ней на праве тягла и помещиков и крестьян, под благословением православной церкви и таких ревностных ее деятелей, как св. митрополиты Петр, Алексей и Иона, расправляясь с остатками вечевой свободы, вырастает в исторической перспективе Великий Князь Московский, собиратель земли русской. Это уже не варяжский хищник, это не безвольный и бессильный хитрец-византиец. И мало-помалу ко времени двух последних великих Даниловичей, Ивана III — деда и Ивана IV Грозного — внука, перед взором изумленного Запада встает, простираясь в приобретениях Ермака чуть ли не до Тихого Океана, сильная Московия.

Блистательно Даниловичи завершают свой творческий кровавый, своеобразный, но необходимый, истинно русский путь, чтобы пасть под напором Запада и хитроумия Рима, открывая путь Смутному времени под ночные пророческие голоса, плач и вопли в Архангельском соборе.

Оправданный Аввакум

1 апреля 1681 года кончил свою многострадальную жизнь протопоп Аввакум, сгорел на площади глухого городишка Пустозерска.

250 лет минуло с той поры; в течение этих 250 лет память о протопопе Аввакуме сохранялась главным образом одними старообрядцами; в широком русском обществе о нем говорили немного удивленно, как об упрямце, который не пожелал соблюдать такого пустяка, как правила грамматики в священных книгах, и вообще — всему этому эпизоду придавали мало значения.

Причина этого двухсотпятидесятилетнего пренебрежения к страданиям протопопа Аввакума со стороны русского общества лежит в том, что протопоп Аввакум не был революционером. Более того. Он был страстным убежденным русским националистом. Вот почему само имя его отсутствовало до сих пор в синодиках русской общественной истории.

Только теперь русские взоры мало-помалу обращаются к своей родной истории, только теперь образы прошлого начинают светиться небывалым особенным блеском, обновляться так, как обновляются древние иконы. Разруха настоящего, которая превзошла собой всякое вероятие, заставляет нас оглянуться назад и отметить в прошлом то, на что мы прежде не обращали должного внимания. Мы видим, что, в противность настоящему, в прошлом мы имели крепкое, сильное, слаженное государство, и это преисполняет нас уважением к тем деятелям этого государства, которые его создали, и тем, кто держал тогда высоко стяг русского национального дела.

— Ох, ох, бедная Русь, чего тебе захотелось немецких обычаев! — повторяем мы теперь с протопопом Аввакумом и, расширенным историческим опытом оглядываясь назад, понимаем, что значили тогда его вещие слова:

— Зима хощет быти... Сердце озябло, и ноги задрожали!

Эта зима действительно пришла и оттого, что нарушили первый завет мудрого и осмысленного консерватизма, данный проникновенным протопопом, того консерватизма, который

кажется таким ничтожным, неважным в сравнении с ослеплением «просвещением»:

— Нам всем подобает умирати за единый аз. Великая сила в сем азе сокровенна! — говорил Аввакум.

Нарушив «азы», нарушили не только заветы и старый установившийся исторический опыт, а забыли то, что переживали тогда, в начале XVII столетия, о чем болел душой, горел и проповедовал протопоп Аввакум.

Вспомним же его дело и его время.

* * *

Протопоп Аввакум родился вскоре после того, как окончилась великая смута на Руси, раздиравшая страну под именем Смутного времени. Но и после нее государство продолжало бродить, находиться в нестроениях, неурядицах. Целых десять лет при царе Михаиле Федоровиче невступно заседал Земский собор, которому было много дела по устроению государства и который выносил приговоры «по указу великого государя и по всей земли приговору».

Этот собор и впоследствии собирался неоднократно, до царствования Алексея Михайловича включительно... Не подлежит никакому сомнению, что хотя между собором и царем не было положено каких-либо определенных уставных грамот, тем не менее связь была самая тесная, нужная и желательная связь царя и земли.

Таким образом, уже в воздухе того времени как бы жили определенные, накрепко установленные понятия о праве земли участвовать в судьбах самого государства, праве, полученном в лихолетье. Да и сама память о днях лихолетья была еще свежа, и старики рассказывали маленькому Аввакуму о великой разрухе. Протопоп Аввакум происходил к тому же из Низовской земли, из Нижегородской области, а памятна всем та огромная роль, которую сыграла Низовская область, в частности Нижний Новгород, при подавлении и перед подавлением мятежа в 1613 году. Население этих низовских городов принадлежало к оплоту Москвы и московской собирательной политики: после того как смута покончила с остатками высшего боярства, с удельными тенденциями которого боролся Иван Грозный, явилась на первое место «земля» — земский, средний класс, который историко-геог-

рафическими обстоятельствами был поселен к востоку и на север от Москвы. К 1612 году в Ярославле образовалась, говоря современным языком, уже настоящая боевая организация для борьбы за страну и за порядок, причем процесс образования этого намечается гораздо раньше. Этот средний северный класс давно подозрительно присматривался к борьбе в верхах Москвы в последних годах XVI века. Когда явился оживший царь Дмитрий, то в указанных местах разговоры шли, что-де «еще до нас далеко, успеем с повинной послать, не спешите креста целовать!».

Умная и осторожная политика первого Названного Дмитрия кончилась, как известно, буйственным сидением тушинцев. Северные и низовские города видели, что тушинцы были переполнены в своем составе иностранцами, и северо-восток встал наконец против «панов» и «Вора». Мужики северных областей еще раньше сами собирали «рати» и выставляли их для мелкой войны против тушинских отрядов. Образовалась линия городов, которая вела эту борьбу, и в этой линии были Устюжна, Кострома, Решма, Юрьевец-Поволжский, Городец, Балахна. В Вологде заседал совет обороны из вологодских купцов и из представителей национальной Москвы. Левый берег Волги освободился от Вора к 1609 г.

До 1612 года, чтобы обсудить положение, стало быть, было достаточно времени: политика «боярского царя» — Василия Ивановича Шуйского тоже мало удовлетворяла широкие слои Замосковья и Низовской земли. Обмен «грамотками» — грамоты с западной части Руси, предупреждавшие против присяги польским королю и королевичу, обмен — «обсылки» специальными людьми, ездившими из города в город с целью взаимной информации и доброго совета,— все это подготовило в широких слоях тогдашнего общества совершенно определенные общественные взгляды. Нижний Новгород выступает в 1611 году с грамотой, в которой четко устанавливает свои программные положения. В ней Пожарский, а с ним нижегородцы заявляют, что отрекаются от Воренка и от Литовского короля и желают всей землей выбрать нового государя, «кого Бог даст». А до того надлежит всем держаться вместе, «в одном свете», и «на польских и литовских людей идти вместе».

Явившееся в результате этих лет Ярославское правительство пришло в Москву с нижегородской ратью и установило порядок на Руси. Общественное мнение с установлением на Москве нового строя определилось окончательно. Погибли, сошли в ничтожество все крупные боярские роды, которые

играли в политику и заигрывали с поляками. К власти, а следовательно, и к общественному мнению вышли средние торговые, земские, духовные слои. К ним присоединились и их возглавляли в борьбе за мир средние дворянские роды — военные по преимуществу, и, таким образом, англичанин Флетчер совершенно прав, когда говорит, что победит в смуте тот, на стороне которого земское «войско».

— А особенно тогда определилось мнение земли,— говорит проф. С. Ф. Платонов,— что хотя царь и есть «сильножитель» и что подданные его «рабы», но все же они, поднявшие царство из смуты, имеют и гражданские права и гражданские обязанности.

Кроме того, в польских армиях и в шведских войсках Михаила Васильевича Скопина-Шуйского и Делагарди были иностранцы, которые с чрезвычайными насмешками и небрежением относились к верованиям и нравам русского народа. Эти элементы дали на Руси известное могучее течение общественного мнения, что надо остерегаться иностранцев, вести добрый обычай, который был столь опасно потрясен и тушинцами и поляками, а главное — стоять за то, что составило центр и цитадель народной обороны в Смутное время,— православную веру. Даже монахи того времени не только творили молитву, не только помогали советами, нет,— они дрались на стенах монастырей и городов наравне с ратными и мирскими людьми.

На фоне этих явлений вполне понятно настроение протопопа Аввакума. Установившаяся жизнь Московского государства, далеко простиравшееся его влияние уже заставляло московскую власть и особливо московское окружение власти забывать о плохих временах, в каких власть эта находилась полвека тому назад. Царь Алексей Михайлович был мягкий, добрый, по-русски вспыльчивый и по-русски же упрямый, но нестойкий человек; вышедшему из мордвы, из сильных и упрямых инородцев, сильному гиганту Никону, удивившему своим богатырским здоровьем гостя на Москве диакона Павла Алеппского, при кротком царе Алексее лестно было попытаться воспроизвести строй рухнувшей Византии, титуловаться «великим государем» и по льстивому указанию наехавших лукавых царедворцев, эпигонов-византийцев — на своей особе возродить весь блеск Третьего Рима после Рима Первого, после Рима Второго. Кем, собственно, и был Никон на Москве в своей политике.

Никон возрождал в церковной жизни, в церковно-государственном обиходе на византийский манер стремления,

аналогичные притязаниям удельных князей, с которыми за полтораста лет до того жестоко расправился Иван Грозный,— он мечтал о свободе для себя.

В самом деле. Пусть даже правы «справщики», которые правили церковные книги по греческим образцам, пусть бесспорны эти самые образцы, пусть они не печатаны в иезуитских западных типографиях, но какой смысл имело вместо русского древнего церковного обряда и предания на это же место ставить обряд и предания греческие, по существу нисколько более не авторитетные со стороны канонической, но только приемлемые для патриарха Никона, как совпадающие с его цезаро-папистскими мечтами?

Вот в этой-то обстановке и выступил протопоп Аввакум, выступил как борец за чистое национальное православие, за свободу церкви от участия в делах мирских, за сохранение этой цитадели русского духа от руководящего и всегда своекорыстного вмешательства разъезжих иностранцев, зачастую весьма авантюристического типа, вроде Арсения Грека.

Что разумел протопоп Аввакум, когда настаивал на точности начертания имени Исусова, на употреблении двуперстного знамения и на сугубой аллилуйе, и на сохранении стиля старых икон, и на соблюдении старых книг? Слово «фанатик», которое слишком часто раздается по адресу старообрядческих деятелей,— слово слишком легкомысленное. Оно выражает то пренебрежительное по существу мнение, что-де люди держатся за какие-то ни к чему не нужные обряды, за букву и противятся «прогрессу и культуре»... Такое рассуждение по существу является само по себе и некультурным и невежественным; ведь, рассуждая так, говорящие явно не понимают, что значили для защитников старого обряда эти символы и почему они так держались за них. Нашему русскому интеллигенту, с его расшатанными понятиями, вообще совершенно безразлично было до революции 1917 года, как налагать на себя крестное знамение, и если он стоял за троеперстие, то только потому, что верил свидетельству «просвещенных» греков. Нет, не зря была отмена двоеперстия для Аввакума знаком страшным, знаком прихода зимы. Ведь он смотрел практически — на его любовной памяти о предках — создателях земли русской — были святители московские Петр, Алексей и Иона, которые крестились по-старому и молитва которых была успешна,— вон какое царство они создали.

— А этим новым и книги не в книги!

Вот почему он объявляет войну новшествам так, как в свое время он объявил войну невежеству среди своей паствы, которая его за это в Юрьеве-Поволжском чуть не убила... Протопоп Аввакум реформ не боялся, но он совершенно правильно требовал в качестве полноправного и полногласного, самоотверженно смелого гражданина своей страны, привыкшего идти на борьбу против смуты к самостоятельности, чтобы осторожно относились к переменам.

Что можно сказать против такой линии протопопа Аввакума? Ничего, кроме уважения, не вызывает она в нас, ничего, кроме почтения к его прозорливой мудрости. Напомним нашим читателям, что эта выдержка протопопа Аввакума по отношению к новаторам вовсе не противоречит понятиям, установленным на Западе. На Западе именно чрезвычайно боятся скороспелых, яростных реформ, стиля Никонова действия. Года два тому назад в английский парламент был представлен законопроект о необходимых изменениях, которые нужно было внести в установленный для народа английского молитвенник. И что же? Несмотря на то что докладчиком по этому делу явился сам епископ Кентерберийский, парламент в первый раз отклонил этот законопроект потому, что представлял его не лично епископ, а его представитель. Вопрос был признан слишком важным, чтобы его решить в отсутствие больного епископа.

Нет, не фанатизм умудренно видим мы теперь в действиях протопопа Аввакума, не слепую ярость, а разумный и трезвый взгляд на вещи. Нельзя, никак нельзя легкомысленно менять азов; ведь разве не ужасно то, что в результате реформы Никона, которого позднее все равно пришлось убрать из патриархов за его неподходящее сану поведение, русская церковь раскололась.

Да, раскололась, распалась на слабое официальное православие и на действительно народную, крепкую церковь, которую представляет из себя старообрадчество. Конечно, мы не говорим того, что вся никоновская церковь официальна в дурном смысле этого слова; дело в том, что та большая часть ее, которая не официальна, а по существу народна, которая живет с народом и в народе и твердо блюдет при этом канонические основания, та ничего не имеет против раскола, и такого по существу для нее не существует, как его не существует и для массы русского народа.

Кроме того, старообрядчество можно определить и эт-

нографически: это — великорусская религиозная мысль и вера, вера московских традиций.

Разразившаяся революция 1917 г. на Руси имела своим следствием в отношении русской православной церкви то, что в церкви началось великое смятение, продолжающееся по сей день. Нельзя никак отрицать, что церковь православная, обнимавшая огромное наше государство, не устояла так в бурных волнах истории, как устояла церковь старообрядческая. Насколько известно пишущему эти строки, соблазн живой церкви, то есть церкви, «реформированной» в духе разного рода рационалистических современных новшеств, прошел мимо старообрядчества, не задев его. Очевидно, на стороне старообрядчества была историческая сила, или, иначе говоря,— правота.

Мало того. При объявлении живой церкви со стороны советских властей церковью покровительствуемой, при предоставлении ей всяких выгод и прочего — в русском обществе 1918 и следующих годов обнаружилось то же самое явление, которое повело к отпадению от живой церкви — церкви Тихоновской. На чем основывалось это отпадение? На верности старому обряду, на верности народа церкви отцов, ни на чем больше. И теперешняя Тихоновская церковь идет, таким образом, по стопам консервативного протопопа Аввакума в его национальном делании, являясь тем самым «старообрядцами второго призыва», так сказать.

Соблюдем же и мы правду, которую проповедовали наши мученики за веру, наши национальные пророки, сгоравшие на кострах! Они — русские, и они в своем национальном своеобразии доступны пониманию самого широкого народа русского.

Их помнят, их уважают, их почитают, им кланяются.

И все это правильно. С нашей же стороны, со стороны так называемой интеллигенции русской, надо еще, чтобы их знали.

Вот почему взоры многих теперь обращаются к русской истории:

— Мы хотим познать самих себя!

А познавая самих себя, нельзя познавать только одного Петра Великого, преобразователя русской земли.

Нет, кроме него еще есть и протопоп Аввакум, пламенный поборник национального своеобразия, оправданный, проверенный, утвержденный в правоте самым страшным судом —

— временем, двухсотпятидесятилетней историей.

— Да, он прав,— говорим мы теперь.

И, разумно заботясь о развитии, усовершенствовании народа нашего, об усвоении им всего нужного, необходимого в жизни материальной прогресса технического и научного, в то же время сохраним веру отцов наших, потому что вера в изменении не нуждается. Она вечна.

Вечная память протопопу Аввакуму и его завету:

— Нам всем подобает умирати за единый аз. Великая национальная сила в сем азе сокровенна!

О судьбах еврейства

Из глубоких и мокрых подземных темниц, сквозь железные решетки тюрьмы и из далеких и необитаемых краев сибирской ссылки шлет сионистическая молодежь России свои горячие приветствия сионистическому конгрессу в Базеле...

Обращение к 15-му сионистскому конгрессу в Базеле

В настоящее время общественный интерес привлекает к себе обнаруживающаяся распря между местным еврейским обществом и Советом профсоюзов. Как известно теперь, именно из-за нежелания СПС намеченный концерт старинной еврейской музыки не может состояться — ему не дают артистов-исполнителей. Мотивировка же отказа — концерт устраивается сионистами, а сионисты — организация контрреволюционная.

Надо сказать, что этот инцидент мы считаем имеющим крупное принципиальное значение. В нем опять сталкиваются национальные интересы еврейства с политикой современного правительства России. «Еврейская жизнь» обещает, что по поводу «контрреволюционности» сионистов она будет писать в следующем номере. В какую бы форму ни вылились ее рассуждения — это очень интересно. Во всяком случае это будет какое-то выявление старых, не сведенных до сих пор исторических счетов, которых мы много видим в истории еврейства в России.

* * *

Еврейство как народ очутилось в России со времени 1-го раздела Польши, то есть всего только полтораста лет. В Польше же евреи начинают появляться с XIII века, причем еврейская иммиграция усиливается в 15, 16 и 17-м вв. Откупа таможенных застав, винные, соляные, восковые пути сообщения и т. д. занимаются ими. Позднее в откупную систему этих выходцев из Испании, Германии, Чехии стали попадать и помещичьи и сельские хозяйства.

Еврейские общины разбросаны были по городам. Параллельно с распространенным в польских городах Магдебургским правом получили привилегии и эти еврейские общины — кагалы, объединяемые в ваады — центральные сеймы кагальных представителей. Обладающие этой внутренней орга-

низацией, евреи в феодальной Польше образовали третье сословие — торгово-промышленный класс, посредствующий между панами и холопами. Господство кагала, правда, было несколько поколеблено ко времени вхождения Польши в Россию, но во всяком случае евреи вошли в Россию со своим приобретенным ими исторически в Польше правом, в противоположность коренной России, где они вообще, за малыми отдельными исключениями, не жили. Эти самые места, обладающие старым польско-еврейским правом, и образовали ту пресловутую «черту оседлости», которую в наше время принято было толковать обратно в смысле ограничения прав евреев. Наоборот, «черта оседлости» — это те права, которые евреи принесли с собой из Польши, тогда как в России не было соответствующего о них законодательства.

Занятое более крупными делами русское правительство не интересовалось делами евреев в начале их вхождения в состав Российского государства, и поэтому в еврействе наблюдается повторный свободный рост значения религиозной общины, кагала. Против этого влияния, против развивающегося влияния еврейской олигархии растет протест, сначала находящийся в сфере чисто вероисповедных интересов в виде т. н. «хасидизма»: это движение требует раскрепощения личности, протестует против теократии и плутократии. Но во всяком случае еврейская община этого времени — начала XIX века — является настолько замкнутой в себе и по языку, по воспитанию, что законодательство александровского и николаевского времени просто-напросто почти обходит ее, по ее замкнутости.

40-е годы изменяют положение — еврейская община раскрепощается сама, сбрасывает с себя иго кагала. Обращает на нее внимание и русское правительство, способствуя учреждению особых школ — правда, еще чисто религиозных школ, «меламедов». Для того чтобы разрушить религиозную фанатичную отчужденность евреев, принимаются те же меры, что принимались царем Петром и против русских: режутся полы халатов, стригутся пейсы, выселяются в города из сел и т. д. Новые законы становятся символом гонения, причем особливое возмущение вызывает воинская повинность — развивается т. н. «поймачество», то есть будущих солдат приходится ловить силой.

Было бы, однако, неправильно полагать, что этот метод действия был исключительно насилием над еврейским народом. Нет, подобное революционное понимание пришло позднее. Наоборот, именно эти меры поддерживались

известной группой самого еврейского населения, т. н. «евреями немецкого воспитания», которая стремилась секуляризовать еврейскую общину, сделать для нее «щель в Европу». «Через просвещение к гражданственности» — вот был лозунг этих сотрудников русского правительства, против которых восстала религиозно до фанатизма настроенная масса и слепые ревнители старины.

Итак, «хасидизм» заменяется борьбой за светскость. Начинает входить мало-помалу в обиход русский язык.

Начиная с 60-х годов — новый поворот во мнении еврейского общества. Старый еврейский строй подвергается сплошной ломке. С реформами Александра II соединено ослабление еврейского бесправия вне черты еврейского права, то есть вне черты оседлости. Актами Александра II дается право свободного переселения за черту оседлости лицам свободных профессий, купцам 1-й гильдии и ремесленникам. Еврейские дети получают доступ в учебные заведения, причем многие состоят стипендиатами правительства. Наконец, в 1859 году учреждаются еврейские училища — только со светскими знаниями.

Таким образом, не кто иной, как именно русское правительство ведет просветительную работу среди евреев, опираясь на многих их передовых представителей, раскрепощая их от ига религиозной общины. За 20 лет царствования Александра II весь строй еврейской жизни обновился. В еврействе — полный переворот. Вместо закоснелого талмудизма, вместо талмудического обучения идет новый свободный лозунг — «просвещение!», а вместо талмудистов — руководителей религиозной общины — является дипломированная интеллигенция.

60-е и 70-е годы несут полную дифференциацию светской еврейской интеллигенции. Она даже рискует заняться свободным богословием, выпускает на древнееврейском языке свои современные газеты, образуя т. н. «максилим», то есть «умствующих». Зато другая группа, более радикальная в светском отношении, выдвигает эффектную новую программу, правда сколок с немецкого еврейства, но тем не менее сильно действующую:

— Несть эллина! Несть иудея! — восклицают представители этой группы. — Мы — русские Моисеева закона!

Период 60-х годов — период ассимиляционный, и он очень силен. Всюду идет широкая агитация за принятие русской речи. Еврейское гетто средневековья еврейские кварталы

Германии, приниженное положение евреев в Польше начинает раскрепощать только Россия. Появляются так называемые казенные раввины, вовсе уж не так игнорируемые еврейским населением, как это принято говорить было в последнее время. Наконец, идет переселение на Восток, в Сибирь. Между прочим, нельзя забывать, что современный отвод евреям земель для их колоний начался уже в царствование императора Александра I и Николая I. С 70-х же годов вырабатывается совсем особый тип сибирского еврея.

80-е гг. несут с собой первый антисемитизм, несут с собой ограничение для евреев, раздается лозунг: к р о м е е в р е е в! Последняя политика русского правительства, которая совершенно объективно была столь неловка, что кончилась крушением трона и кровавой революцией, бросает евреев в объятия революционеров. Одна из книг А. Амфитеатрова красочно рисует участие евреев в революции. Борьба бундовцев и сионистов проницает собой все последнее время. И Бунд (то есть Еврейская социал-демократическая партия) играет теперь видную роль в большевизме.

Мы намеренно не касаемся сейчас сионизма и связанных с ним проблем. Сионизм — международное еврейское движение, в котором играют роль многие сложные мотивы. Но русское еврейство, питая сначала такую почтительную привязанность к старому режиму в России во время его просветительной деятельности, связывая со старой Россией свои дела, свои предприятия, свои торговли, весь обиход честного и простого существования, конечно, не может пылать такой революционной горячностью, которой пылала молодежь из Бунда. Против еврейства много существует обвинений теперь в том, что оно помогало революции. Да, оно помогало революции, но делал-то революцию русский дворянин Ленин-Ульянов:

В Европе сапожник, чтоб барином стать,
Бунтует, понятное дело!
У нас революцию делает знать —
В сапожники, что ль, захотела?

(Кн. Вяземский)

А начали-то революцию в 1825 году, до того, когда евреи говорили по-русски.

Конечно, в революции участвовало много евреев, но много и не участвовало, а если даже участвовало, то только потому, что еврейство очень сильно восприняло русскую культуру. Русское еврейство чрезвычайно патриотично в отноше-

нии России, как пишущему эти строки приходилось не раз наблюдать на Западе во время своего там пребывания, и естественно, что мрачное, восточное русское безумие одних вспыхнуло огнем в пламенных семитских головах других.

Но старое-то, кондовое еврейство — довольно ли делами своих сынов? Довольно ли оно разрушением той традиции, той преемственности жизни, которая одна только дает безбоязненно догорать умудренной годами старости?

Нет! Мы теперь можем решительно сказать, что нет. Нелепы возгласы о старых «погромах» в России, и только о погромах теперь, в дни общего погрома. О, мы отлично понимаем тех, кто ведет такую агитационную линию... Но, черт возьми, пишет же лирический Шолом Аш о «тихих вечерах в Синагогальном переулке»... Изобразил же Антокольский, как никто, Ивана Грозного! А разве не Исаака Левитана представляем мы, когда говорим о красоте русской природы, и разве Левитан — не Чехов в живописи? Неужели память о делах былой русской полиции сильнее памяти о былой русской культуре.

И конечно, культурное, настоящее русское еврейское общество недовольно происходящим в СССР. И в речи проф. Вейцмана на Базельском конгрессе мы слышали это, и в разговорах отдельных лиц. На что еврею трескучий коммунизм, когда ему надо просто работать!

Конечно, еврейский народ не прост, он словечка не выронит неосмотрительно. Ведь не в России начал он свою историю. Он пришел в Россию на своем многовековом пути, богатом испытаниями, опытом, навыками. Евреи снабжены 5000-летним культурным навыком, и своей судьбы неосмотрительно в чужие руки они не отдадут. И пока они молчат.

Но еще одно обстоятельство. Ведь теперь — с отторжением Польши, Литвы и так далее — ушло обратно и еврейство. Черта оседлости стала зарубежьем. Оставшимся в России 2—3 миллионам евреев не может быть суждено большей роли, в то время как их соотечественники томятся в руках воинствующего полонизма. И не лучше ли в интересах и русского еврейства и их соотечественников именно заключить союз с теми, кто восстановит свободный безнасильный мир среди объединенных народов Евразии — России? Не лучше ли отмежеваться от коммунистов, этих гасителей всего живого, что есть в послереволюционной России? И не воскреснет ли вновь старая многообещающая формула:

— Мы — русские Моисеева закона!

Тучи над Востоком

Кроме украинского, в жизни идет другой огромный процесс — процесс собирания других народностей, который грозит совершенно изменить привычное положении России на Востоке — в Поволжье, в Каспийской области, на Кавказе, в Крыму и Средней Азии.

Я имею в виду пантуранское движение. Покамест центральная московская Россия, Великороссия, та самая, которая создала и собирала Российскую империю, обучается в широких масштабах тракторному искусству, недоедая и недоживая, освобожденные революцией и усиленные ею широко развивают национальные противоречия в указанных местах. Пантуранизм — это новые идеи о великом старом — готовится по-иному перекроить и этот край бывшей России.

* * *

Туран — географическое название страны, лежащей между Каспийским морем, Иранской и Акмолинской возвышенностями и истоками Сырдарьи и Иртыша.

Потомки туранских племен рассеяны в Азии и в Европе, и к ним относятся: турки Константинополя, Малой Азии, татары Южной и Восточной России, Кавказа, туркмены и тюрки Персии, Средней Азии, узбеки, киргизы, монголы, тунгузы, туземцы Сибири, а также финны, болгары и венгры.

Вот, пантуранизмом и называется то течение, которое ставит своей целью национальное и государственное объединение туранских народов.

Среди этих разбросанных народов есть, однако, одна спаянная языком, верой и культурой группа, которая занимает сплошной цепью пространство от Средиземного моря до Китайских стен. Это — турко-татарская группа туранских народностей. Об их-то объединении и идет речь*

---

* См.: Зареванд. Турция и пантуранизм, стр. 36.

* * *

Увы! Это движение началось нигде, как в России, под влиянием революционных настроений той же русской интеллигенции, в среде русских татар. В 1879 году начинает выходить в Бахчи-Сарае газета «Терджиман». В 1895 году начинается расцвет т. н. «Татарской Идельской» (т. е. волжской) литературы. Устами художественной татарской литературы, преследовавшей совершенно иные цели, нежели литература Толстого и Михайловского, русские татары воспевают героизм и подвиги славных своих предков, некогда господствовавших над Азией и Европой.

Эти предания и истории повторялись недавно столь провиденциально в том движении, которое встречено было шумно и которое зато теперь зреет в тиши,— в движении евразийском. Развитое совершенно самостоятельно, оно, однако, совпало в известных чертах с идеологией пантуранизма.

Работа татар в этом направлении привела к тому — кто это знает?! — что в 1905 году на нанятом специально пароходе около Нижнего состоялся «Мусульманский конгресс на водах», а через год и в Макарьеве на Волге, где участвовало до 800 делегатов.

На этих съездах было постановлено, что общим языком для всех этих племен, досель разъединенных, должен быть язык константинопольских турок. Было постановлено тогда еще во всех мусульманских школах ввести школьную программу Турции.

Зародившийся в интеллигентской революционной России на национальной почве пантуранизм как движение перекинулся в Турцию уже после младотурецкого переворота. Поэт Гек Альп пишет в своем органе стихотворение «Туран»:

> В биении моего пульса я слышу отголоски звуков, идущих из глуби веков... В самой крови, в биениях моего бурного сердца читаю я о победах, одержанных моим честным и избранным народом...
>
> Не Турция родила турок, и даже не Туркестан, а далекая страна — Туран.

После Балканской войны идет большая борьба между оттоманскими (т. е. общеимперскими), исламистскими и пантуранскими движениями в Турции. И то настроение, что тюркский национализм превыше государственности Оттоманской империи, превыше религии ислама, возобладает.

В проделанной в это время работе пантуранские деятели лозунгом выставили «обращение к народу» (Халк-догру).

В народ они несли цивилизацию, а от народа брали культуру. Они стали изучать нравы, обычаи, песни, воззрения народа, чтобы на этом основании построить национальный, руководящий отбор. Этому принципу последовал, между прочим, позднее и Кемаль-паша, партия которого называется именно «Народ» и который всегда заявлял о «суверенитете народа» и крестьянина.

Наряду с этим национальным лозунгом — «к народу», тюркисты взяли и лозунг — «к Западу», опираясь на пример Японии. Их афоризмом стало:

«Эуропа кефале, тюрккалиле», то есть «с европейской головой, но с турецким сердцем».

Равным образом увлекаясь принципом Германии — «Дейчланд, Дейчланд юбер аллес»,— пантуранисты ставили национальным героем не Халифов, наследников Пророка, а Чингисхана, этого грозного владыку, хотя и не мусульманина. И вполне понятно, что по вступлении в войну с Россией в 1914 году турецкие националисты этого толка могли уже писать:

> «Московы (русские), следуя заветам «Сумасшудшег Петра» (т. е. Великого), поставили себе целью уничтожить турок... Поэтому участвуя в войне против московов — мы преследуем и более непосредственную цель — осуществление нашего национального идеала, который заключается в том, чтобы мы могли нашу империю довести до ее естественных границ, охватив и объединив все соплеменные народы».

И двинувшаяся на восток турецкая армия прежде всего истребила армян, которые своей страной лежали на пути Турции к Турану. «За три месяца я сделал для ликвидации армянского вопроса больше, нежели Абдул-Гамид за тридцать лет»,— цинично заявил Талаат-паша, главнокомандующий.

Однако русские армии на Кавказском фронте дрались в Великой войне превосходно, и пантуранистов уже охватило отчаяние. Их планы рушились под ударами Юденича.

В это время в России вспыхнула революция.

* * *

На русском общемусульманском съезде в 1917 году, 1—14 мая, Расул-заде для тюрков требовал лишь «отдельной комнаты в общероссийском доме». Но ту-

рецкая армия в то же время при первой возможности двинулась вперед за отступавшей и разлагавшейся русской армией, преследуя свои национальные задачи. На приказание германского штаба — перебросить дивизии против англичан — со стороны турок не последовало исполнения. И в 1918 г. Азербайджан стал турецкой провинцией.

Глава азербайджанского правительства Хан Хойский в Елизаветпольской мечети заявил главнокомандующему турецкой армией Нури-паше:

— С трепетом теперь ждут турецкую армию-освободительницу горцы Кавказа, сарты Закаспия, татары Поволжья, узбеки и киргизы, хивинцы и бухарцы Центральной Азии... Да здравствуют все объединенные тюрки!

Но разгром Германии союзниками опять заставил повернуть турецкую армию от границ Турана...

* * *

Поражение Германии означало, однако, для Турции освобождение ее от германского влияния. С другой стороны, в среде самих союзников начались раздоры; вчерашняя Россия стала врагом Англии в лице Советов; и когда державы-победительницы предъявили Турции чрезмерные требования, Турция поставила себе задачу в лице группы Анатолийской армии — силой оружия отстоять свои права. Ведь армия еще была цела.

Первым делом, после переворота и захвата власти, Представительный комитет под председательством Кемаль-паши открывает в Ангоре Национальное собрание, которое выделяет из своей среды Совет исполнительных комиссаров. И, воздействовав на Англию возможностью восстания против нее всего мусульманского мира, Турция получает на выгодных условиях так называемый Лозаннский мир.

Когда же по полномочиям третьей державы Греция начинает свое движение против Турции, то и Италия и Франция помогают Турции в этом оружием против притязаний Англии. Самую же большую помощь Турции оказывает СССР, после того, как Радек свел в Берлине младотурок с Совнаркомом.

Как протекала эта связь, можно судить уже по тому, что еще раньше, в 1918 году, Кемаль-паша еще в Константинополе завел сношения с Москвой и послал туда журналиста

Джелала Нури, который получил от Ленина большие суммы на коммунистическую пропаганду. Эти деньги целиком были переданы турецким националистам, которые благодаря именно помощи большевиков получили сильное независимое государство.

* * *

Естественно, что после таких отношений с СССР Турции и Кемаль-паше пришлось несколько свернуть свои пантуранские знамена, что он и сделал в ряде публичных выступлений. Нельзя особенно раздражать «друзей»-коммунистов... Но... язык дан дипломатам для того, чтобы скрывать мысли,— сказал еще Бисмарк. У Турции теперь нет недохватка ни в генералах, ни в солдатах... На самом деле Турция сейчас политическая Мекка для Турана и для всех вышеуказанных областей, а Кемаль-паша — ее пророк. Советская власть принуждена уже теперь принимать меры для прекращения этого влияния. В Турцию со всех сторон идут делегации из СССР. Молодые люди из Средней Азии, с Кавказа, Персии, Поволжья получают образование в Константинополе, в Ангоре, Трапезунде, Смирне и т. д. Литература Турции пропитана идеями пантуранизма. Даже «Правда» уже начинает констатировать, что

> «выводы произведенного в 1928 году в Туркестанской республике школьного обследования прямо констатируют — основной кадр учительства состоит из более или менее явных пантюркистов. Литература, обществоведение, даже чуть ли не математика ребятам преподносятся под совершенно особым углом зрения.
>
> География превращается в науку о Турции. Из всей мировой литературы признаются только турецкие писатели. Буржуазная Турция расценивается на все лады как страна чудес, страна-сказка.
>
> Скрытая цель пантюркистов — создать единое государство, в которое бы вошли разъединенные ныне племена. Под чьей рукой должно объединиться это огромное новое государство?
>
> — Конечно... Турции».

Так пишет «Правда».

Конечно, еще более любопытными могли бы оказаться данные разведки красной армии. Но они не публикуются.

* * *

Можно с точностью признать, что у всех этих людей имеется сейчас и воля к проведению их в жизнь.

И воля эта — в руках Кемаль-паши.

И удивительно ли, что на него в настоящее время устремляются весьма благоговейно взоры русских тюрков, если к тому же окружающая их социалистическая обстановка слишком безотрадна. Во всяком случае, на востоке былой России нависли тучи, чреватые прошлым и угрожающие будущим. И это обстоятельство надо учитывать.

Мать Волга

Вот так, как монах, перебирающий четки:

— шарик за шариком, это сплошное скольжение ощущений, незаметных холдноватых прикосновений, одно как другое, успокоительно гладких.

И представляется:

— тени летят в душе у этого монаха, ушедшего от этой жизни к жизни т о й. Легкие, сложные тени прошлого... Капли воды, легко падающие... Легко отбивающие ритм пустого течения... И однако камень дробится под их непрерывными ударами...

Да, камень, не только душа. И вместе с тем такая пустая последовательность — как-то успокоительно приятны воспоминания — потому что они пусты... заставить забыть самые большие потери... Успокоительно приятны воспоминания — потому что они пусты...

Это — опустошенное следование времени, прошлое. Во всяком настоящем времени есть нечто острое, новое, напоминающее хлеб с остьями, царапающими горло. Это действительность, неприятная, надоедающая, отвратная подчас... Неизбежная до горькости. Хотя бы взять мою вот эту зеленую лампу. Она стоит передо мной неотвратимо, и никакими силами не уйти от нее... Она во времени...

А стоит только прикоснуться к тому, что уже съедено, обесцвечено временем, что уже п р о ш л о,— и вот поплывут касания нежные... Нежные до невероятности...

Да, до н е в е р о я т н о с т и. Именно. Вот я видел человека, у которого была когда-то спичечная фабрика.

И он хранит коробку спичек от тех счастливых времен... Смотрит на нее, чтобы верить в то, что это все было...

Вот хотя бы — была Волга...

* * *

Волга!

В одно раннее июньское нежное голубое расцветающее утро с дачи шагал я в город на выпускной экзамен по латыни.

И сколько бы верст я ни шагал, рядом со мной простиралась маслянистая, голубая, чуть играющая утренним жемчугом Волга. Ноги скрипели по сырому песку, срывались в нем, а рядом шла и шла она, Волга, слегка выпуклая своими водами, медленно мчащаяся навстречу, пахнущая смолой, рыбой, сыростью и еще чем-то, похожим на то, как пахнет только что спиленное дерево.

Волга!.. За Волгой зеленые луга, над ними и над темно-зелеными шарами ольшаников идет негорячее еще солнце. А прямо, над желтой излучиной берега,— город, легкий город, сказочный почти — Кострома именем, словно поднявшийся от воды и дрожащий от первых горячих струй слоистого воздуха...

Марево...

И взгляд мой опять сквозь тысячи верст и десятки лет словно рассматривает то, что видно было тогда... Вот розовая церковь Степана Сурожского, сразу же за темно-зеленой могучей рощей Татарского кладбища — этих мирных ныне наследников царей Чингиса и Батыя... Дальше вверху, под зеленым ярусом Муравьевки, словно духовой утюг, вытянулась церковь Всех Святых. Видно, думали-думали когда-то благочестивые костромичи, в честь кого бы им назвать церковь, да и ахнули:

— Сразу пусть будет Всем Святым...

У церкви Всех Святых, конечно, наша родная трехэтажная гимназия, с зеленым темно-шумным садом... Раньше была губернаторским домом. А губернаторский дом теперь немного подале, квартал один, и стоят у дверей два городовых в белых кителях — начальство! Прямо против губернаторского дома — церковь во имя св. благоверных князей Бориса и Глеба. Не любит губернаторша колокольного звона: когда настоятель, отец Алексей Андроников, приказывает звонить по святцам — ломит воспитанную губернаторшину головку изысканная мигрень...

А как можно звон отменить, если положено? Хотя сам-то о. Алексей, пожалуй бы, и отменил:

— Уж очень он уважает начальство! Седенький, маленький, серебряный, ласковый, светлый, отпраздновал юбилей свой в шестидесятилетнем пребывании в священничьем сане и, выходя каждый раз во время обедни, с возгласом говорит, если губернатор или губернаторша изволят слушать обедни:

— Мир всем!

Затем тихонько добавляя:

— И Вашему Превосходительству!

А там, над старым городом, над кремлем, вокруг которого когда-то кипели и татары и поляки, кафедральный собор. Конечно — Успенский. И золотые витые главы его играют на солнце:

— Недавно их вызолотили чрез огонь работой позолотчика Минеева...

И хотя много разных вещей любопытных творится в городе Костроме, по поводу которых возмущается редактор-издатель «Костромского листка» — либеральная рослая, на мужчину похожая Татьяна Покровская, как-то:

— Девушки из городского приюта губернатору к кальсонам пояса розами вышивают и разными травами, все-все шелками;

— или что великовозрастный семинарист, спрошенный владыкой об том, что-де означает «испола эти деспота»,— ответил соблазнительно:

— На размножение рода человеческого;

несмотря на все это — это был:

— Мой дом. Там жил я.

И, шагая в легкой чесучовой рубашке, подтянутый ремешком с серебряной пряжкой и буквами: К. К. Г., я скандировал легкие стихи Горация к Криспу Саллюстию о том, что у скупцов нет серебра, если они зарывают его в землю... В ритме шага, в непосредственном ощущении катилась легко и свободно, как Волга, вся на поверхности, жизнь огромной страны, где я, гимназист 8-го класса, шел сдавать росным утром свой экзамен на аттестат зрелости. То было моей:

— общественной функцией. Так, что ли?

* * *

А это было моей свободой.

Росистая ночь и узкий молодой месяц, апельсинового цвета, завалившийся на спину. Волга синяя, туманная, с малиновыми прослойками от вечернего света. Напротив, в усадьбе Васильевской, клубится в ночи сосновая роща. Горит на реке красный бакен на нашем перекате, и со шлепающего парохода глухо несется голос промерщика:

— Шесть! Шесть с половино-о-ой! Семь! Под табак!

Предо мной на фоне парчового заката и апельсинового месяца чеканится тонкий переплет ольховых веток. Вокруг болото, жалят первые комары, под ногами в крепких яловичных сапогах булькает вода. Пахнет сыростью, лугом, и, как

дальняя песня, эту сырость, где поворачивают лягушки, прорезывает запах ландыша и зеленый светляк под кустом.

На розовой парче заката заливается и свищет победная песнь соловья. Я ясно вижу этого пернатого певца: вот он, в сажени от меня, виден в профиль на догорающем летнем небе, среди слушающих трепетных черных зубчатых листьев ольхи, и видно, как у него трепещет горло.

Он поет.

Но не я поймал его — он улетел; и, выйдя топью и полночным черным лесом к станции, глядел я, как чуть погромыхивали рельсы под прошедшим поездом да сиял, как светляк, зеленый сигнал семафора.

— Огонь зеленый на заре!..

И с горы лукой уходила предо мной под розовым ночным светом севера Волга, да чуть-чуть мерцали кресты и купола Ипатьевского монастыря.

* * *

Деревья тревожно говорили с ветром; неслись по ветру, по буре длинные космы плакучих берез; сосны ворчали тревожно и важно — шуш-шу-шу... Слышались скрипы стволов Небо в черных тучах распахивалось зеленой молнией... Но свет зеленым был только вблизи — вдали он был желто-голубым, ярким, белым, пожалуй. И вставал под блеском молнии вместо пунктира золотых далеких огней призрачный легкий город, похожий на те, что пишут на иконах за спинами святых,— город Кострома.

Внизу под обрывом мы увидали, что одним из порывов ветра сорвало нашу купальню... Янтарно-желтого цвета, она плыла уже далеко от берега в черной реке.

Нас было трое — мы, два студента-петербуржца, и сорокалетний огромный инженер. И пять минут спустя после нашего открытия мы, нагие, плыли уже в Волге, перекликаясь, ища под крупным дождем при молнии тревожными взглядами розовое тело один другого среди черной пенящейся волжской воды, следя, где песочным цветом вспыхивает под светом молнии купальня.

И мы вернулись домой только с рассветом, причалив купальню к берегу в трех верстах пониже дачи, когда рассвет

вставал красным и пламенным, весь завороченный во взвихренные, летящие бурные янтарные утренние облака...

Водки!

Но кто не знает Волгу, когда розовый «Самолет» часто-часто стучал своими плицами, приводимый в движение машиной «Джон Коккериль» в 80 сил! Кругом под пламенным июльским солнцем плыли свежие зеленые луга с желтой оторочкой песков, и в стеклянном воздухе за кормой парохода словно висели неподвижно белые крупные чайки.

Жарко. Очень жарко! На теневой стороне парохода бродят лениво несколько пассажиров. Красивая крупная дама с зеленым шарфом стоит на корме и задумчиво смотрит в воду. У нее спокойный пудреный профиль не то артистки, не то жены инженера — жёны инженеров всегда как-то имеют в себе что-то общее с артистками. На руке, упавшей вдоль тела, горит исподлобья большой камень зеленым огнем.

Она думает, а пароход стучит. В рубке пьют себе водку. Пьют водку чиновники, одетые, несмотря на жару, в черное сукно диагональ. С них течет пот. Стекляшки у люстры звенят в такт пароходной тряске, а толстый старый купец с брюхом, выкаченным из-под рубашки и жилета, разглагольствует:

— А что ж вы думаете? Не будет? Ой, будет! Будет заваруха! Я еще помню, как эту, Перовскую, что ли, поймали!.. Так надо было бы за ребро — да к потолку!..

Один из чиновников похож не то на Дон Жуана, не то на Дон Кихота.

Этот дон наливает себе пива «Старая Бавария» и говорит примирительно:

— Ну как можно! Старые взгляды!

Купец багровеет и горячится. А за окном медленно проходят плоты. Они тянутся тысячи верст по этой спокойной реке, и на них пламенеет бледный огонь костра, над которым стоит черный чайник, и мужики матерно лают пароход, что развел большую волну.

Что бы почитать? Я иду к нашей костромичке, Марусе Симановской, что едет вместе со мной. Она курсистка и очень серьезна.

— Маруся,— стучу я ей в окно каюты II класса.— Маруся, нет ли у вас чего почитать?

— Есть! — с охотой отзывается Маруся и просовывает мне в окошко вместе с конфетами «Эрфуртскую программу».

— Нет, мне что-нибудь другое!

Она скрывается в глубине каюты, роется, как мышка, и дает мне на выбор:

— «Аграрный вопрос» Каутского.

— «Труд» Золя.

Я беру «Труд».

— Вы взяли «Труд»? — говорит она и вздыхает.— Я сама читала! Ну все равно. Я пока поштудирую Каутского. Так интересно!

И предо мной среди бесконечного приволья великой реки — образы чужого человеческого труда. Они так манят О, этот Суварен! Эти горячие речи об эксплуатации. Разве не должна жизнь так течь спокойно и приятно, как наша? Как эта Волга.

Маленькая пристань. Пестрые ленивые, бездельные дачники. Немедленно влетают на пароход и начинают бегать вокруг, как мухи вокруг сахара, какой-то студент и две барышни.

— Нет! Нет! Этот быт весьма томит, как этот жаркий июльский день... Грозы бы. Революции бы!

* * *

Нижний ночью великолепен. Он высится среди вечерних лиловых тяжких туч, весь опоясан лентами электрических огней. Заревом огней залита ярмарка. Сверху из ресторана на обрыве «Восточный базар» виднеется Волга в огненных ежиках пароходов, Ока, лентой уходящая влево.

Кругом только воздух, провалы, легкость, свежесть, вольный ветер, и вдали над лугами золотом вспыхивают зарницы.

И как грозова эта ночь — гроза разлита и в душах. Я вижу до сих пор это бледное лицо девушки в темном платье, которая склонялась над ресторанным столиком. Он, одетый по-купечески, в картузе, с черной бородкой, оттенявшей красивое мрачное лицо, заглядывал в этот девичий, почти ангельский лик.

Слов я не слыхал, я не знаю, что происходило между ними. До меня доносились только мучительные всплески голосов, шелест шепота женского голоса.

Потом она встала, поклонилась большим поклоном и ушла. И я увидал, как широкоплечая фигура в картузе, рухнув на стол, затряслась от мужских глухих рыданий.

За Волгой полыхали зарницы, внизу кричали пароходы, официант искоса посматривал на посетителя, тронул его за плечо:

— Ваше степенство!.. Э!..

А кругом лежал Нижний. Новый город, Юрьево строение, русский город, и поблескивала под тусклыми грозными зарницами Волга, великий путь в Азию.

— Эй, студент! — подошел ко мне очнувшийся купец.— Пойдем, что ль!

И ночь пронеслась над нами в пьяном угаре.

* * *

А наутро, после бессонной ночи, я плавал в купальне у пристаней в свежей нефтяной воде и видел снизу в прорезе, как по розовой и мирной Волге бежал на рысях зеленый пароходик «Башкирец», словно торопясь куда-то; от его носа отходил стеклянный, сплошной вал... Спутник мой где-то исчез, у какой-то кружевной эстонки Берты, после «трагедии его жизни».

А меня опять ждала Волга. Волга, пароход «Лев Толстой» — и путь в широкие низовые раздолья...

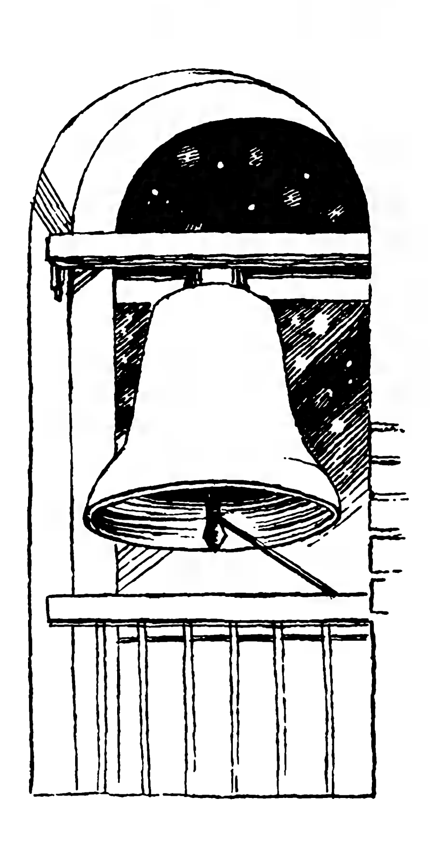
* * *

И разве можно кому-то уступить все это? Все это н а ш е?

— Никогда!

Память сильнее динамита.

РЕРИХ — ХУДОЖНИК-МЫСЛИТЕЛЬ





Этот труд заканчивался в феврале и марте 1935 года, когда над Харбином, гудя, летели снежные и песчаные бури из неоглядной Гоби; ставни стучали в мое окно, но в комнате было тихо и спокойно:

Ах, как отрадно в тесной келье
Лампада смотрит на тебя...
Опять в душе как бы веселье
И в сердце, знающем себя...

«Фауст», пер. Фета

Родина и Красота — вот о чем думалось тогда, в те бурные весенние ночи. И ведь всегда Родина на́ша, Россия, родится в наших сознаниях в бурях и в Красоте.

Бури — формы, красота — содержание, без которого не понять целого, как не понять форм слюдяного древнего фонаря, если не вставить внутрь свечи... Поэты и писатели, музыканты, художники и святые светят ясным, незакатным светом за тысячелетнюю нашу историю.

И среди немногих наших современников, которые любят и чуют этот ясный свет, несомый нашим всемирным народом, далеко в Гималаях работает и творит великий художник и мыслитель Н. К. Рерих. И пусть с приветом и поклоном будут посвящены ему эти мои строки, сиянию его искусства, теплоте его далеко прозревающей мудрости.

Россия и Рерих

Рерих — русский.

И это — предопределяет.

— Что ж это значит: русский?

Это можно понимать в двух смыслах:

— в узком,

— в широком.

Узкое, обычное понимание этого положения состоит в том, что понятие «русский» означает известные правовые, гражданственные, родовые и прочие отношения принадлежности человека к государству. Это понятие «русский» вполне реально, но при всем том оно не исчерпывает предмета.

Широкое же понимание означенного понятия заключается в том, что оно заявляет, что Рерих принадлежит к России, как к совершенно своеобразному миру, с которым у него установлена крепкая и великая связь.

У западных публицистов и культурфилософов приходится зачастую читать, что в России не существует нации, а с ней не существует и таких национальных, четко выраженных отношений, какие, например, существуют между государством и отдельными личностями у французов, англичан, немцев. Что у русских эти отношения просто еще исторически не выработаны, не установлены.

Это верно. Связь эта, которую имеют в виду западные публицисты, есть связь гражданственная, установленная по ограничительному, объединяющему образцу Римского права. «Civis Romanus sum» — эта гордая формула заключает в себе просто некий объем личных и государственных прав и обязанностей, которые точно определены и сформулированы.

События последних лет в России показывают, что там пока нет этой формулировки, нет этой осознанности в этих взаимоотношениях личности и государства, и когда она будет и в каких формах — представляет из себя проблему творческого хода ее могучей и живой истории.

Зато в России — есть другое. В ней есть живые, великие, глубокие тайные связи между матерью страной и ее сынами, между русским народом и отдельными русскими, которых или нет, или которые забыты в Европе.

Россия не только государство. Она — сверхгосударство, океан, стихия, которая еще не оформилась, не влегла в свои предназначенные ей берега, не засверкала еще в отточенных и ограниченных понятиях, в своем своеобразии, как начинает в брильянте сверкать сырой алмаз. Она вся еще в предчувствия, в брожениях, в бесконечных исканиях и в бесконечных органических возможностях.

Россия — это океан земель, распахнувшийся на одну шестую часть света и держащий в касаниях своих раскрытых крыльев Запад и Восток.

Россия — это семь синих морей; горы, увенчанные белыми льдами; Россия — меховая зеленая щетина бесконечных лесов; ковры лугов, ветреных и цветущих.

Россия — это бесконечные зимние снега, над которыми поют мертвые серебряные метели, но на которых так ярки платки женщин; снега, из-под которых нежными веснами выходят темные фиалки, синие подснежники.

За жаркими, короткими континентальными летами приходят в Россию бесконечные пашни, над которыми колышутся золотые жатвы.

Россия — страна развертывающегося индустриализма нового, невиданного на земле типа, другого, нежели тот, который создан западным хозяином на Римском праве собственности.

Россия — страна неслыханных, богатейших сокровищ, которые до времени таятся в ее глухих недрах.

Россия — не единая чистая раса, и в этом ее сила. Россия — это объединение рас, объединение народов, говорящих на 168 языках, это свободная соборность, единство в разности, полихромия, полифония. Россия — союз народов, равных и дружественных, с великорусским народом в корню.

Россия — страна, не только страна творческого настоящего. Она страна великого прошлого, с которым держит неразрывную связь. В ее березовых солнечных рощах по сей день правятся богослужения древним богам. В ее окраинных лесах до сей поры шумят священные дубы, кедры, украшенные трепещущими лоскутками, и перед ними стоят бедные скромные, глиняные чашки с кашей — жертвой. Над ее степями плачут жалейки в честь древних божеств и героев.

Россия — есть страна византийских куполов, церковного звона, синего ладана, которые несутся из той великой и угасшей наследницы исчезнувшего Рима — Византии, Второго Рима, этих вещей, смешных с меркантильной точки зрения

Запада, но придающих ей неслыханную красоту, запечатленную в русском искусстве.

Россия — есть страна братских народов, не «покоренных», а «замиренных», объединенных массовым братанием, обменом нательных крестов, незлобивой и непревосходительной связью одного народа с другим.

И в то же время Россия — страна неслыханных практических, реальных устремлений туда, к будущему, к созданию новых форм человеческого общества как единой артели.

Ни в одной стране не живы так зовы старого, древнего, милого, нигде не живут так вечные, тихие Праотцы.

И в то же время нет другой страны в мире, которая бы так бурно стремилась в будущее, как это делает Россия.

Россия — могучий хрустальный водопад, дугой льющийся из бездны времени в бездну времени, не схваченный доселе морозом узкого опыта, сверкающий на солнце радугами сознания, гудящий на весь мир кругом могучим утверждением всеславянского бытия.

Россия — грандиозна. Неповторяема.

Россия — полярна.

Россия — Мессия новых времен.

Россия — единственная страна в мире, которая величайшим праздником своим славит праздник утверждения Жизни, праздник Воскресения из мертвых, радуясь на заре весеннего расцветающего дня, с огнями крестных ходов под утренним яхонтовым, парчовым заревым небом.

И Рерих — связан с этой Россией.

Связан рождением, молодостью, первыми осенениями, образованием, думами, писанием, пестротой своей русской и скандинавской крови.

И особливо:

— связан с ней своим огромным искусством, ведущим к постижению России.

Ибо только через искусство да еще через веру можно постичь Россию.

А Рерих — художник.

Россия и искусство

Как же мы знаем эту Россию?

— Статистически?

— Нет. Даже и теперь революция не навела еще полной статистики России. Даже и теперь научные экспедиции многочисленных обществ натуралистов, обществ молодежи то и дело находят на ее просторах все большие и большие, безвестные до того богатства.

— Исторически?

— Нет! И исторически мы не знаем России. Потому что истории русской разработано еще не было. Были известные те или иные схемы, но русское образованное общество не знало родной истории так, как ее следовало знать, чтобы верно руководиться ею.

— Географически? Этнографически?

— Нет! Ибо и теперь, через семнадцать лет после революции, на просторах России находят такие медвежьи углы, которые ничего еще не слыхали об историческом перевороте 1917 года.

— Знаем ли мы Россию со стороны традиций?

— И этого нет! В России нет и не было четких традиций, которые бы высились несокрушимо, как каменные здания старых западных городов, давя и обрекая душу на неизбежные покорности.

— Знаем ли мы вообще русский народ?

— Тоже нет, потому что то, что произошло в России после 1917 года, конечно, до того и в ум никому не приходило...

— Да неужели же мы так и не знаем России?

— Нет, нет, знаем! Но мы знаем не в разработанных научных понятиях, завершенных книгами по истории, экономике, культурфилософии, по праву, как знают свои страны европейцы, этими понятиями и ограничивающие свои порывы. Литература, музыка, живопись — вот та триада, которая Россию действительно познавала и давала знать другим...

Вместе с тем тем примечательны и судьбы этих русел искусства, льющихся из души России и представляющих собой дороги познания.

Заметим. В России не существовало индустрии до XX ве-

ка. В России не существовало литературы до XIX века. Что было в России тогда, когда в Европе были и Петрарка, и Данте, и Шекспир, и Мольер, и Сервантес, и Гёте?

Почти ничего! Несколько гениальных предвозвестительных взрывов, вроде «Слова о полку Игореве». И только один XIX век выбросил целый поток великих мировых литературных имен — от Пушкина, Гоголя до Достоевского, Островского, Толстого, Владимира Соловьева, Чехова, Андрея Белого, Ал. Блока, которые не только равняются, а превзошли по интуитивному размаху, по глубине своего творчества Запад.

Дух пророчества — великий дар беспощадного созерцания действительности, дар понимания тайн бытия, дар великого изображения природы, изображения человека, дар анализа его души, острого и беспощадного, дар мистических прозрений в бездны совести, в ее полеты, прозрения и падения — вот что такое русская литература, свободнейшая из свободных.

Он здраво судит о земле,
В мистической купаясь мгле,—

сказал про русский ум Вячеслав Иванов.

Не случайно именно В. В. Стасов ввел Рериха и к Толстому и в недра Публичной библиотеки.

Стасов — этот неистовый вождь бурлящего русского сознания — пишет в 1886 году своему брату Дм. Вас. за границу:

«Ох уж это мне проклятое «традиционное»! И кому оно только не мешает! Отчего русское искусство, как русская литература, во многом опередило мир? Оттого, что оно храбро и дерзко! У них нет там ни одного Гоголя, ни одного Льва Толстого! У нас одних только есть непочтительность к старому, а отсюда является и самостоятельность, и оригинальность настоящие. Петр Великий, какой он ни был зверь и монгол, а был настоящий русский, настоящая русская натура, наплевал на все традиции, на все предания, на всю школу. В этой русской храбрости — главный русский характер»...

Однако русская литература, как связанная с разработанным словом и, следовательно, связанная с определенными понятиями, все же главным образом воспроизводила верхние слои русского общества с их сомнениями, с их проблемами. Народная стихия оставалась не вполне освещена.

Зато в музыке русское искусство вполне погружено в народную стихию. Исторический момент, определяющий начало

этой новой эпохи осознания русских глубин через музыкальное искусство, определяется тем временем, когда образовывается знаменитая «Могучая кучка», славная русская музыкальная пятерка.

Глинка, Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Кюи — вот она, русская явленная музыка, вошедшая теперь в необходимый обиход русской культуры; вот оно, глубочайшее освоение, осознание певучих глубин русской души. Это первый, знаменательный уход русских от навязанной нам сладкой «итальянщины».

Труды этой «Могучей кучки», их оперы, симфонии, романсы — это сама кристаллизация в звуках русской души, это откровения чрезвычайные, такие, что в лоне своем держат неразрывно, объединенно душу русского человека и русского «интеллигента», охватывая обоих, обдавая единой русской волной.

— Все рождены,— говорит В. В. Стасов по поводу этих великих художников,— все рождены на то, чтобы рождать из себя все новые и новые создания, новые мысли, новую жизнь, как женщина рождает новых людей. Все, все — от маленького человека до самого большого, от трубочиста и до наших богов — Шекспира и Бетховена,— все они только счастливы и спокойны, когда могут сказать, что «я сделал, что мог»!..

И эти гениальные люди рождали действительно то, что воспринимали их великие и чуткие души из бескрайних глубин могучей России, из-за докучного житейского шума повседневности.

В их музыке развернулась перед нами вся Россия, от древних времен, от былинных богатырий, от татарских страшных погромов, от буйств Васьки Буслаева и до таких тайных вод озера Китежа, что на румяной заре летнего дня показывает верующим чудесные святые, лазоревые и золотоверхие города, куда в сущности всегда стремится русская душа от своих огненных переживаний.

А около этого проникновения в глубину русского переживания — зацвела и запела в партитуре и русская сказка, записанная уже Пушкиным, заплакала и зазвенела русская история в гениальных операх на исторические темы.

К этой диаде музыки и литературы примыкает могучая третья ветвь русского искусства — живопись.

Как литература, так и музыка — она тоже двинулась в XIX веке своими путями, выискивая новые русские сюжеты, новые приемы трактовки, изучая русские колориты, опрозра-

чивая их, погружаясь в эту единую стихию и русского быта и русской природы.

В 1862 году тот же В. В. Стасов пишет пламенную статью «Наша художественная провизия для Лондонской выставки».

«Всякий народ должен иметь свое собственное национальное искусство,— гремят его могучие слова,— а не плестись в хвосте других по проторенным колеям, по чьей-нибудь указке. Довольно русской живописи подражать чужому искусству, петь с чужого голоса! Те художники, которые не боятся быть самостоятельными на верхней дороге, смелей вперед! Работайте по-своему, берите сюжеты откуда хотите... Будьте самобытны...»

Эти призывы — не анархические призывы, зовущие к тому, чтобы бросить «проторенные дороги» во что бы то ни стало, чтобы только разрушать старое. Нет! Эти призывы — призывы смотреть вокруг себя острыми глазами на то великое и сложное целое, которое называется Россией, и, усматривая там вещи неслыханной силы и глубины,— воспроизводить их...

Наша литература, наша музыка, наша живопись этого громкокипящего XIX века имеют и общие судьбы. Все они сталкивались с рутиной, с инертностью русского общества, с его ленивым консерватизмом, с его тягой подражать уже готовым, западным канонам, а не создавать свои.

Ведь все мы помним, по поводу юношеского «Руслана и Людмилы», воспроизведенное Белинским «Письмо жителя Бутырской слободы», который протестовал против появления такого молодца, как Руслан, в «благородном обществе» и кликал будочника с алебардой, чтобы выбросить за шиворот этот красочный народный сюжет с паркетных полов, где царили окаменелые и косные приемы, сюжеты, традиции.

То же повторилось и с музыкой. Как и литература, музыка шла путем борьбы, страстной и напряженной. В 1867 году некий критик Ростислав писал ведь, что напрасно полагают, что у нас есть какая-то инструментальная народная музыка, тогда как у нас есть лишь ряд «тривиальных трепаков». «Появятся еще трепаки, пожалуй,— татарский и киргизский»,— саркастически писал этот критик и уверял, что наши композиторы «вдохновляются отвратительными сценами у порогов питейных домов».

Не отставали от литераторов и музыкантов и наши художники XIX века: проламывая свои академические традиции, боролись с официальною затертостью классических пере-

певов, утверждая свое неотъемлемое право слушать вещим, припавшим к земле ухом, что там происходит, и изображать именно это.

Парадоксально, печально, но история русской живописи половины XIX века — есть борьба талантливых художников с Академией художеств, которая стала почему-то символом застоя и упадка, инертности в искусстве.

Но это отрицание, эти борьбы, все эти болезни рождения — не напрасны. Нет! Из этих отрицаний возникают все новые и новые несказанно талантливые русские школы, по-новому и новому утверждая свое художественное видение, свое право искусства во всех его отраслях.

В живописи, в свободном самоопределении возникают эти школы, начиная от «Художественной артели», позднее «Передвижников» и до «Мира искусства». И в каждом таком взрыве энергия, воля к жизни, протест направлены к одному — к желанию объективно познать, освоить в тех или иных аспектах или формах великий мир, который именуется «Россией».

И то великое русское искусство, которое царит теперь над Россией, не зная уже преходящей борьбы,— это все сладкие цветистые побеги от тех семян художества, правды и жизни, что всегда сеялись на великом, тучном и неоглядном лоне многоликой русской страны.

И в конце XIX столетия в эти порывные ряды русского искусства становится и Рерих.

Первые образы

Николай Константинович Рерих родился 27 сентября (по ст. ст.) 1874 года в высококультурной, музыкальной русской талантливой семье, в Петербурге, в каменной столице России, той России, про которую он в своей большой статье «Радость искусства» писал:

«Россия — чудесный, единственный в мире край, куда, по воле судьбы, текут пути многих странников мира, где сталкиваются достояния народов далеких и даже незнаемых друг другу, где рождается великое и прекрасное зрелище русской Культуры»...

Рерих — художник, а мышление и постижение художника отлично от обычного мышления в понятиях. Мышление в понятиях идет через как бы остановку процесса знания, через рассматривание предмета знания, через его отрубание от великого целого Жизни, через нарушение его связей; мертвый атом — вот что остается в результате такого рассмотрения Живой Жизни.

Мышление же и познание художника — интуитивны. Одним взмахом, единым прозрением, о котором столь проникновенно писал Шопенгауэр, художник созерцает не только отдельные вещи, а главным образом — великие их связи. Отдельные вещи, которые он рассматривает,— суть лишь опорные пункты, от которых он переходит к рассматриванию преимущественно связей.

Дискурсивное мышление, мышление в понятиях походит на разглядывание отдельных жемчужин прекрасного ожерелья, медленное, скрупулезное рассматривание их в толстую лупу.

Интуитивное же познание — есть все ожерелье сразу, целиком, взятое и в его великолепном блеске всех отдельных жемчужин, связанное с образами синего, гулкого моря, и с образом нежнейшей женской кожи, которую оно должно украшать, и с образами тихих жемчужных огней воздуха и тучи, когда на восходе пасмурного дня, чуть блистающего на востоке, идет тихий серый дождь.

В этих интуитивных прозрениях встают великие законы красоты как единого, органического Единства.

Мальчик Рерих вошел в этот храм Единства через Природу. Великий и острый дух его не тратит и в детстве времени даром. В старших классах гимназии, которую он кончил у Мая, в Петербурге, Рерих занимается естественной историей. Летние месяцы он проводит в отцовском имении «Извара», в Петербургской губернии, и эти месяцы крепко вяжут мальчика с природой, увлекают его в кольцо Великих Связей.

Уже тогда встают перед ним в этой связи коренные вопросы, которые он намечает в своих позднейших стихах-прозе, свидетельствующих несомненно о его личном опыте:

Мальчик жука умертвил,
Узнать его он хотел.
Мальчик птичку убил,
Чтобы ее рассмотреть.
Мальчик зверя убил —
Только для знанья.
Мальчик спросил: может ли
Он для добра и для знанья
Убить человека?
— Если ты умертвил
Жука, птицу и зверя —
Почему же тебе и людей
Не убить?

Тут конкретно ставится один из величайших вопросов человеческого бытия — не затушеванно, в удалении от всяких литературных справок, а в упор, непосредственно в личное сознание, вполне реально, как вообще все познается этим великим художником.

Но Рериху оказались не надобны те страшные опыты, которым подвергнул Достоевский своего Раскольникова, потому что Рерих тем же самым интуитивным методом видит и разрешающие ответы на свои вопросы, приближающие к нему лики Правды.

Природа в те «баснословные года» (Тютчев и Ал. Блок) развернула над мальчиком Рерихом свой чудесный живой полог. Там он познал и высокое прозрачное небо, бледно-синее в летние дни, серебристо-белые легкие облака, белые ночи, странные и загадочные, переливающиеся и ускользающие тайны леса, тихие и медленные серебряные реки. Природа там берет сердце мальчика Рериха в свои мягкие звериные лапы — он становится охотником. Он знает встречи с народом животных, с медведем, поединки с животными, называемые охотой, неразгаданный и пленительный лесной быт, молчание чащ, ночи у костра, за которым еще черней темнота. Через строй каменных петербургских улиц, через их

временные стылые архитектурные формы раздаются проникновенные голоса вечной Жизни.

Город не заслоняет мира для Рериха уже с тех отдаленных времен; он не поглощает своими современными и поэтому неживыми формами нежной и все впитывающей души юного Рериха. Город — только часть бытия, и часть не первая. А всё — это мир.

И, уйдя из города, Рерих познал город вне его исключительности, понял возможность всегда ускользнуть от него. Город потерял для него обаяние своего гремучего и дымного сегодняшнего дня. Он уходит и из сегодняшнего дня — творческая интуиция ведет его в прошлое, образы истории надвигаются на него точно так же, органически, реально.

Будучи в четвертом классе гимназии, Рерих уже производит самостоятельные раскопки, въяве ища свои образы истории. И его раскопки успешны. Вместе со сверстником-мальчиком, сыном дьякона, он находит в могиле неподалеку от их имения золотые вещи X века.

Это первое явное прикосновение к прошлому. А потом уже, позднее, в отчете своем о произведенных раскопках в Новгородской губернии, говорит Рерих в Императорском Русском археологическом обществе, рисуя эту поэму прошлого:

«Забудем сейчас яркое сверкание металлов: вспомним все чудесные оттенки камня. Вспомним благородные тона драгоценных мехов. Вспомним патины разноцветного дерева. Вспомним желтеющий тростник. Вспомним тончайшие плетения. Вспомним здоровое, крепкое тело. Эту строгую гамму красок будем вспоминать все время, пока углубляемся в каменный век».

И еще об этом же:

«Щемяще-приятно чувство — вынуть из земли какую-нибудь древность; непосредственно первому сообщиться с эпохой давно прошедшей. Колеблется седой вековой туман; с каждым взмахом лопаты, с каждым ударом лома раскрывается перед вами заманчивое тридесятое царство; шире и богаче развертываются чудесные картины».

Сколько таинственного! Сколько чудесного! И в самой смерти — бесконечная жизнь!

Образы. Образы современные и прошлые уже витали вокруг Рериха, просились для запечатления, просились на бумагу, на полотно, рождая форму...

Образ является, привлекает внимание и затем как бы входит в человека, входит движением его руки, ища своего

воспроизведения, взымаясь совершенно органически, неведомо как, из души художника и проявляясь в рисунке.

Юноша Рерих рисует не для того, чтобы только рисовать, а потому, что интенсивные образы, владеющие им, ищут своего воплощения. Его первые опыты рисования удачны, его первый наставник в этом — известный скульптор М. О. Микешин, друг их семьи.

Гимназия окончена в 1893 году, и той же осенью молодой Рерих идет сразу по двум путям:

— по дороге знания — он студент юридического факультета Петербургского университета,

— по дороге искусства, занимаясь в Академии художеств.

Врата в искусство

Работа Рериха в Академии художеств — его врата в искусство. Пришли годы его ученичества, трудный путь к мастерству. Его учитель — Куинджи, один из первых русских мастеров — художников-колористов XIX века. Куинджи — тяжелый, широкоплечий человек с ассирийской бородой. Он суров на вид. Он суров в речах.

— Не можете работать так, как надо,— говорит он своим ученикам,— ну и пропадайте! Искусство не нуждается в неженках... Талантливый художник и в тюрьме напишет картину!..

Искусство — великая сила, и Архип Иванович Куинджи это отлично знает. Он сам — сила. Он сам «сделал себя». Он вышел ведь из пастушонков неоглядных русских южных степей и принес и сохранил с собой всю силу природы, которая его вывела наверх, выделила в человеческой толпе. Он — певец синих лунных ночей, которые знает только одна Украина, он знает, как рассыпать хризолиты по утренним свежим березовым рощам.

Рерих — ученик Куинджи! Какие имена! Какое сочетание! Надо знать русское искусство, надо хотя бы немного понимать его, чтобы реализовать, что это значит! И тот и другой — таланты органичные, люди особые, видящие и слушающие то, что не видит, не слышит кругом остальная масса людей, которая лишь ждет, что ей покажут... Учительство одного по отношению к другому не было лишь «выучкой»... Оно было наставлением, указыванием главнейшего, для того чтобы тем скорее выявилась внутренняя сущность художника-ученика.

И главное в этом процессе работы мастера и ученика было слияние их в общем процессе творчества, выявление сообща некоей наличной сущности.

«По-моему,— говорил позднее Рерих в статье о задачах художественного образования,— главное значение художественного образования заключается в том, чтобы учащимся открыть возможно широкие горизонты и привить им взгляд на искусство, как на нечто почти неограниченное...»*

* Газ. «Слово», 11 сентября 1908 г.

Их обоих — ученика и учителя, Рериха и Куинджи — одолевает всесильная, ровно дышащая природа. Они оба видят несказанную чистоту могучих ее колоритов. Но образы Рериха оказались при всем том *его* собственными образами. И в своей программной работе 1897 года на звание «свободного художника» Рерих пишет своего знаменитого «Гонца».

Существует мнение, что в своем последовательном развитии каждый человеческий организм, а это значит — каждый ребенок, проходит те фазы, которые проходил до этого народ, его раса. Что ребенком повторно владеют те образы, те идеи, которые когда-то коренились в первобытных душах его народа, а теперь выступают и проявляются по мере развития ребенка, юноши, мужчины. Первые страхи, чувство связанности с чем-то великим и значительным, печаль закатов, радость утра, проявление страсти к охоте, к войне, к природе и т. д. проявляются постепенно и лишь постепенно дают себя сбить, заменить иными, «цивилизационными» образами, идеями... Душа ребенка полна тех могучих видений, и только, увы, большие люди и к старости не забывают их пылающих прикосновений...

Душа молодого художника Рериха, как видно из этой картины «Гонец», полна тех видений, которые витали над ним, покамест он раскапывал свои первые курганы. Он — в прошлом. И ведь это *прошлое — реально.*

И *пока* он не касается будущего.

«Поэзия старины, кажется, самая задушевная! — пишет он в статье «На пути из Варяг в Греки», тремя годами позднее своего «Гонца».— Ей основательно противопоставляют поэзию будущего. Но *почти беспочвенная* будущность, несмотря на свою необъятность, вряд ли может настроить кого-либо так же сильно, как поэзия минувшего... Старина всегда ближе человеку!..»

Это обнаружение молодого художника Рериха выказывает необычайную тонкость его наблюдения. Да, прошлое ведь реально, как бы говорит он. Прошлое ведь неотменимо, говорили и философы.

Рерих в своих первых картинах реалист, но реалист особого стиля, более утонченный, чем реалист общепринятый, реалист настоящего. *Он реалист прошлого.* Он берет предметом своих картин мир, несколько как бы отуманенный, несколько приподнятый таинственным струящимся маревом времени от милой земли, мир прошлого бытия... Молодой Рерих не в настоящем.

Что же видит он в этом прошлом? Прежде всего — ту же

самую, что и теперь, природу. Очевидно для художника, что природа — вечна. Для Рериха эта истина самоочевидна, она первая аксиома его искусства. Вот она, эта природа, в «Гонце»; темно-зеленоватая река, охваченная послезакатным, вечерним сырым воздухом, река — единственная дорога среди могучих лесов, среди которых жили лесные души — наши предки. На темном суровом небе прошлого — груда каких-то построек, примитивных по форме, сохраняющих органический прототип всякой постройки,— пилоны крепко уперты в землю и крыша как шапка. Выше — какая-то крепость, «городище», тоже примитивнейшее сооружение, которое еще с трудом создает человеческий туго двигающийся разум — расчет. И тут же, на частоколе, на тыне,— примитивы человеческого и животного мира — черепа, костяки, эта схема снов жизни, ее суровая геометрия.

А вот они и люди тех веков — белые холщовые рубахи с вышивкой, настороженные фигуры, меч при бедре. Они скользят в ботнике, эти люди, в долбленом дереве — в примитиве человеческого речного делания. Ах, как свежо, вероятно, восприятие у этих людей! Ах, сколько тайн и ускользающих теней, сколько опасностей в этих притихших лесных сумерках!.. И тут ясно видно, что сам-то художник — с ними, с этими первобытными, простыми, лесными людьми, с ними — несмотря на все разделяющее их время. Недаром эта картина называется «Гонец». Куда «гонец»? К кому «гонец»? От кого «гонец»? Это — все категории реального, которых нет уже в мире прошлого. В мире *лишь* настоящего мы могли бы ответить на все эти вопросы. А тут только одно чистое стремление...

В этой картине как бы показана сама некая движущая сила нашей истории. Точные археологические аксессуары и детали картины нанизаны на нить самой подлинной жизни.

Первая картина — и первый крупный успех Рериха. Мы сейчас обеднены возможностью сознавать, какой это был триумф молодого художника, когда со всех сторон своего общества он получал поздравления, одобрения, когда в его скромную мастерскую на четвертом этаже явился «сам» П. М. Третьяков, меценат, в бобровой шубе, и стал торговать картину для своей коллекции. Крупный человек — сразу же он учуял другого крупного человека. Он с маху пошел за ним... И с тех пор «Гонец» сразу же на почетнейшем для русского художника месте — он на берегу Москвы-реки, против Кремля, в Третьяковской галерее...

Присматриваемся к творчеству художника и видим во-

обще, что Рерих первые годы, до 1900 года, как бы привязан накрепко к этому прошлому. Он как бы бытовик прошлого. Вот — 1898 год дает его картину «Сходятся старцы». Каким, чьим рассказом, какими переживаниями навеяна она? Не сказать этого! Велика тайна мастерства.

У Эдгара По есть великолепный анализ того, как возникает художественное произведение, как возникла, в частности, его изумительная поэма «Ворон». Весь «Ворон» раскрывается из одного слова «Nevermore».

Рерих говорит проникновенно:

«Темы сама природа подсказывает. Роман, поэма, философское сочинение, каждое в отдельности, в своем определенном виде — еще не дает пластического образа. Тогда как пролетит в окне птица, застучит дождь по крыше, иногда както особенно проскрипит дверь, иногда в беседу врывается какой-то неожиданный свежий элемент — и вдруг тут и возникает, что самое главное не программа, не иллюстрация, а живой и глубокой жизненный образ того, что звучало в речи, в музыке или в философской мысли, но всегда при этом неожиданно и как бы вскользь...»

Чем навеяна, чем пробуждена, какой причитой причинена эта картина для творческого сознания? Не скажешь. Но совершенно ясно — тут само прошлое, и покамест — прошлое неподвижное. Это опять то же самое, что в «Гонце», и, может быть, среди этих «собравшихся старцев» и сидит уже «гонец», добравшийся до цели своего стремления и зачинающий в этом совете стремление новое. И река-то, и пейзаж, возможно, те же.

А вот еще одна картина Рериха — «Идол», неоднократно отображаемый впоследствии. Она относится тоже к тому же времени. Деревянные страшные формы, желтые с красным, возможно с кровью, в ослепительном сиянии солнечного дня. А вот еще — «Поход», на котором куда-то бредут бесконечным походом воины... Лапти шуршат по распутице, и в даль, в бесконечную даль уходят эти военные люди...

Остановись Рерих на этих сюжетах, он впал бы в замерший историцизм. Он стал бы рисовать изумительные реставрации прошлого, годные для школ в качестве объясняющих руководств по истории культуры, по исторической этнографии... Но это не было бы тем, чего ищет искусство...

Нельзя ведь исходить всех дорог прошлого, исплавать всех его рек, налюбоваться всеми идолами, исследовать все прошлое. И путь Рериха из прошлого дальше, выше...

Его путь прежде всего ведет к красоте как к величайшему,

единственному обобщающему оправданию художественного произведения.

1900 год застает нашего художника в Париже, на Всемирной выставке; приехавший туда Рерих работает у француза-художника Кормона.

Стоит только посмотреть — увы, лишь в воспроизведении — его рисунки тех рабочих лет, хотя бы рисунок «Человек с рогом», чтобы увидеть, что дал художнику этот его европейский метр. У Рериха все та же глубина и сила, которая по-прежнему струится из света его картин и из его рисунка. А рисунок усовершенствовался. Ни одной лишней черточки, ни одной ненужной детали; вылепленное одной плавной линией человеческое тело поет и расцветает на картине Рериха, подымаясь в единой совершенной форме, как гиацинт из единого корня.

И еще одно. Рерих увлекается знаменитым Пювис де Шаванном, этим магом намеренной скудной линии, этим волшебником скудной, как бы затертой, сдержанной краски, что делает его живопись похожей на гравюры. Но — с какой линией! Но — с каким колоритом!

И начиная с этого времени сюжеты Рериха, до того уже приподнятые миражем прошлого, приподнимаются еще выше, в область чистого, живого искусства, подходя к самой Красоте.

Вот перед нами на картине, на великолепной синьке морской воды — словно вылетающие из полотна белые чайки. Они висят в воздухе, эти птицы, а за ними паруса, веселые, полные ветром... А сами струги — тоже ярко-красны и желты, а небо звеняще-солнечно и высоко... Едут, едут «Заморские гости»!..

Тут уже не этнография, не история. Отступление в прошлое для Рериха в этой картине — не сюжетно, оно нужно как прием, для отступления от реальности, для преодоления ее. И картина сильна своей красотой, сильна, как пасхальный благовест в весенний ситцевый день.

А вот еще картина, уже в иной плоскости восприятия. Серое небо, хмурая, неоглядная вода. И черными обобщенными формами мрачно высятся черные вороны на камне. «Зловещие» называется эта картина, и действительно, в ней бездна того видения, которое заставит щемить самое крепкое сердце предчувствием надвигающейся беды.

Обе картины — 1901 года, и, судя по существующей хронологии произведений Рериха, они не отделены большими промежутками. А между тем как они различны! Какую свобо-

ду получил в этот промежуток времени, после 1900 года, молодой художник!

И в то же самое время есть нечто, что объединяет обе эти картины. Из проржавленного, реального времени Рерих подошел к созерцанию безусловного. И отселе, на что ни упадет его стальной, дальнозоркий взгляд,— все это поет и сверкает красотой — не прошлой уже, а извечной, первозданной, все это оправдывается в своем разнообразии, в правде своего существования при таких различиях.

Небо ночное, смотри,
Невиданно сегодня чудесно!
Я не запомню такого!
Вчера еще Кассиопея
Была грустна и туманна,
Альдебаран пугливо мерцал,
И не поднялась Венера.
Но теперь воспрянули все.
Орион и Арктур засверкали.
За Алтаиром далеко
Новые звездные знаки
Блестят, и туманность
Созвездий ясна и прозрачна.
Разве не видишь ты
Путь к тому, что мы завтра отыщем?
Звездные руны проснулись.
Бери свое достоянье,
Оружья с собою не нужно.
Обувь покрепче надень,
Подпояшься потуже.
Путь будет наш каменист.
Светлеет Восток. Нам
пора!

Так великий художник в сюите своей «Священные знаки» пророчествует и поет. Если, стало быть, раньше он считал, что только вчера, что только прошлое реально, что будущее беспочвенно, хотя и необъятно,— он теперь идет прямыми путями к завтра.

Но путь к Завтра лежит через Сегодня.

И через эти врата в искусство Рерих входит на десятилетие работы в русском Сегодня, подготовляющем мировое Завтра.

Рерих начинает опознавать Россию и просвещать ее своим познанием Сегодня своей страны.

Рерих и Россия

Опознать, освоить, к красоте Сегодня, настоящее — вот задача Рериха в начале первого десятилетия XX века.

А что может быть настоящее, подлиннее России? Что может быть изумительнее ее красоты?

Помнится, в Ярославле стоял Спасов монастырь... Одна из его каменных белых стен выходила на площадь, на обыкновенную провинциальную, ампирную, круглым булыжником мощенную площадь, обставленную садом. И была та стена сплошь расписана ангелами и архангелами, так что, бывало, идучи с площади, было видно:

— Идет толпа нарядная гулять в городской чудесный Ярославский сад, что повис над стальной Волгой. И промежду тех людей, что шли по тротуару у той расписной стены, промежду простых людей, промеж господ в котелках и фуражках да между барынь с зонтиками — идут тоже грозные ангелы, писанные как раз в человеческий рост, с золотыми да с белыми крыльями...

Было в России некое смешение между небесным и земным, и это было всегда. В книге «Виноград Российский», писанной Выговским старцем старой веры, славным Симеоном Дионисьевичем (князем Мышецким), так сказано в предисловии о том, что такое Русская земля, словно писавший самовидел тот тротуар в Ярославле:

«Если при Иосифе Патриархе Московском на лета позриша, и тогда святых преславно спасшихся и дивных людей чудесные чудотворящих узрили, еще Российские украшающие златоплетенно пределы, земная совокупляху с небесным, человеки Российские с самим Богом всепресладце соединяху... по пресладкому небесного сосуда гласу: — едино стадо быть и ангелов и человеков, дивный и предивный мир, всепречудные сладости, всепрекрасное смешение сообщения»...

На заре XX века и стали угадывать тот подлинный, прекрасный, необычайный мир, который представляет собой Россия, стали его понимать в его чудесных, нигде в мире не повторяемых особенностях. Музыка «Могучей кучки» гремела уже повсюду. Стали понимать, что такое иконы как прояв-

ление народного русского искусства. Рерих пишет по этому поводу в те дни:

«Даже самые слепые, даже самые тупые скоро поймут великое значение наших русских примитивов, значение русской иконописи. Поймут и завопят и заахают... И пускай вопят! Будем их вопление пророчествовать — скоро кончится «археологическое» отношение к народному творчеству и пышнее расцветет культура искусства...»*

Равным образом архитектура в это время начинает использовать старые достижения народного искусства, начинается развитие и иных народных линий, что предвещает уже прямые взрывы народных движений... Если бы не бояться употребления старых и захватанных терминов, то слово «Возрождение» великолепно подошло бы к этому могучему процессу в России в начале XX века, который знаменовал полнейшее выдвижение вперед всех русских народных начал, которые, в свою очередь, обусловливали и выявление известных политических бурных явлений, однако не покрывавших, не выражавших их вполне.

История и впрямь перестала быть археологией, перестала быть только «старым», «отжитым». История вставала тогда в России как запас подлинных народных живых сил. И впереди целой талантливой плеяды художников, архитекторов, музыкантов, поэтов — идет Рерих, неся свой живописный подвиг оздоровления русского искусства, разрыхляя почву, столько лет лежавшую в небрежении, под мусорными травами неглубокой традиции петербургского, чиновничьего, «академического» отношения к делу. Искусство стало развертывать в широких планах удивительную сущность русского народа, животворную, крепкую, слишком огромную, чтобы быть уложенной в какие-либо рамки, слишком свободную, чтобы не быть бурной.

С удивительным, почти уже тогда пророческим даром интуитивного умозрения Рерих вскрывает всюду элементы подлинной культуры, развертывавшейся в России за целое тысячелетие.

Но не следует думать, что в этих своих постижениях Рерих касается только внешних, основных форм проявления этой культуры во *времени*, усматривая лишь смену таковых форм. Нет, само то время для него органически вырастает из времени же, а не просто сменяется, как сменяются

* Что мы видим теперь в изумительных самоцветных картинах-поэмах мастеров-палешан.

картинки в калейдоскопе. Жизнь есть не смена форм, а творческое вырастание одних из других, вот точно так же, как различные проявляющиеся во времени творческие достижения человека создаются именно творящей душой, острым вниманием и напряженным трудом человека:

«Если хотите прикоснуться к душе камня,— пишет Рерих,— то найдите его сами на стоянке, на берегу озера, подымите его своей рукой. Камень сам вам расскажет о длинной жизни своей.

...Каменные топоры, кремневые наконечники стрел и копий, круглые булавы с отверстиями, скребки, ножи и крючки для ловли рыбы, подвески из зубов, гончарные бусы, янтарные ожерелья — на всем лежит невероятное усилие воли и сознательное отношение к искусству... При всей своей кажущейся дикости, древний человек с не меньшей пытливостью, нежели мыслящий человек нашего времени, стоит перед лицом природы и божества, употребляя все усилия своего гения на уяснение вековечного смысла жизни».

Таким образом, время наполнено не просто сменой разных эпох, а постоянным трудом человека. Усилия каждого человека оказываются достойными одинакового уважения, в какую бы эпоху он ни жил, каждый человек предстоит нам как некая целая Единица, завершенная в себе, но лишь развитая в большей или меньшей степени. И в бесконечном соревновании этих отдельных личностей открывается культура человеческая как поприще для человеческих творческих усилий и, одновременно, как их полноценный результат.

И вот она, эта Культура, как общее русское делание, в отдельных своих абрисах:

«Первые века России,— говорит Рерих,— наполнены скандинавской культурой. Глубины северной культуры хватило на то, чтобы напитать всю Европу своим влиянием на весь X век. Памятники скандинавов особенно строги и благородны. Долго мы привыкли ждать все лучшее, все крепкое с Севера. Культура северных побережий, богатые находки Чернигова, воховские и верхневолжские — все говорит нам не о текучей культуре Севера, а о полной ее оседлости. Весь народ принял ее, весь народ верил в нее».

Эта «скандинавщина» остается в России и по сие время в известных памятниках, рецепциях, обычаях и т. д. А за северной культурой идет и византийская.

«Скандинавская культура, унизанная сокровищами Византии, дала Киев. Поразительные тона эмалей, тонкость

и изящество миниатюр, простор и спокойствие греческих храмов, чудеса металлических изделий, обилие тканей, лучшие зодчества Романского стиля — дали благородство Киеву»,— пишет Рерих.

«Бесконечно удивляешься,— говорит он дальше в той же статье «Радость Искусству», датированной 1908 годом,— благородству искусства Новгорода и Пскова, выросших на Великом Пути, напитавшихся лучшими соками ганзейской культуры. Голова льва на монетах Новгорода, так схожая с львом св. Марка, не была ли мечтой о царице морей — Венеции?»

И наконец — главное, впервые явно и гласно мелькающее у Рериха, еще одна культурная традиция.

«О татарщине,— недоумевает Рерих,— остались у нас только воспоминания, как о каких-то мрачных погромах. Забывается, что таинственная колыбель Азии вскормила этих диковинных людей и повила их богатыми дарами Китая, Тибета, всего Индостана. В блеске татарских мечей Русь слушала сказку о чудесах, которые знали когда-то хитрые арабские гости Великого Пути в Греки...»

Надо вспомнить узость известных воззрений русского общества того времени, когда думались эти мысли, когда писались эти строки, чтобы понять, как смел должен был быть наш художник, чтобы говорить, чтобы думать так! Но иначе он говорить и не мог: его устами гласила сама истина: интуиция художника проникновеннее молнии. Но каково было ей встречаться тогда с «мнением света»!..

Но ничего не устрашит Рериха. Вскрыв в России, как в культурном единстве, эти великие категории объединенных культур, являясь в том отношении полным предтечей евразийцев, которые пришли в мир двумя десятками лет позднее его, опознав эти категории, которые в конечном счете создали почти всю мировую культуру,— Рерих стал это все закреплять в своем искусстве, подымая волну некоего русского новонационализма, не исключающего, а примиряющего и синтезирующего.

Среди регалий византийских императоров была одна — черная шелковая сума с землей; мешочек, который потом перешел в одну из русских былин как олицетворение всей тяги земной... Всю тяготу русской культуры, тяготу, беременеющую и плодоносную, подымает Рерих в эти годы в своем могучем искусстве. Его годы эти, как вообще и вся жизнь,— работа, работа, работа созидающая, обновляющая, подымающая. Искусство мастера высоко, рука сильна, тело по-

винуется воле, руководимой к добру,— и богаты результаты.

1903 и 1904 годы проводит Рерих в вагонах и гостиницах. Русский, он странствует вдоль и поперек по лицу земли русской, смотрит ей в лицо, любуется ею. Сколько красот он видит не из альбомов, не из кипсеков, не из открыток, а сам, лично, своими взглядами, своей душой соприкасаясь со всеми этими заповедными местами, на которые еще никто не обращал таких пытливых, осознающих себя взоров. И какая красота льется в его душу от зеленой, вальяжной и свежей тысячелетней и все юной — русской земли!

«У нас так много того, что считалось «неценным»,— пишет Рерих в статье «Неотпитая чаша», чего не видно из окон вагона, когда, бывало, ездили туда, «куда следует», чего вообще не хотели знать, как вообще не хотели знать свою собственную землю.

Не об «исторических местах» я говорю. Не о «памятниках древности». Нет! Теперь как-то не нужно мыслить о былом. Теперь — настоящее, которое для будущего!

Припадая к земле, мы слышим — земля говорит: все пройдет, потом хорошо будет.

Причудны леса всякими травами, деревьями. Цветочны травы. Глубоко сини волнистые дали. Зеркало рек и озер. Камни стадами навалены. Всяких отливов. Мшистые ковры накинуты.

«Знают, пройдет все испытание... Всенародная, крепкая доверием и делами Русь стряхнет пыль и труху. Сумеет напиться живой воды. Найдет клады подземные».

Так пророчески писал Рерих тридцать лет тому назад. И он все это знал, знал интуитивно, ибо художники видят иначе, нежели простые люди, и трудно им лишь выразить то, что они видят, на простом земном языке, объяснить теперешними привычными словами небывалое будущее. И Рерих кроме слов еще являет и образы, живые формы Руси.

Семьдесят пять этюдов-картин привез Рерих из этой плодоносной поездки по Руси; старые с них смотрят на нас города, монастыри, дома. Рерих объехал Ярославь, Кострому, Н. Новгород, Казань, Суздаль, Владимир, Юрьев-Польский, Ростов Великий, Москву, Смоленск, Вильну, Троки, Ригу, Изборск, Печоры, Псков, Тверь, Углич, Калязин, Валдай, Звенигород и другие «захолустья».

То, что нарисовал и написал Рерих после этой поездки,— это все невелико по объему в сравнении с тем, что видели глаза художника и к чему припадала душа его. Все, кто

бывал в тех местностях, где бывал Рерих, те знают, какая сила в этих памятниках, запечатленных Рерихом на полотне. Оговоримся — это не мертвые «памятники»; это свидетели сильнейшей, напряженной творческой работы русского прошлого, на индивидуальном его историческом пути; они полны вечной жизнью народа, они пылают радугами творчества, они вещают сильное прошлое и свидетельствуют о великом будущем...

Вот перед нами, на одном из этих этюдов,— группа соборов Ростова Великого в сумеречный час. Или вот — в светлом солнечном сиянии вход в церковь Николы Мокрого в Ярославле... По непростительному бюрократическому недоразумению этюды эти, которые уже должны были поступить в Русский музей, ушли за границу, в Америку...

— Ну что ж,— сказал тогда Рерих,— пусть эти картины будут моими добрыми посланниками в Америке...

Но прежде чем уйти туда, эти картины обошли залы многих выставочных помещений России, они указали тысячам художников, на что и как следует посмотреть, что и как можно в этом видеть, видеть то, чего не видали раньше. За этим, так сказать, каталогизированием живых памятников спящей прошлой Руси идет новый период творчества Рериха.

Сильную и радостную красоту увидел в Руси Рерих. Увидел, как ни один художник не видал до него. Нельзя же такую красоту оставлять втуне, ее надо проливать в жизнь.

«Обеднели, обеднели мы красотою,— пишет он в те дни.— Из жилищ, из утвари, из нас самих, из задач наших ушло все красивое. Красота прошлых времен осталась втуне в нашей жизни и ничто не преображает собой. Умер Великий Пан!»

Рерих по существу своему величайший оптимист и боец. Он не мирится с таким положением вещей. Красоту надо возродить — вот лозунг Рериха, надо привести ее в жизнь, разлить в мире. И он с готовностью принимает предложение княгини Тенишевой — поработать в ее мастерских, в с. Талашкине, в Смоленской губернии.

Талашкино — это художественный оазис того времени, это попытка возродить наряду с настоящим искусством и прикладное, столь почему-то официозно презираемое искусство. Княгиня Мария Клавдиевна, поклонница и старой Руси, и старого искусства, устроила в своем имении Талашкино обширную мастерскую, где работали над различными ви-

дами прикладного искусства такие художники, как Якунчикова, Врубель, Поленова, Стеллецкий и другие.

И тогда пишет Рерих о талашкинской артели:

«В Талашкине широко переплелась хозяйственность с произволом; усадебный дом с узорчатыми теремами; старописный устав с последними речами Запада. На окрестное население ложится вечная печать осмысливания жизни... У священного очага, вдали от города, творит народ вновь обдуманные предметы, без рабского угодства, без фабричного клейма, творит любовно и доступно... Сам Микула вырывает из-под земли красоту жизни...»

Делание, стройка — вот новые слова, новые смыслы, которые входят отныне накрепко в работу Рериха, всегда страстную и самозабвенную. И как явный знак этого — в 1902 году уже явился новый образ Рериха, ткущий свои нити все дальше и дальше... Рерих заканчивает тогда картину «Город строят» (ныне в Третьяковской галерее, в Москве).

Это то же движение, тот же порыв, что и раньше, но порыв уже размеренный, связанный с расчетом, с материалом... Перед нами картина деятельной стройки, кипучей работы. Строят города — картина, вдохновляющая и старое, и теперешнее время... Более того — вдохновляющая в древности и апостольскую церковь. У апостольского мужа Ерма, упоминаемого у ап. Павла (Римл., 16, 14), имеется в одном творении строительство церкви в виде строительства башни, в образе общей кипучей работы. И у Рериха на этой картине мы видим, как на бревенчатых стенах созидаемого города копошатся мужики-строители, видим лошадей, тянущих грузы наверх... Идет работа, идет преодоление силы земной тяжести, косности, идет строительство, а строительство, как и жизнь, как рост, всегда тянется вверх. Кипит работа, идет великое дело.

И недаром писатель Алексей Ремизов давно-давно отозвался на эту картину такими вещими словами:

«На вольготе — склоть, день-деньской копошатся.

Там рыли канавы, взрывая вековой чернозем, по серебрушку срубы вели, клали в крест венцы башен, сводили крышу в стрелу.

И одаль от холодного моря тянулись на шняках и барках великие белые камни — основа твердыни великой России.

Уже оживали укрепы и башни.

Камни расширили темные очи, и на бойницах мелькал глаз человечий.

А над башнями реяли темные птицы!»

Рерих влился в работу Талашкина, не пожалел себя, пошел на прикладное дело, понес красоту в жизнь, в простоту, в толпу, в народ. Он дает целый ряд эскизов для мебели, для резьбы, для прикладных работ в талашкинских мастерских:

— Делайте, давай Бог!

Рерих выявляет в своих этих действиях себя уже почти целиком. Он говорит:

— Возрождаем цельную, вековечную Россию...

— Строим ее.

— Утверждаем великие и неразрывные связи старого и нового, берем ее в едином существе ее, ее — Россию.

— Находим, выявляем ее великие красоты, которые были забыты, чтобы потом перейти и к областям духа...

И начинается великая эта работа. В продолжение почти двух десятков лет идет она, эта работа Рериха.

Ищутся самоцветы погребенные, чтобы явиться из-под спуда и сиять светозарно.

Россыпи самоцветов

В фаустовском стремлении работать, привносить новое, усовершенствованное в жизнь, идти по размеренным тропам настойчивого труда с полной верой, что работа сразу может дать пышные результаты, подошел тогда Рерих к талашкинской артели.

И тут оказалось, что нет еще в России того времени светлых путей к творчеству, какими шел западный Фауст, призывая всех, подымая всех на стройку всенародной плотины, отвоевывающей землю у моря.

В 1905 году в том самом Талашкине, которое так любил Рерих, взметнулись алые пламена первой революции; Талашкино пострадало от аграрных беспорядков. Если революция искала какую-то Правду, значит, до того или иного разрешения вопроса об этой Правде еще нельзя было работать так, как того желал Рерих,— светло и всенародно. И он уходит с пути Талашкина.

Он сам знает, сам ищет свою правду, в геройском одиночестве своей личности вскрывая те потаенные ларцы, в которых хранились самоцветы русской земли. Он, подобно маническим искателям воды с палочкой, идет по всему необозримому простору русской жизни, утверждая, открывая, показывая всенародно, где таятся такие сокровища, в которых уже есть сама по себе явная и бесспорная Правда.

Не первый век стоит церковь Ивана Педтечи в Ярославле, но, вероятно, в первый раз за все время ее существования пишутся о ней такие строки Рерихом:

«Осмотритесь в храме Ивана Предтечи в Ярославле. Какие чудеснейшие краски вас окружают. Как смело сочетались лазоревые воздушнейшие тона с красивой охрой. Как легка изумрудно-серая зелень и как уместны на ней красноватые и коричневатые одежды... По тепловатому светлому фону летят грозные архангелы с густыми желтыми сияниями, и белые их хитоны чуть холоднее фона. Нигде не беспокоит глаза золото, венчики светятся только одной охрой»*.

Эта чудесная живопись написана ярославскими мастерами в XVII веке, и целых два века устремлял на нее свои взоры молящийся народ. А вот так, по-рериховски, заметили ее лишь в XX веке. Заметили ее в качестве художественного

* Статья «Радость Искусству».

произведения, в качестве образца русского художественного творчества. Значит, не во времени дело. Значит, нельзя сказать, что эта живопись «устарела» или еще: «отстала». Значит, красота вечна, как и природа вечна. Значит, и в XVII веке можно видеть ту же самую совершенную красоту, которая понимается и в XX веке. Красота — не научная истина, которая годится лишь для данного состояния науки, красота всегда и везде — красота. Стало быть, лишь художник, кто ее видит, и может ее показать, а остальные просто подчас не видят, а если видят, то не осознают ее.

И учуявший это Рерих, оставаясь великим художником, становится бойцом за вечную красоту, за ее осознание, где бы и как бы она ни проявлялась, бойцом в то время, когда в России вообще разгорался бой...

И в первую очередь взгляд Рериха обращается на русско-византийскую икону, он становится ее глашатаем и удивительно воспроизводит ее сосредоточенную красоту, не просто подражая ей, а своей художественной интуицией улавливая ее органику.

И — о чудо! — эти иконы — картины Рериха, при полной верности своим канонам, «подлинникам» иконописи русской, начинают пылать, светиться внутренним напряжением. Вот перед нами — святые Борис и Глеб — мчатся на конях над городом, растянувшимся по реке. И вполне понятна энергия этих летящих на скакунах воителей — ведь они в беде — защитники своего города.

А вот еще одна икона — картина, изображающая Александра Невского в его исторической битве на Неве, когда он осадил германские поползновения на Восток, на Русь, и копьем «запечатлел» лицо магистра ордена — Биргера. Этот святой воин тоже полон силой и энергией, и недаром: ведь ему собирались, по известному сказанию, помогать его родичи — святые Борис и Глеб.

Вот перед нами еще один образец рериховской церковной росписи — «Царица Небесная над рекой Жизни»... Катится, холодно, своим чередом идет таинственная река Жизни, увлекает своим течением утлые суденышки плывущих, лишь до поры до времени не тонущих людей. Слабы эти людишки, но не одиноки! Над ними Богородица. Она, Великая Жена, в сонме Небесных Сил, она — охранительница и представительница за малых сих...

Рерих видит теперь в жизни уже не ту задачу, которую он видел, стремясь вливать в жизнь красоту и тем украшать жизнь, устроить порядок, космос в ней, что является фаустов-

ским западным принципом... Ничего, что страшные схватки происходят в мире, что пылают алые пламена восстаний... Некоторые силы бесплотные бодрствуют над судьбой человека.. И Рерих рисует удивительную картину — над стальной, серой Северной рекой сидит Прокопий Праведный... перед ним тоже струги — плывут человеки, и он благословляет их в дальний путь... И тот же св. Прокопий, на другой картине, отводит каменную тучу от города...

Отметим, что вообще характерен этот мотив реки в творчестве Рериха; это некий лейтмотив движения, ухождения времени... По реке плыл и «гонец»; не та ли эта самая река всюду в творениях Рериха и позднейшего времени? Река — движение, напротив, святые над нею — это нечто сильное, устойчивое, вечное. И это вечное притом и действенное, помогающее, активное — святое.

А бездеятельность, пассивность, инерция? Это зло. Этот мотив отлично выражен в картине Рериха «Колдуны». Страшны их насупленные фигуры в волчьих шкурах, в мягких валяных сапогах, недвижные, вроде «Зловещих». В картине «Змиевна» — выражение неподвижной, застывшей злобы, ненависти, источенной в зеленую, как мертвую, женскую фигуру от страшного огненного отца — Змия.

В этих творениях Рериха уже видно колоссальное углубление художника не только в красоту, в опрощенную, схематизированную; кроме нее художник уже в образе проникает в соотношение самих образов сил в мироздании. Если его «Идолы» были земной мыслью о небесном Боге, примитивным ее выражением, то теперь небесное и земное как бы разорвались, раздвоились, отошли друг от друга. Сильна земля. Тяжка скала. Массивна «Великанша Кримгерд» — это скала в озере, страшная и косная. Но кроме этого есть еще и небо. Есть сила. Энергия. Полет. Недаром в мире идет бой между двумя началами, тот бой, который запечатлен в картине Рериха «Небесный бой». Подымите ваши глаза к небу, и вы увидите:

Над волнистыми уходящими далями — грандиозные облака. Все выше и выше громоздятся они. Светлые, темные. Что-то, кто-то скрыты в этих неверных и в то же время столь удивительных враждующих формах облаков. Между прочим, интересно отметить, что сперва на этом меднозвучащем облаке были написаны фигуры летящих валькирий, которые потом художник обратил в облака, сказав: «Пусть присутствуют незримо»...

Пусть незримо; но ведь эти-то силы присутствуют

тем не менее реально! Мысль Рериха таким образом начинает обращаться от неверностей земной жизни — к незримой реальности.

В 1906 году Рерих посещает Европу, объезжает ее, поклоняется всем ее основным красотам и вводит отныне в свое творчество удивительное чувство и знание четкой европейской формы. Русь — деревянная, полевая, облачная, степная, лесная. Европа прежде всего каменная, сводчатая, состоящая из замков. Эта жесткая характеристика Европы использована затем Рерихом в его декорациях к пьесе Метерлинка «Принцесса Мален», где явлена женская, нежная пометерлинковски душа, томящаяся в страшных, косных и потому холодных и злых замках... Там — эта душа за семью стальными и каменными запорами. В России — она широка и открыта.

И, вскрыв самоцветы сначала церковной красоты, красоты городской, потом проследив чуткой душой своей трепетания незримого, но реального, Рерих выявляет по-иному историю России. Это уже совершенно не первоначальная «археология». История, сама по себе, ведь есть видимое человеческое делание невидимого доброго, и поэтому исторические картины должны быть похожи на иконы. Вот перед нами два его знаменитых полотна — «Сеча при Керженце» и «Покорение Казани». Условные приемы, почти графика в контурах, яркие колеры — все это придает схематичный до чрезвычайности, но в то же время чрезвычайно мощный тон этим картинам. Становится действительно видно, что эти моменты чрезвычайно значительны в истории русского народа. Рерих здесь идет впереди этого дела, которое творят художники-палешане.

А когда Рерих дает среди своих необозримых работ декорации к опере Бородина «Князь Игорь», написанной на сюжет «Слова о полку Игореве», который подсказал композитору Бородину тот же В. В. Стасов, в живописи Рериха появляется еще чрезвычайно важный новый элемент. В нем дышит восточный, чистейший колорит, грандиозный и в то же время легкий, воздушный, степной... Вот — стан половецкий, над которым пылают зарева костра. Вот палаты кн. Владимира Галицкого, так и отдающие разгулом и вольностью... Строга и величава фигура хана Кончака, несмотря на то что она примитивна и груба по-восточному.

Удивительна также по «русскости» и другая декорация Рериха, к опере «Псковитянка». Взглянем хотя бы на этот шатер Ивана Грозного. Какая сила, мощь, спокойствие,

уверенность видны в этом контрасте зарева лампад в углу расписного, восточного по материи шатра со спокойным, далеким зеленоватым рассветающим музыкально небом.

В этот период, примерно в полтора первые десятилетия XX века, наш художник, все время лихорадочно, неутомимо ища новых и новых форм для выражения встающих перед ним откровений необозримой красоты, неустанно улучшает и свой стиль, вырабатывая форму, упрощая ее, превращая краску в подлинный музыкальный инструмент, выражающий внутренне сущность сюжета. Бесконечно количество полотен, многие декорации к постановкам, таким, как «Снегурочка» Островского, «Фуэнте Овехуна» Лопе де Вега, «Пер Гюнт» Ибсена, отмечают этот период деятельности Рериха.

И в тот же период он не отказывается от практическо-педагогической и воспитательной деятельности. Он становится в эти годы во главе школы Императорского общества поощрения художеств. Кипучая работа развивается там под его руководством.

«В пригожий майский день большой угрюмый зал Императорского о-ва поощрения художеств являет взору широкий, веселый праздник,— пишет биограф Н. К. Рериха — хранитель Эрмитажа Сергей Эрнст.— Чего тут только нет! Целая стена занята строго сияющими иконами, столы заняты пестрым, нарядным роем майоликовых ваз и фигур, тонко расписанных украшений чайного стола; дальше — лежат богато шитые шелками, золотом и шерстью подушки, ковры, ширинки, бювары, стоит уютная, украшенная хитрым рукоделием мебель... На окнах колоритными пятнами красуются детища класса живописи по стеклу; далее перед зрителем белая толпа созданий класса скульптуры, живые наброски класса рисования с животных, а наверху ждет уже целая галерея работ маслом и рисунков».

Если в Талашкине Рерих мечтал сразу же кинуть искусство в жизнь — в этой деятельности в школе И. О. П. Х. перед ним явились пути воспитания масс учеников... Воспитывать, образовывать надо юношество, прежде чем будет возможно говорить о преображении жизни! И перед нами в деятельности Рериха показываются две фигуры, связанные между собой и все же различные:

— Мастер и Ученик.

Рерих мечтает и тут широко развернуть это дело; он мечтает о создании некоей «Школы искусств», школы без всяких «прав для окончивших», которая пестовала бы только художественную культуру, не в пример Академии художеств,

которая оставалась и до тех пор столь же косным учреждением, которое Рерих покинул, совместно со всем своим выпуском, добровольно в 1897 году, протестуя против несправедливого отношения к его учителю — Куинджи. Звание он получил тогда же.

А 1909 год принес ему звание академика.

Но и тут планам этих созидательных работ по раскрытию самоцветов красоты, работ по воспитанию учеников мешают снова, как в 1905 году, подходящие грозные времена. Идет мировая война. И Рерих чувствует их, чувствует в невидимой их реальности до появления их в мире. Он в 1912 году пишет своего «Ангела Последнего» — апокалиптическое видение, грядущее на алых и золотых облаках, среди небесных огней и среди пожаров на земле. Эта картина несомненно пророческая, столь же пророческая, как некоторые стихи Блока и Белого. И в 1914 году Рерих дает одну из характернейших грозных своих картин — «Крик Змея». Где-то таящийся под землей огненный или кровавый змей кричит, голосит, и в бешеном полете мчатся от того крика огненные поджигательные птицы. В мир, действительно, вступила в 1914 году Великая война.

И все-таки не так, не так должно быть на земле! — утверждает Рерих. Он уже занимает в своем искусстве место не только изобразителя, открывателя самоцветов искусства; нет, он борется с войной, борется утверждениями... В 1916 году он дает свою картину «Три радости». Это есть гимн Культуре, гимн Труду, гимн Деланию, гимн, указывающий, что и мировые силы именно на стороне этого труда, этого делания. У Рериха нет совершенно картин, прославляющих Великую войну. Он отстраняется, он отходит от нее. Если он и изображал «Покорение Казани», «Сечу при Керженце», то потому, что они были как бы освящены тем благодеянием, которое они сотворили для Руси, освящены древностью сюжета. Но в Великой войне нет этого благодеяния. Она по существу порочна. И в разгар пушечных залпов, треска пулеметов — среди мирной сельской природы трое святых помогают мужику в его нехитрых, добрых делах — пасти коней, пасти коров, жать рожь. Вот на что обращены силы неба — на помощь мирному занятию в этот чудесный летний день.

Каково сегодня, с которым бился Рерих и работая в котором нашел он столь многое драгоценное.

Но каково же будет завтра, к которому невольно обращается наш взор, изучивший вчера и познавший сегодня?

Художник академик Рерих становится в конце вышеописанного периода его жизни — просто

— Рерихом.

И это больше чем официальные титулы.

Рерих! Это имя человека, которого просто называют и имя которого звучит как необъятный комплекс идей и образов. Стоит только назвать его, и все знают:

— А! Рерих!

Такое пожалование именем — есть высочайшая награда своего народа, который так жалует своего великого знатного мастера. Оно означает, что искусство такого мастера перестает быть личным искусством живописца, выражением высокого уменья. Имя становится жизнью. Имя становится обозначением целого мира:

— Рерих и его мир.

Позднее Рерих в одной из своих книг приводит такую мудрую легенду о художнике и его мастерстве, которую он слыхал в Азии:

«Однажды принес нуждающийся в деньгах художник в заклад свою картину. Ростовщика в лавке не было, а был один мальчик. Мальчику картина понравилась, и простодушно дал мальчик за картину большую ссуду.

Художник ушел, а вернувшийся хозяин сразу же закричал на мальчика: «Ах, несчастный, дать столько тысяч саров за капусту, которая изображена на куске полотна! Пропали, пропали мои деньги!»

Хозяин мальчика прогнал, а картину кинул в угол. На ней, действительно, написана была капуста, над которой носились бабочки.

Пришло время, и художник явился в срок. Принес деньги, и ростовщик с радостью достал картину.

— Это не моя картина,— сказал художник.— Нет! На моей была изображена капуста и бабочки, а тут только одна капуста.

Ростовщик в ужасе увидал, что, действительно, на картине бабочек не было.

Тогда сказал художник:

— Ты выгнал мальчика, который понимал картину лучше тебя. Верни его, и, может быть, он поможет тебе, как он помог мне!

Мальчика разыскали, и тот сказал хозяину:

— Искусство этого мастера так высоко, что на его картинах отображена сама Жизнь. Картину я принимал летом, теперь — зима. Бабочки, может быть, и на картине, но в таком виде, в каком они живут зимой. Поставь-ка картину к огню!

И когда картина поставлена была у огня, бабочки ожили и окружили капусту...»*

Чудесная, глубокомысленная легенда! Искусство — не фотография, не реальное «отображение», холодное и бездушное, не простое повторение. Искусство — есть проникновение в тайны, в сущность самой природы. Искусство — есть сама жизнь, как таковая; и Рерих, точно так же отдавшись искусству и его высочайшей форме,— отдался самой Жизни, слился с ней. Искусство не ослабляет жизнь, давая ее в повторениях, а наоборот — концентрирует ее.

Мы видели выше, как Рерих, обращаясь душой к прошлому, умел восстанавливать его в таких подлинных образах, что от верности этой дрожь искреннего восхищения пронизывала любующихся этим произведением. Мы видели, что уже в некоторых своих картинах он учуял начало войны 1914 года, предвосхищал ее, когда еще война таилась в недрах мира. Да разве знал кто-нибудь, что война будет? Да, кое-кто знал! Пишущему эти строки в январе 1914 года говорил об этом старый захолустный русский священник:

— Будет война, беспременно будет... Все мальчики родятся! Значит — к войне... Многая убыль мужчин будет!

И когда в 1917 году в России вспыхнули пламена революции, когда глухо загрохотали под землей сейсмосы политических катаклизмов, куда же направил Рерих свой путь, столь до того всегда связанный с «милой жизнью» через искусство?

Когда в безумный степной буран чуть не гибнет молодой дворянин Гринев — его спасает неизвестный чернобородый казак, присевший к ним на облучок. По запаху дыма чует Пугачев, где, в какой стороне «жило».

Пусть велики времена, пусть времена грозны и грандиозны, но Рериха ни на секунду не останавливают они.

Рерих, своим искусство способный постигать столь глубоко жизнь, слышать, как трава растет, куда вода бежит,—

---

* Рерих. Держава Света, стр. 40—41.

знает, куда идти. Крепкий в бурях, спокойный и радостный в жизни, стоит он и зорко смотрит вокруг... Он слит душой с природой, а природа знает больше нас, природа и есть жизнь, жизнь — есть путь...

В своих позднейших записках о путешествии по Азии Рерих пишет:

«Труден был перевал Санджу, где на скалистом кряже як должен был перескочить довольно широкую расселину. Не трогайте поводьев! Не трогайте поводьев! Дайте опытному животному сделать свое дело»*.

И быстрым прыжком, точным, как математический инструмент, як перенес через пропасть свое огромное сильное тело, сопряженное с природой. Он преодолел препятствие там, где у человека кружилась голова. Бывают моменты в жизни, когда человек, чтобы сделать верный ход, должен бросить поводья и отдаться во власть инстинкта, во власть интуитивного переживания, слушать таинственные, правдивые, зовущие голоса.

Всю свою жизнь слышал эти зовы Рерих, всю жизнь не отрывался он от природы, всю жизнь слушал ее темпы, и он не потерял времени в смутные годы. Он уходит к природе.

Более того. Не будь этих смутных времен, самому Рериху, может быть, пришлось бы потратить много усилий на борьбу с многими житейскими и общественными предрассудками, каковые теперь оказались просто как бы устраненными нагрянувшими событиями и освободили путь ему для многих продвижений вперед.

В своем любимом Севере, с тускло-серебряными небесами, с медными полунощными восходами, среди морей хвои, на тихих реках проводит Рерих кипучую рабочую зиму 1917—1918 годов. А летом он на островах Тулоле и на Валааме.

Тишина. Тишина тем более глубокая, что она контрастирует с шумом политических дней того времени. И в этой тишине было написано одно из важнейших произведений Рериха — письмо-повесть «Пламя».

Как художник Рерих смотрит проникновенным взором вовне — в пространство и во время.

Как писатель он погружает свой взор в себя, в свою душу, стараясь созерцать вещи и события такими, какими они и являются. И тут, в этом письме-повести, он беседует с самим собой, со своей душой, а значит, и с целым миром...

---

* Сердце Азии, стр. 29.

«Ты спрашиваешь меня, где я? — пишет он.— Слушай! На острове. На Севере.

На горе стоит дом. За широким заливом темными увалами встали острова.

Жилья не видно.

Когда солнце светит в горах особенно ярко — на самом дальнем хребте что-то блестит... Мы думаем — это жилье... Налево и сзади сгрудились скалы, покрытые лесом...

...массив нашего острова очень древен. По всем признакам вулканические образования давно закончились. На таких массивах можно было бы осуществить нашу давнюю мысль — постройка храма, где сохраняются достижения культуры нашей расы. Великое творчество.

Молчаливый человек на черной сойме иногда привозит нам запасы пищи, книги и вещи из нашего прежнего мира»*.

Одиночество, глубокое одиночество окружает там Рериха и его великую спутницу на путях Е. И., и это его исконное северное одиночество. И должно быть, уж слишком все объявилось непостоянным в том «прежнем» мире, если мысль художника направлена на основание неких массивных базальтовых храмов, утвержденных на отвердевших вулканических породах, чтобы в этих храмах, еще более прочных, чем египетские, сохранить достижения культуры.

Но разве в твердости камня прочность?

А что же прочно в жизни? Что же наиболее устойчиво в ней при всяких обстоятельствах?

«В этой жизни ценен лишь труд творчества»**,— отвечает на это художник.

И художник этот в уединении пишет ряд картин. Цикл, связанный единой мыслью. Цикл удался. Воплощено то, что должно было воплотиться, что предносилось сознанью и чему мешали люди, время, должности, вежливости и т. д.

И когда картины были выставлены, несмотря на нежелание этого со стороны самого художника,— «созданное оказалось убедительным». «Заражало зрителя». «Сделало его участником действа».

И в то же время это доброе творчество привлекало свою полярность — человеческую злобу. И Рерих в своей повести рассказывает весьма интересную историю, которая могла бы

---

* Рерих. Пути Благословения, стр. 34.

** Пламя, стр. 36.

стать темой сильной драмы огромной значительности... Он сам становится жертвой клеветы.

В этом тихом уголке как бы самовозгорается «алое пламя». «Пламя гнева». «Пламя безумия». В данном случае — оно строго индивидуализировано. Оно возгорелось из этого случая, когда художник, от лица которого ведется письмо, допустил небольшую поблажку. В том-то и дело, что это пламя — вездесущее, тождественное всюду пламя. Неправильность одного человека — есть неправильность общая... Покоя нет на том острове. На северном острове.

Алое пламя бушует со всех сторон. Темнеет сознание. «Кажется, что дальше и идти некуда». И тогда созревает основное решение, подслушанное с чьих-то внутренних тихих голосов.

«Это пламя — пламя судороги, припадка. Жить и созидать среди этого пламени — нельзя. И как при некоторых болезнях нужно переменять место, так и от алого пламени нужно спасаться бегством. Стыдного тут ничего нет. Нужно сознательно сохранить силы. Направить их к ценному труду...

«И я знаю, что я работаю. Знаю, что моя работа будет кому-то нужна».

Так все меняется под пристальным взором сознания. Так найден путь среди ужасающего бурана жизни. Рерих знает, куда нужно идти. Начинается великое принятие, утверждение жизни, утверждение, прошедшее через алое пламя скорбей, а потому закаленное...

«Прежде говорили, что познание — есть скорбь,— пишет он.— Теперь скажем — познание есть радость. Ибо восторг родил и глубокие скорби...»

«Мы окружены возможностями, но, темные, не знаем их. Придите! Берите! Стройте!»

«Приказ звучит!»

«Мы окружены возможностями».

«Я чувствую силу начать новую страницу жизни. Мне ничто не мешает. Бывшее — уже не для меня».

Эти слова — сдержанный, суровый гимн радости после скорбей жизни, гимн утверждения, подобный тому, каким кончает суровый Бетховен свою IX симфонию. Стройка. Труд.

И еще нечто напоминает эти слова. Лет за сорок до написания их — на площади св. Марка, в Венеции, другой скромный и одиночный дух записывал, под звучание колокола, полуночный гимн Вечности...

Этот человек был — Фридрих Ницше, философ нежный и пламенный, из которого сделали насильника и гасителя. Мир не знает еще подлинного Ницше, но чувствует, какой нежностью звучит этот гимн Вечности в «Заратустре»:

«Человеческая скорбь гласит: «Пройди же! Пройди!» — так заканчивается этот гимн, но «Радость духа требует Вечности!».

«Глубокой, глубокой Вечности!»

И колокол св. Марка Евангелиста ставит здесь словно печать — свой медный могучий двенадцатый удар.

На северных тех горах, над бесконечным озером разыгрывается четко выявленная мистерия человеческого духа. Художник сам сознает себя, свои цели в образах, которые воздымаются из глубины его самого... Обра́зы, вставшие из глубины творческого «я» художника, явились ступенями к осознанию Духа. Явилась и разыгралась перед людьми величайшая трагедия Искусства. Образ явился не только образом, отражением чего-либо «внешнего», он явился здесь как начало нашей мысли вообще. Ведь если мысль «схематична», как часто говорят, то ведь «схема»-то есть не что иное, как образ.

Известно давно, что большие поэты и писатели, которые знали глубинные прозрения, проникновения в сущность мира, как Гоголь, Пушкин, Леонид Андреев, Вл. Маяковский, Гёте, Виктор Гюго, были и большими художниками... Кто мог нарисовать в тончайшей графике — в манере 30-х годов — финальную сцену «Ревизора», как не Гоголь, который знал, что творится в душе его героев? Искусство в своей сущности, вероятно, едино, и человек больших одарений находится на вершине духа, где в одной точке сходятся все многосторонние плоскости единой пирамиды души.

И художник Рерих, который картинами воплощает такую правду, к нашему счастью, может словами рассказать нам, что он чувствует, что он провидит. Мы видит, что, к чему бы ни прикоснулась волшебная кисть художника Рериха, к природе ли, к истории ли, к религии ли,— все начинает гореть, сиять напряженным тончайшим блеском самой Жизни. И он становится мыслителем.

С этой точки зрения Рерих — явление колоссальное. Что сказать бы о Бетховене, который бы сам стал истолковывать в слове свои могучие, космические музыкальные образы, а не предоставил бы это своим косноязычным критикам? Разве Гёте не поражает нас как раз в том, что гениальные образы свои, вздымающиеся из материй его творческого Духа, он

облекает и в тончайшую философскую форму, объединяя дискурсивное мышление в обедненных содержанием общих понятиях с богатством гениальной поэтической интуиции? Каждый факт, который готов показаться любому филистеру только единичным явлением, благодаря этой философской форме истолкования облекается у него в космическое явление.

И Рерих — явление такого же ранга. Его образы художественны, они покоряют именно своей основной силой проявления. И они же развертываются перед нами и в философском мышлении, причем налицо несказанная смелость мыслителя, столь решительно поборовшего временные катаклизмы нашей материальной жизни. Рерих легко рвет со всеми условностями нашего мира, со всеми его установками, поборов их либо в решительном столкновении, либо обходя их в мудром компромиссе, пробиваясь туда, туда — под «Звездные Руны», вещающие о Вечности.

— Пусть буду медведем! — восклицает он в том же «Пламени», очевидно регенерируя ту изначальную силу, которую он увидал в медведе тогда, юношей, при нечаянном столкновении с ним в новгородских лесах, и какую внес потом в свою тихую умиленную картину — «Человечьи Праотцы» (1911), где повторил миф об Орфее, заменив его звонкую эллинскую лиру славянской свирелью. Там, на зеленых холмах, слушают косматые медведи дуду и песни славянских муз...

И потому, что предмет данного письма-повести столь громаден, нежно шутя спрашивает автор-художник и мыслитель своего друга-адресата, как тот принял это письмо:

«Или ты куда-нибудь торопишься по делу? Или спешишь на обед? Или должен вежливо отвечать на какие-то случайные вопросы? И тебе сейчас далеки мои строки?»

Но —

— Рерих — боец.

— Рерих — великий оптимист.

— Рерих не боится делать выводы из своих мыслей, и он из уединения Тулолы, Валаама, Сердоболя едет в Выборг

Он выходит ныне в мир с проповедью. С повторением прежних своих исканий и прежних своих программ?

Нет, никогда время для Рериха не кружится бесконечно вокруг циферблата его часов, повторяя каждые двенадцать часов те же и те же точки. Время Рериха разливается некой спиралью высшего порядка, будто бы повторяя часы, но на самом деле проходя в своем повторении в новые и новые сферы непознанного.

И вот знак этого — его художественное творчество начинает от этого перелома как бы менять свой облик. Его картины теряют все более и более последние остатки своих прежних форм. В схематической их условности Рерих разворачивает огромные плоскости, на которых его краски создают настоящие музыкальные звучания.

В этой музыке красок находят и начало и завершение его литературные произведения, которые он выпускает отныне неутомимо. Его литературные произведения нужно рассматривать именно на фоне его картин, как его картины нужно, равным образом, созерцать сквозь сетку строк его писаний.

Как же начинается этот новый период деятельности Рериха, период вне России?

В Выборге 1918 года наш художник один. Без денег. Без друзей. Его ищет его почитатель, ищет всюду.

Находит супругу Николая Константиновича, Елену Ивановну, великую верную спутницу души Николая Константиновича, и как всегда через нее — находит самого его.

— Что нужно? Деньги? — спрашивает он Рериха.

— Нет,— отвечает Рерих.— Нет! Давайте выставку картин.

И 8 ноября 1918 года в Стокгольме открывается выставка картин, в исторический день, когда Вильгельм II отрекся от трона.

А для Рериха этот день стал началом восхождения по ступеням общечеловеческого значения.

Перелом кончился.

За рубежом

Созерцатель, слушавший голоса просторов и голоса времен России, соглядатай и творец чудесных образов — Рерих из тихого севера шагнул за моря, за земли, за океаны. Подобно тому как за пятнадцать лет до того он путешествовал по России, Рерих теперь идет по миру, рассматривая все то, что сделал этот мир.

Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Англия — вот первые этапы его. Выставки Рериха — эти пиры вдохновения, красок и форм — имеют огромный успех; мелькают люди, создаются и завязываются в значительных встречах новые возможности. В 1920 году Рерих плывет за океан, в Америку, туда, куда были в свое время отправлены его картины «добрыми посланниками»; его выставки блистательно проходят более чем по 40 американским крупным городам. И только в 1923 году он через Индию снова едет в Европу.

Но сходство этих путешествий Рериха по миру с его путешествием по России в 1903—04 гг. здесь заканчивается. Далее наступает различие.

В поездке по России Рерих слушал, наблюдал, опознавал, сравнивал с тем, что предносилось ему в его творческом сознании, и запечатлевал, впитывал, собирал.

В этой поездке по миру, по Старому и Новому Свету — Рерих р а з д а е т. Каждая его выставка — это выявленный трепет, блеск, сверкание, тепло его душевного огня, под лучами которого оживают и начинают порхать бабочки чужих душ, как гласила приведенная нами выше азиатская легенда.

Его биограф Н. Селиванова* дает справку, что за период с 1917 по 1923 год Рерихом написано свыше 500 картин. 500! Такова творческая сила этого несравненного артиста. И если в странствиях 1903 года по России Рерих у ч и л с я, в этих своих странствованиях он — У ч и т е л ь.

Картины Рериха, написанные в этот период, имеют новый, своеобычный характер. Они яснее, прозрачнее, воздушнее его первых картин. Они — бестелеснее. Они — как бы сон перед рассветом, или ясный и благостный, или кошмарный, когда

* *Мир Рериха, 1923 г.*

уже, однако, избыты крепкие реальные формы первого сна и когда в этом последнем сне то благостен запах липы из сада или грозен и мрачен удар колокола в одинокой церкви на сельском кладбище. Вместе с тем все это, однако, реальные элементы, в конце концов; да и не может быть иначе, ибо человек мыслит только реальными образами и только в них. И в то же время в этих последних творениях Рериха эти образы настолько истончены, что они получают новое свое, почти сверхреальное, значение. Они уже вещают какую-то другую, более высокую, иначе обоснованную правду мира, превосходящую как бы время. Оказывается, есть в нем и таковая.

Мы уже указали выше, что в произведениях Рериха этого периода играют большую роль удивительные краски художника. Они поют, эти рериховские краски, поют, как музыка, они создают целые симфонии впечатлений и в то же время именно как музыка они показывают нам мир идей, ожиданий, мир предвозвествований, мир того, что еще не существует, но что грядет в мир.

Идея! Ведь это и есть то, что является нам в виде образа, ища дороги к своему бытию. И эти идеи вплавлены в образы Рериха, пленительные, требующие дальнейшего истолкования, а этим — уже и самого воплощения.

Сюиты «Героика», «Санкта», «Океан», «Гималаи», «Мессия» следуют одна за другой. Это все группы картин, объединенных единой идеей, как бы равными аспектами все одного и того же.

В чем же их содержание?

Трудно истолковать содержание картин Рериха, как трудно истолковать музыку,— ее нужно слышать и понимать. Эти картины нужно видеть и, конечно, прежде всего тоже понимать. Во всех картинах — это некоторые звучания неба. Небо на этих картинах Рериха занимает почти всегда большую часть полотна. Небо — превалирует. Небо — властвует. Когда-то Рерих облаками прикрыл летящих по небу валькирий, обрекши тем их на «незримое присутствие»; так и здесь — явно чувствуются небожители, но они скрыты либо под облаками, под звездами, иногда просто под роскошной игрой светов, а иногда под игрой масштабов пространств и человеческих фигур, но всегда в его картинах имеется, чувствуется, угадывается чье-то немое присутствие и в то же время их влияние, их влияние на судьбу человека.

— Подвиг! — вот что как бы гласит это веление неба на картинах Рериха; подвига! — бесконечно разнообразного, но

по существу одинакового — вот что требует небо от человека, посланного в мир. Вот одна из таких картин.

На темно-синем небе мерцают живым трепетным светом звезды; а эти звезды прорезала комета, похожая на меч. «Звезда героя» — вот какая это звезда. А внизу, на фоне огромных гор, алый пылает костер; у него сидят люди и слушают, слушают... Идет рассказ, тоже мерцающий, как звезды, рассказ, воспламеняющий душу, как пламенеет этот костер.

Мир не прост, в мире происходит что-то весьма значительное! — как бы утверждает Рерих своими картинами. Мудрено ли, что они имели такой успех? Человечество жаждет и подвига, жаждет и этого проникновения за грань земных вещей; а между тем как в мире мало такого проникновения, такого хотя бы зова к нему!

Как темна любая наша ночь, бедна, невыразительна! Но вот картина Рериха «Владыка Ночи». Под палаткой в синей ночной тьме склоняется женщина; она ждет, она чует — идет кто-то высший. Идет к ней из незримости, из тьмы.

Отметим еще одно. Как в некоторых вагнеровских операх среди моря мелодий и гармоний все повторяется и повторяется характерный для данной оперы ведущий мотив — лейтмотив,— такой аналогичный мотив имеется во всем творчестве у Рериха. Этот мотив — мотив первого «Гонца» его академической программы 1897 года.

Вот один из его последних «гонцов», его «Вестников», писанный уже в Америке. Картина в богатых фиолетовых тонах: женщина отпирает дверь своего дома и видит некоего гонца. А сзади — пейзаж, скупой горный пейзаж; на горных снегах блещет утренняя заря.

И еще тот же мотив — «Святые гости». Нежно, как дальний колокольный благовест, поют лиловые и темно-синие тона этой картины грозовые облака клубятся над озером... Их пронизывают золотые солнечные лучи. И везет монашек в лодке своей двух святых мужей, везет к маленькому монастырьку на острове, к небольшой церковке с одной главкой... И там, перед воротами,— тоже святые мужи, трое. Ждут.

Голубой сапфирный мост — «Мост Славы» — образован северным сиянием и накрепко вяжет легчайшее небо и дебелую землю. И тут же св. Сергий Радонежский бредет к этому мосту, этот величайший образ и столь любимый Рерихом, как бы образец русского делания тихого, но крепкого подвига.

И тоже по мосту, но уже по другому, идет и Мессия Рериха. Вернее — один из Мессий. Другой же Мессия скачет на

белом коне, и меч его в виде кометы. Не тот ли это самый герой, наконец явившийся, которого пророчествовала «Звезда Героя»?

Но во всяком случае — это ведь Мессия, то есть посланец, гонец, вестник...

И не себя ли точно так же чувствует гонцом и Рерих, когда идет по миру, пересаживаясь с корабля в поезд, с поезда на автомобиль, подчас рискуя своей собственной жизнью? Какая неслыханная сила влечет его за собой, толкает, заставляет обращаться к миру со своими потрясающими душу картинами, со своими глубокими прововедями?..

Это и есть — подвиг. Это — требование подвига. Это — сознание необходимости подвига для всего живущего, сознание его необходимости, необорности... Из России несет Рерих этот зов, из этой удивительной России, в которой всегда главным вопросом человеческого существования было:

— Как жить, чтобы святу быть?

«Поверх всяких Россий,— сказал Рерих,— есть одна незабываемая Россия. Поверх всякой любви есть одна общечеловеческая любовь. Поверх всяких красот есть одна красота, ведущая к познанию Космоса».

Да, были и есть разные России. Рерих имеет с собой как раз одну Россию, которая есть творческая любовь и которая держит тайны Космоса. От имени ее он и говорит, идя по миру, и сеет свои слова плодотворно, возвышая их картинами.

В этом путешествии рядом с Рерихом-художником идет Рерих-мыслитель. Он обращается к миру со словом. Некоторые говорят, что-де этого не стоит делать, что художники-де «должны писать картины» и больше ничего, что это искусство не должно быть связываемо с иной мыслительной деятельностью.

Но почему же в поэзии высокое искусство поэтического творчества чрезвычайно плодотворно связывалось с мыслительной широкой деятельностью? Почему могли быть такие поэты-философы, как Гёте, как Шиллер, как Тютчев, как Гюго, как Владимир Соловьев или недавний, угасший столь безвременно, Блок?

И, посланный высшим Провидением, идет Рерих по миру и говорит. И делает.

— Что говорит?

— Что делает?

Да то, что едино на потребу, что едино нужно, верно, оче-

видно. Огромная интуиция художника, направленная на мир, дает чистейшие, динамические созерцания самой Правды, самой Истины, прямо, откровенно, лицом к лицу.

Всякий человек, говорит Рерих, верующий во что угодно, пусть в миф, и действующий во имя этого мифа,— является величайшим реалистом. Да и нет вообще мифов, утверждает профессор Ф. Ф. Зелинский, филолог и мыслитель; предметы мифа — это тоже ранее существовавшие деятели. Нет мифа о Трое, ведь Шлиман открыл же Тою, хранящую след пожаров и двудонные кубки с горлицами из серебра, которые описывает «Илиада». Так верующий человек творит реально и сам обращается уже в миф, в сказку, в то, что пленяет воображение людей.

Рерих в этом шествии по миру собирает людей вокруг себя и, веря сам,— творит.

Шествие Рериха по странам мира колышет тихие воды человечества, но колышет их не так, как война, как нажива.

Человечество, самым трогательным образом, готово слушать и, кажется даже,— слушаться!

Не могло в сущности и быть по-другому. Ведь Рерих в изысканной, несравненно художественной форме, в чудесных образах, в поющих красках, во всем обаянии современной культурности, избранной, утонченной и высокой, принес миру, во множестве своих картин, такое напряженное чувство безусловной Красоты, такую свежесть впечатлений, такую сияющую святость настроений, которых давно, очень давно не чувствовал западный мир в своем обиходе. Европейский, пожалуй, со времен Возрождения, а мир американский — еще никогда за все время своего существования.

И Рерих как никто в то же время видит и совершенно отчетливо понимает, что наша Земля, наша бедная планета, испытывает великую боль, голод по Красоте, жестоко преданной в жертву современности. Недаром в книге «Держава Света» имеется у него замечательная статья «Боль планеты», трактующая об этом.

«Город, вышедший из Природы, угрожает природе»,— говорит он там, цитируя писанное еще в 1901 году. А теперь?

А теперь, видимо, «город одолел природу,— говорит Рерих.— Город на небе дымно начертал свои заклинания. Мы ошиблись, ожидая стоэтажных домов, жилища готовятся стать еще выше, чтобы соблазнить и приютить людей — дезертиров природы. Молох — Биржа не однажды свирепо расправлялась со своими почитателями. Нелегкая, хотя и

призрачная нажива все-таки отвлекает человека от истинных ценностей»*

Город! Что может быть ужаснее этого создания человеческих рук, направленных трагически, однако, на создание «удобств» и давших в результате своих «трудов» такой неудачный результат? Город — это собрание каменных мешков необычайной вышины, похожих на шипы земли... Эти фабрики, выбрасывающие клубы отравляющего черного дыма, оглушающие стуком молотов, ревом пара и даже самый сладкий миг отдыха возвещающие неистовым потрясающим воплем гудков. А что такое город в социальных отношениях, город в отношениях «деловых», которые все направлены в жертву этому Желтому Дьяволу — божеству современных денег!

Город в современном его виде — это зачастую уродливость, ужас, нелепость. Кто в наше время может защищать этот город в том виде, как он потряс и отравил сердца Верхарна, Метерлинка, Гауптмана, Шоу? Рерих тоже мог бы и своим чеканным словом и на полотнах рассказать многое про город, перед чем его «Зловещие» показались бы голубями...

Но Рерих молчит, что весьма характерно. Ведь Рерих зовет к неосуждению. Утверждать нужно, а не отрицать; утверждать — вот главное, учит он. Но и у него прорывается осуждающие слова про город:

«Становится жутко,— пишет он в статье «Культурность»**,— если попугай Тизи-Визи начнет отчетливо пищать слово «культура». А что, если некто, твердя это слово, изобретет новые возможности удушения? А что, если конференция против наркотиков благословит продажу наркотического сырья, милостиво твердя против «вредности отравления»? Возьмите любую газету, и вы найдете самые необычайные примеры лицемерия, ханжества, лживости под предлогом «высших задач».

— Это — город.

Город. Пыльный, дымный, грубый. Грязный. Несправедливый. Развратный. Это и есть город. Иногда даже — «столица» современного человечества.

Иногда кажется, что человечество словно стыдится быть «сентиментальным», искренним, интимным, как иногда мальчик-подросток старается говорить басом, старается выказывать себя нарочно грубым, непристойным, сухим, даже

---

* Держава Света, стр. 112.

** Там же, стр. 126.

жестоким и это считает правильным... Или города человечества только вышли из детства и начинают мужать? Тогда потом с мужеством появится и простота, и доброта, и ласковость.

И вот в эту-то атмосферу европейского западного города и пришел Рерих из России. И в этой-то грубой обстановке, среди грохота подземных и надземных железных дорог, трамваев, гудков авто, среди щелкания конторских пишмашинок и банковских арифмометров, среди лжи линотипов и ротационных печатных машин, газет — он сказал свое простое слово.

Бывает, так живет человек всю свою жизнь в «делах» и вдруг ясно-ясно видит:

— он мальчик, он видит свой бедный маленький дом, мать, он понимает, что по-настоящему-то он был счастлив т о г д а, что подлинное вообще было тогда и не следовало бы ему забывать этого настоящего во все дни своей «деловой» жизни... Ах, как жаль упущенного времени.

И Рерих сказал городу, «одолевшему природу» (а природа, как мы помним, для Рериха — есть Жизнь), и сказал так:

— Ты, познавший тоску подорожника, тоску этого цветка странствований — быть на путях везде при дороге и никогда не знать, на пути ли ты,— вот голубую звезду василька даю я тебе, пусть она ведет тебя! Голубые звезды василька цветут на золоте ржаных полей. Но ты, пришедший, какие поля ты засеял? Не проходи мимо полей, тоскующих по любви, засей их золотом свободных устремлений. Возьми колос, в нем зерна для посева. Пусть на каждое зерно, посеянное тобой, вырастает светлый город, и все они будут — Один. Бесплодны поля неорошенные. Пусть же алая гвоздика расцветет у тебя на груди. Иди! Я встречу тебя.

Так говорил толкущемуся народу мира Рерих. Мало того, что он сказал,— он просто растворил пыльное городское окно и показал, что в мире вечно весенний день, в то время как Шпенглер со своего чердака проповедует «Сумерки Европы»; и широкой волной хлынул через это окно свежий воздух просторов, русских великих просторов... Ибо где, как не в России, и подорожники на необозримых ее дорогах, и васильки на золотых полях ее! И Рерих говорит с необычайной убежденностью. Еще бы! Ведь это он все знал, видел воочию, почувствовал в России...

А главное, чудесный дар художника дал ему возможность показать все это на своих картинах. И мир увидал в нем, в

Рерихе, гонца из России; вестника, над которым сверкнули лучи того самого ценного, что есть в России:

— Вечного духа нежности, ласковой любви к преуспеянию всенародному, твердого утверждения Добра.

Человеческий дух похож на электрическую лампочку, ее смысл — горение. Но ни спичкой, ни угольком нельзя зажечь этой изолированной сферы; ее нужно включить в живую, внутреннюю сеть некоего вселенского тока. И тогда она засветит ярко.

Рерих делает именно это. Он приобщает человечество к генератору тока, к динамо-машине великого тока — к России.

Петр Великий открыл России окно на Запад.

Рерих открыл миру окно в Россию, окно на Восток.

Не следует улыбаться скептически при этих словах, мой дорогой читатель. Не надо прикрываться иронией. Мы, русские, дорого уже платим за эту иронию... Приходит пора веры и пора энтузиазма.

«А ваша ирония? — пишет горячо и гневно в одном из своих рассказов наш гениальный, только теперь осознаваемый как следует Чехов.— О, как хорошо я ее понимаю! Буйная, свободная мысль и пытлива и властна; для ленивого, праздного ума она невыносима. Чтобы она не тревожила вашего покоя, вы, подобно вашим сверстникам, вооружились ироническим отношением к жизни... как дикарь своим щитом... Сдержанная, припугнутая мысль не смеет прыгнуть через этот палисадник, который вы ей поставили, и когда вы глумитесь над идеями, которые якобы все вам известны, то вы похожи на дезертира, который бежит с поля битвы и, чтобы заглушить стыд, смеется над войной и над храбростью. Цинизм заглушает боль»*.

— И эта-то боль — есть «боль планеты», о которой писал Рерих,— добавим мы к этим горячим словам великого русского писателя.

И надо сказать с удовлетворением:

— Не в пример многим, Рерих успел в своей этой миссии. Рерих принят миром, принят Европой, принят Америкой. И понятно — почему. Молодая страна, посеянная переселенцами из Старого Мира, она не повезла с собою на новую землю всех своих старых реликвий, обременяющих, мешающих стройке. Она привезла в кармане своем только одну Библию — и поэтому она не сравнивает новое со стары-

* Чехов. Рассказ неизвестного человека. Т. IX, стр. 103.

ми канонами, она практична в лучшем смысле этого слова, руководясь только настоящей пользой.

И там исполнилось слово Рериха:

«Зов о Культуре, зов о мире, зов о творчестве и Красоте — достигнет лишь уха, укрепленного истинными ценностями»*.

И в другом месте Рерих развивает это положение:

«Я столько уже говорил о Красоте России, я указывал все значение народа русского. Зачем же теперь не посмотреть в будущее, когда неожиданно мосты строятся между народами? Если я люблю Россию, почему мне не любить Америку? Если я вижу прекрасные стороны этой молодой страны — наследия Атлантиды, то я не забываю при этом о сокровищнице русской, повитой всеми дарами мудрого Востока»**.

Деятельность Рериха в Америке принимает чрезвычайно интенсивный характер. Это особая деятельность. Это деятельность — не «деловая». Не политическая. Эта деятельность — выше других родов деятельности. Эта деятельность во имя искусства и для искусства, и путем искусства.

«Мы признаем искусство,— заявляет Рерих,— как всеобщее средство выражения существа самой жизни. Это значит, что идеи, выраженные в искусстве, проявляются во всем мире, осуществляя то, что в них заложено. Нужно их всех свести воедино, соединить всех их отдельных творческих работников.

Мы мостим пути великому, значительному воплощению идей, со всей силой нашего духа»***.

Рерих, как мы не раз уже указывали, реалист в мысли и практик в действиях.

Его американские друзья тоже практичны, тоже реальны. Вот почему и та и другая сторона порешили не растрачивать сил и времени зря, а сразу же ввести их в русло систематического действия.

Начинается возникновение американских рериховских организаций.

В апреле 1921 года с участием Рериха образуется в Чикаго о-во «Cor Ardens», то есть «Пылающее сердце», которое поставило своей целью объединить для совместных усилий всех, кто живет интересами, соприкасающимися с искусством и культурой.

В ноябре того же 1921 года в Нью-Йорке основан Инсти-

---

* Держава Света, стр. 117.
** Пути Благословения, стр. 136.
*** Там же, стр. 10.

тут объединенного искусства, в который вошли многочисленные и общепризнанные представители разных искусств — музыки, живописи, скульптуры, оперы, балета, драмы и так далее. В этом институте ведется чтение руководящих курсами по этим предметам.

И, наконец, в июле 1922 года Рерихом основывается общество «Corona Mundi», то есть «Венец мира», как международный центр искусства.

В речи своей на торжестве открытия этого учреждения Рерих говорил:

«Предстали перед человеком события космического величия. Человечество уже поняло, что происходящее не случайно. Время создания культуры духа приблизилось. Перед нашими глазами произошла переоценка ценностей. Среди груд обесцененных денег человечество нашло сокровище мирового значения. Ценности великого искусства победоносно проходят через все бури земных потрясений. Даже «земные» люди поняли действенное значение красоты. И когда утверждаем: Любовь, Красота и Действие, мы знаем, что произносим формулу международного языка. Эта формула, ныне принадлежащая музею и сцене, должна войти в жизнь каждого дня. Знак красоты откроет все «священные врата». Под знаком красоты мы идем радостно. Красотою побеждаем. Красотою молимся. Красотою объединяемся. И теперь произносим эти слова не на снежных вершинах, но в суете города. И чуя путь истины, мы с улыбкою встречаем грядущее.

Это последнее общество учредило знаменитый отныне «Музей Рериха» в Нью-Йорке — настоящее средоточие мирового искусства. В нем более 1000 картин Рериха, и он превосходит по своему значению такие музеи, посвященные отдельным художникам, как музеи Родена и Густава Моро в Париже.

Поражают уже его размеры. «Музей Рериха» в Нью-Йорке занимает здание в 29 надземных и 3 подземных этажа. Оно является первым на земле образцом столь могучего объединения искусства.

Учреждения Рериха объединяют целую армию работников и аспирантов искусства. «Мастер Институт» объединяет мастеров — музыкантов, художников, артистов. Институт объединенного искусства является педагогическим учреждением этого рода, и, наконец, «Музей Рериха» служит центром крепких связей искусства по всему миру...

Рерихом вызваны все эти учреждения к жизни, они руко-

водятся им, питаются его мыслями, его предчувствиями, его чаяниями.

Чему же служат эти учреждения Рериха в настоящем своем виде?

— Они служат Культуре.

Для нее они работают. О ней пекутся.

Что же это — эта Культура?

«Культура есть прежде всего человеческое делание во имя осознанного Добра, Света, Блага»,— говорит Рерих. Вся жизнь человечества, и не только отдельных слоев, отдельных людей,— должна быть освещена, проникнута Культурой.

Свет, Добро — живут в человеческом сердце. Сердце — творит. И из этого истинного творчества вытекает Благо. «Работайте сердцем» — это высшая похвала трудящемуся.

А Добро — извечно.

Добро правит миром.

Бог — есть Добро.

Люди должны трудиться, стремясь к этому Добру, трудиться в сострадании, в любви друг к другу. И тогда наша бедная Земля, которая зачастую рассматривается как Остров Слез, тот самый, что ведет эмигрантов в Америку,— обратится в прекрасный сад, в сад преображенного труда и знания.

Люди должны стремиться к этому прекрасному саду, и поэтому Культура — есть сотрудничество всех людей.

Культура не есть только праздничных пир, редкость, пирог для избранных, для немногих. Нет, она нужна всем, поголовно всем людям, как нам нужна соль, как нужна свежая вода, свежий воздух.

В каждом явлении нашей жизни должны чувствоваться не себялюбие, не зубастое огрызанье против ближнего, а истинное широкое творчество.

Люди должны трудиться с любовью, должны приветствовать с любовью результаты своих трудов и не давать им давить на себя, обуреваться ими, как давят на людей созданные ими города.

Это главнейшее; и поскольку это имеется у разных народов — у них имеется и Культура. И Рерих высказывает по видимости парадоксальное и в то же время несомненное утверждение:

«Техника не есть еще культура. Не всегда техника служит Культуре. Иногда она губит, разрушает ее или прямо служит злу. С другой стороны — могут быть высококультурны и народы, которые не имеют техники».

С этой точки зрения Россия и Восток — культурны, хотя они еще пока не обладают западной техникой...

Зато в России налицо те начала благостности, осознания Добра, которое и движет Рерихом по путям его проповеди Культуры.

Мы не можем раскрывать перед читателем все разветвления этой богатой мысли о Культуре, которые предлагает Рерих с удивительным чувством реальности, с подкупающей простотой и удивительной убедительностью в своих многочисленных книгах,— это увело бы нас очень далеко. Но пусть читатель сам ознакомится с ними, предварительно отбросив это чувство неловкости, потому что автор говорит о таких щекотливых вещах, как о нравственности, о работе и так далее.

Надо заметить, что своевременным было бы появление специального компедиума по той системе моральной философии, которую развивает Рерих в своих книгах.

Удивителен при этом его метод. Это метод интуитивного вживания в каждый рассматриваемый предмет и затем раскрывания его во всей наглядности. Вот, например, Рерих пишет о книге. Он говорит, что дом, в котором нет места для книги,— это уже некультурный дом. Он указывает, что ему приходилось видеть «фальшивые декоративные книги в роскошных переплетах, лишь бы украсить кабинет так, как принято украшать столовые картинами битой дичи или утками и рыбами из раскрашенного гипса».

Какое лицемерие! Какая темнота!

И, говоря о самих книгах, Рерих характеризует их так:

«Ее видимость скажет вам всю сущность ее редактора и прочих участников. **Ведь книга — это живой организм, это концентрированная мысль.** Вот перед вами суровая книга — эта книга вечных заветов. Вот книга-неряха. Вот книга — поверхностный резонер. Вот — щеголь. Вот — витиеватый пустослов» и т. д. и т. д.*

К этому культурному устремлению украшения, улучшения жизни и должны быть направлены все действия и всякого человека и всякого государства.

Как фонтан, взметывалось искусство Рериха, питаемое глубокими водами, скрытыми в земле неведомых источников. Оно взлетало вверх, искрясь на солнце, и теперь, достигнув своей поры, стало падать вниз тяжелыми, освежительными, плодотворными каплями...

---

* Твердыня Пламенная, стр. 136.

Его произведения, его картины, книги, его общества — собирают людей, воспитывают их, ведут.

Ветви этих организаций Рериха в настоящее время рассеяны по всему миру. Всюду ведь имеются люди, для которых Добро, Красота — не пустые звуки и которые по мере сил стараются проводить их в жизнь. И, конечно, не один Рерих единственная причина того, что двинулась в ход такая махина человеческой мысли.

Нет, эта мысль издавна, конечно, томилась в человеческих думах, а Рерих пришел, угадал, раскрыл ее.

Он показал миру то, о чем люди тосковали, о чем мечтали и чего ждали они, как ждут светлого гонца. Во что они верили и раньше, но в чем считали неудобным признаться, вроде как неудобно перекреститься при входе в банкирскую контору.

Мир охватывается этим добрым движением, всюду победоносно высказывается вера в добро, многоместно открыто говорится о нем, говорится о необходимости общей солидарности, общего сотрудничества. По этим вопросам выходят книги уже целыми сотнями.

И это большое движение, небывалое еще в мире, поднял наш русский художник — Николай Константинович Рерих, впитавший его начала в чудесной русской истинной Культуре.

Это ли не достаточные причины к национальной гордости нашей.

Ведь через понятия культуры Рерих раскрывает углубленное понятие Родины:

«Небрежение Родиной было бы прежде всего некультурностью,— пишет он.— Оборона Родины есть долг человека... Защита Родины — есть и оборона культуры...»

«Великая Родина, все духовные сокровища твои, все неизреченные красоты твои, всю твою неисчерпаемость во всех просторах и вершинах — мы будем оборонять»*.

---

* Н. Рерих. Статья «Оборона».— «Нерушимое». Рига, 1936, стр. 317—318.

Голоса Азии

Когда думаешь об этой стороне творчества Рериха, об его тяготении к Востоку,— опять мысль невольно возвращается к Гёте, олимпийскому старцу Между этими обоими сильными людьми — Рерихом и Гёте — есть некое определенное соприкосновение.

Над Европой 1814 год — год колоссальных потрясений. Наполеон сокрушен, полное торжество союзников. Конец «новой эры», которую Гёте провидел после битвы при Бальми. Европа вступает на новую тропу своих судеб. Куда же обратятся мысли такого сильного и жизненного человека, как Гёте, где он будет искать исхода из этих великих смятений, где он обретет творческий покой?

И поэт обращает свои взоры к Востоку, создавая так называемый «Западно-Восточный Диван», это цикл стихов, который сочетает с огромной проникновенностью глубокую мысль и красочные образы.

«Западно-Восточный Диван» посвящен Востоку, посвящен Западу, но лишь там, на Востоке, находящему вожделенный покой:

Север, Запад, Юг в волненьи,
Троны, царства в сокрушеньи;
Так бежим, мой дух, к Востоку,
К стародавнему истоку,
Где у вечного ручья
Юность вспыхнет вновь моя.
Все, что чисто, справедливо,
Там сияет нам на диво,
Там пучиной жизни вечной
Люди шествуют безгрешно,
Слову Божию внимая,
Черепов не разбивая.
Буду там ходить со стадом
И скитаться по оазам,
Странствовать за караваном,
Что торгует шелком, чаем,
Из пустыни в города
Возвращаясь иногда.

Среди перемен нашей жизни — Восток неизменяем. Среди калейдоскопа неверных, исчезающих впечатлений — Восток

как базальтовая скала. Восток вечен, Восток мудр, Восток — спокоен. Вот те характеристики, которые принято давать Востоку.

Гёте воспринимал Восток издали, из Европы, почти не соприкасаясь с ним, но воспринимал его тем не менее верно. А Восток для России — гораздо ближе, чем Восток для Европы, а значит — Восток для Рериха еще более актуален, чем для Гёте. Что Россия известным образом связана с Востоком культурно,— эта мысль теперь проходит уже свой сложный путь.

Вспомним здесь еще раз великого русского культурфилософа В. В. Стасова. Вспомним, что утверждал почти восемьдесят лет тому назад этот русский мыслитель.

Влияние Азии на русскую культуру шло тремя главными путями, учил Стасов под градом протестов, восклицаний и выражений сомнений, а именно:

1. Через посредство тюркских и финских народов из Средней Азии, более северными путями, через Сибирь.
2. Из Индии, Ирана — через буддийские влияния, посредством народов средне- и западноазиатских, а также, наверное, через Понт и Боспорское царство.
3. Византийское влияние, которое в основе своей имеет малоазиатский элемент, смягченный греческой культурой.

Примеры. Русская дуга на нашей запряжке появляется в русской истории не ранее XV — начала XVI века; а в финских сказаниях («Калевала») и финских орнаментах она имеется с глубокой древности.

Пряничные коньки, которых пекут русские пекари и продают ребятишкам,— происхождения ассирийского; предки этих славных пряников, как выяснено тщательным анализом В. В. Стасова, те колоссальные кони, которые до сей поры скачут у входов в развалины дворцов и храмов Ассирии, в прошлом имея священное значение.

Отмечает Стасов и те разные коньки на крестьянских крышах, которые мы рассматриваем только как украшение, а между тем они являются остатками самых настоящих языческих жертв, головами жертвенного животного, которые укреплялись на крышах давних строений как знак, что жертва богу Солнца принесена. Обычай этот взят у азиатских народов — конников.

Равным образом орнаменты наших русских вышивок, кружев, резной и крашеной посуды имеют несомненное азиатское происхождение. Русская одежда — высокие сапоги, косо-

воротки — оттуда, от кочевников; ведь славянская рубаха всегда с прямым воротом, как носят украинцы до сих пор.

Стасов указывает, что есть очень распространенный мотив вышивки на русских полотенцах, где изображены два человека, стоящие по обеим сторонам дерева. Какого дерева? Какие это фигуры? Это изображение поклонения священному дереву, которое мы видим на многих памятниках древнего Востока*

Примем же во внимание подлинную органическую близость Рериха с этим особым элементом русской культуры, столь блистательно выявленной им за все время его деятельности, и мы тогда поймем, как должна быть близка Азия именно этим «археологическим» подземным течениям его интуитивного духа. Поистине в некотором отношении Азия для него «земля обетованная».

Но абсолютно неверно было бы смотреть на интерес Рериха к Азии как на интерес только «археологический». Как мы видели выше, для Рериха вообще специфически археологического интереса не существует; в истории он ищет того же активного, действенного начала, что действует в мире и посейчас. Культура, то есть человеческая работа, для него равным образом не связана с развитием во времени, почему «новое» более совершенно, нежели «старое»; культура более всего связана с неким самоуглублением действенных основ нашего сознания. Мы видим, как для Рериха творческая работа художника времен каменного века столь же ценна, как и работа современного художника, в смысле духовной напряженности, разрешающей проблему красивых форм...

А если так, то где же, как не именно в Азии, можно найти эту «палеонтологию духа», если так можно выразиться? Где можно найти человеческий дух в его основной форме, несмотря на все технические завоевания цивилизации? Давно известно, что Азия — колыбель народов; недавняя экспедиция в Азию американца Эндрюса показала, что Азию можно считать, судя по находимым им остаткам, и колыбелью почти всех миров животных, которые отсюда распространялись по всему миру. Равным образом и литературные образы мира, эти так называемые «странствующие сюжеты», имеют свое распространение оттуда же, из Азии.

В русском старообрядчестве распространяется, например,

---

* Ср.: Влад. Каренин. Владимир Стасов. Т. II. стр. 307, след. То же у акад. Н. П. Кондакова в книге «Русские клады».

духовный «типично православный» стих о царевиче Иосафе, возлюбившем «прекрасную мати-пустыню». И до последнего времени в этом стихе попадаются отдельные стихи на каком-то непонятном языке. Оказывается, что эти стихи, в ритме всей песни, на чистом санскрите, а Иосаф — индийский царевич, возможно сам Шакья Муни.

Отметим к этому и то, что тот же В. В. Стасов в своей книге «Происхождение русской былины» прямо утверждает, что русские былины вовсе не описывают подлинного князя Владимира Киевского, не описывают его исторического быта, а являются приспособленными на русские сюжеты переложениями индийского эпоса «Махабхараты», «Рамаяны», «Сомадевы», «Панчатантры», дошедших до нас в буддийских перепевах, вроде «Джангериады», «Дзанглуна», «Богдо Гессер-Хана», «Магаванеи» — Цейлонской поэмы и т. д.*

Надо при этом принять во внимание и то, что Азия непрерывно в течение многих тысячелетий живет непрерывной, высоко государственной культурной жизнью, которая гораздо древнее и несомненно обладает известными навыками, более сильными, нежели государственная жизнь западных современных народов, и сочинение венецианца Марко Поло, путешествовавшего и долго жившего в Китае в XIII веке, полно совершенно искреннего изумления перед той величавой картиной, которая разворачивалась перед ним в восточных странах того времени. Кичливости современного европейца нет там и следа. Если Поло чем и гордится, то только тем, что он христианин.

Удивительно ли, что Рерих, при огненной ясности его творческой глубинной интуиции, при его энергии и восприятии, ищет в Азии того основного, древнего проявления человеческого духа, на котором, как на стволе, распустились по всему миру побеги, цветы и ветки человеческого духа. И он подошел основательнейшим образом к этой задаче. Им предпринята большая экспедиция по Азии в 1925—29 годах, подобно тому как он в 1903 году обследовал Россию. Он сам смотрит, собственными глазами, и видит то, что сохранили просторы и глубины Азии.

Экспедиция Рериха в Азию весьма своеобразна. Таких экспедиций до него не было. Если раньше экспедиции и шли в ее необъятные просторы, то эти экспедиции были либо политического характера (вроде путешествия англичан в Тибет), либо чисто археологического и географического, как путе-

---

* У Каренина, т. 1, стр. 311.

шествие Пржевальского и Козлова, либо коммерческого, как неудавшаяся экспедиция Ситроена, либо чисто научного, как Шаванна, Пельо, Б. Лауфера, Фишера. Иногда эти путешествия носят характер просто авантюристический, рассчитанный на вывоз из Азии ее ценностей, древностей и т. д.

Экспедиция Рериха не искала в своем походе ни охоты на тигров из стальной клетки на слоне, ни чудес и секретов индусских храмов, с чудовищными, плохо лежащими в глазах богов изумрудами и рубинами. Художник и мыслитель Рерих вывез оттуда свои картины по Азии, подобные тем, которые когда-то прозревал в музыке Бородин, вывез познание именно этого высокого культурного духа Азии самого по себе.

Н. К. Рерихом и его сыном, ученым-востоковедом Ю. Н. Рерихом, написан об этом путешествии целый ряд трудов на русском и английском языках, которые переведены на многие другие. Эти книги свидетельствуют, что Древняя Азия не только «местожительство необразованных и диких азиатов», а и то, что она дышит и правит своим сосредоточенным углублением, тысячелетним духом и что у этой Азии есть многое, чему не худо бы поучиться и горделивой своим европеизмом Европе.

Никакой музей, никакая книга не дадут права изображать Азию и ее страны, если вы сами не видали ее своими глазами, если на месте не сделали хотя бы заметок. Убедительность, это магическое качество творчества, не объяснимое словами, создается лишь наслоением истинных впечатлений действительности*

Рерих в своих поездках и ищет как раз этой самой «убедительности». Сосредоточенны, углубленны, сильны, импрессионистичны его книги, и не всем они доступно понятны, хотя и в них говорится о самых простых вещах. Немногие люди имеют право говорить о простых вещах так, как это делает Рерих. Но, читая книги Рериха, нужно приобщаться к свободному духу и преодолевать разного рода весьма въевшиеся в нас предубеждения, точки зрения, недоверия и проч.

А между тем какие богатые картины! Вот Рерих проходит со своей экспедицией Сикким (Северная Индия). Два мира в этой стране. Вот один:

«...Мир земной, с богатой растительностью, с блестящими бабочками, фазанами, леопардами, обезьянами, зверями и всей неисчислимой живностью, которая населяет вечно зеленые джунгли Сиккима...

---

* Сердце Азии, стр. 11.

Заметим про себя, что это, так сказать, тот мир, который видит в Азии вообще европеец, вроде того же Редьярда Киплинга. А вот еще перед художником развертывается другой мир:

...А за облаками сияет снежная страна гор... И этот вечно волнующийся океан облаков и непередаваемых разнообразных туманов...»

Сама сила Азии непосредственно дышит здесь. Караван Рериха идет по странам, которые не знают ни современной техники, ни европейской цивилизации, но знают человеческое сердце. Да и трудно предположить, что целые тысячелетия жили праздно эти люди, не добиваясь чего-то, что ценно для человека. Караван идет, и вот тянутся мимо монастыри Сиккима, которые лепятся по вершинам малодоступных гор. Вот монастырь, путь к которому лежит по головокружительному высокому висячему бамбуковому мосту над пропастью, под которой кипит горный поток. Монастыри напоминают населению о праведной жизни, о том, что среди них живут святые подвижники. В эти монастыри население собирается на праздники. Народ жаждет чудес. Это в Сиккиме ламы путем духовного напряжения посещают, говорят, вершину Эвереста. Там звонят колокола звоном ясным, как волны реки...

Удивительные страны, где все мистически сплетено между собою,— и человеческая высокая мудрость и... человеческое бессилие. И все эти трагические житейские противоположения принес нам Рерих.

Азия, свидетельствует Рерих, знает факты, перед которыми становится в тупик современная наука. Там известны, например, такие явления, как случаи волевых приказаний... Вот один из таких: идет поезд Бенгальской железной дороги. В нем обнаруживается один безбилетный монах — садху. Монаха высаживают на ближайшей остановке; тот усаживается на перроне. Отправление поезда — поезд ни с места. Публика недовольна такой обидой святого человека,— обратила на это внимание. Опять безуспешная попытка поезда тронуться, и опять остановка. Тогда всенародно садху ведут обратно в вагон, и поезд идет...

Или Азия уж такая страна, что даже на железных дорогах там производят чудеса святые люди? Слыхано ли что-нибудь подобное в Европе? И действительно ли это «чудеса»? Не будем говорить об этом вообще, скажем лишь осторожно, что в Азии люди *думают* не так, как в Европе, хотят иного, чем в Европе. И возможно, конечно, что за пять, за шесть тысяч

лет культуры и размышлений в этом направлении азийцы кое-чего и достигли. Это опять-таки нисколько не мешает и Европе с XIX века тоже достичь многого, но на иных путях.

Экспедиция Рериха двигалась, между прочим, и теми путями, которыми когда-то хаживал живший в тех местах Будда. И странный контраст с духовным напряжением; небрежение реликвиями, разрушенные древние святые города, заброшенные монастыри, нечеловеческими усилиями взброшенные на скалы, настоящие орлиные гнезда, каменные ходы в них, вырубленные резцом в сплошных монолитах. Неолитическая техника — и не в земле, не в погребениях, а в рисунках на скалах, в утвари, в посуде, в средствах передвижения. И какие рисунки при этом,— такие, какие находятся и в Сибири, и в Трансгималаях, и в Скандинавии. О Азия, библиотека разрозненных стран единого дыхания человеческого рода, создавшего единые царства, колоссальнейшие по протяжениям... Европа не слышит уже этих великих фрагментов ни в своих радио, ни в телефонах.

По пустыням, по горам тянется караван Рериха, взбираясь на перевалы, проходя пустыни... Вот один из перевалов — Каракорум — «Черный трон», названный так по высокой скале на самом хребте перевала.

«Рассказать красоту этого снежного царства невозможно,— пишет Рерих.— Такое разнообразие, такая выразительность очертаний, такие фантастические города, такие многоцветные ручьи и потоки, а также памятные пурпурные и лунные камни. В этих местах простирается молчание пустыни, даже люди каравана перестают ссориться и разговаривать друг с другом. На пути иногда груды товаров, сложенных в кипах; должно быть, верблюды, яки, лошади обессилели, пали, и закон пустыни, подобно закону тайги, оберегает их, никто не возьмет ничего, с каждым может случиться то же».

Пустыня каменистая и суровая. В ней люди предоставлены самим себе. Тут где-то проходит граница между Китаем и Индией. Где? Никто толком не знает. Геодезические инструменты и «землемерие», то есть геометрия, рожденная в Египте, еще не бывали в этих местах. Еще ничему не было полагаемо здесь никаких пределов. Вот идет еще караван — то идут паломники в Мекку. Это действительно настоящее путешествие в Мекку.

Вероятно, о таких путешественниках молится православная церковь в своих ектеньях «о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих»... Путешествия, которые, как болезни и недуги, трудны и близки к смерти. Эти путеше-

ствия через пустыни ведь не наши путешествия по железным дорогам, когда нужно только купить билет и под дыхание стальных ритмов, покачиваясь на мягких диванах, смотреть, как кружатся, мелькают мимо в хрустальных стеклах города, деревни, леса, пустыни и реки. Нет, тут пути встают перед людьми в той мере, в какой приспособлены люди самой природой к тому, чтобы естественным шагом проползать по этим невообразимым пространствам, видя воочию колоссальные протяжения нашей планеты. И поэтому люди в пустыне так рады друг другу...

Караваны, идущие в Мекку за зеленой чалмой, за титулом «хаджи», сходятся на ночлеги — легче обороняться от тайных неожиданных неприятностей; люди сидят там на ночевках за алым сиянием костра, под звездным синим небом, оказывая друг другу мелкие услуги и то и дело подымая перед огнем свои растопыренные десять пальцев — знак утверждения. Идут рассказы о каких-то необыкновенных событиях. Тут сидят ладакцы, кашмирцы, афганцы, тибетцы, асторцы, балтистанцы, монголы, сарты, китайцы — весь тот мир, который бродит пока еще караванами вдали от железных дорог, проложенных по земле, вдали от стальных дорог, проложенных точными науками в мышлении, вдали от галопирующего времени современности. И у каждого есть свой рассказ, продуманный, разукрашенный, оснащенный в молчании пустыни.

Великолепны пейзажи, великолепны и образы, которые путник видит в этих местах.

Вот едет всадник, и на поднятой высоко руке у него сидит с колпачком на глазах охотничий ястреб, сокол. Это — охотник, тот самый охотник, который столь близок к природе, который возбуждает зависть в нас, людях «цивилизации», и теперь так же, как вызвал ее в культурном величайшем поэте Китая Ли Тай-бо* тысячу двести лет тому назад:

Вино, что он вкушает, как огонь,
И, выпив чару, на коня садится
И мчится с соколом в широкий мир.
О, как тяжел его огромный лук,
Натянутый чудовищною силой,
Он пару птиц сажает на стрелу!
А мы? А мы? Ученые мы люди,
Сидим весь век, согнувшись в душном доме,
От пыльных книг седеют волоса,
А мир за стенами зовет нас, мы не слышим.

---

* Ли Тай-бо — поэт Танской династии (617—907).

А вот еще. Догоняет караван одинокий всадник-певец, бакши, с длинной ситарой у седла.— Бакши, спой нам! — И поводья брошены, и тихое молчание пустыни, и караван бредет, слушая песнь о Шабистане, о сказочной стране, о прекрасных царевнах, о добрых, о злых волшебницах. Словно тысячелетний облик Шехерезады вздымается медленно над путником. Не о таких ли странствиях мечтал олимпиец Гёте, какие совершил русских художник Рерих?

Азия — это мир, мир чрезвычайно устойчивый, мир древний. Это мир целый, заключенный в себе, доведенный до единицы. Все имеется в этом мире: и горе, и радость, и добро, и зло,— и все полной мерой.

Там эти различия не затянуты узором цивилизации, обширными массами выработанных понятий, обычаев и прочих усложнений жизни. Зло если имеется в Азии, то тоже в обнаженном виде.

Зато и добро — тоже в виде неприкрытом, в виде своем основом и извечном.

Бесстрастно художник отмечает картины зла, которые он видит в Азии. «Азиатчина!» — скажем мы привычным выражением.

Вот эти картинки:

Высокие ламы на освященных четках ведут коммерческие расчеты.

Ветром, силой воды и даже часовыми механизмами крутятся молитвенные колеса, освобождая своих хозяев от скучного процесса личных молитв.

Буддизм запрещает убивать животных. Но ведь можно загнать животное на высокую скалу, откуда оно падает и убивается и идет тогда в продажу!

Вот лама, торгующий вином, спаивающий народ, хотя сам никогда не пьет. Около священных мендангов и храмов валяются дохлые собаки, священные надписи запачканы человеческими испражнениями.

Около Лхасы место, на котором трупы рассекаются и бросаются на съедение птицам, собакам, свиньям. На этом месте принято валяться в голом виде — «для сохранения здоровья».

Тибетцы считают, что человек, отравивший человека высокого положения, получает на себя все счастье отшедшего. Поэтому в Тибете нужно быть осторожным с питьем или пищей: могут отравить, ничего не имея лично против вас. И т. д. И вместе с тем есть в Азии нечто извечное, крепкое,

основное, тайное, которое просвечивает сквозь старые обычаи, отупевшие в своем мертвом консерватизме.

«Стетсмэн», английская газета в Индии, рассказывает со слов одного английского майора:

«Во время путешествия в Гималаях однажды до зари этот майор из лагеря вышел на соседний утес. Он смотрел на снежные горы, и вдруг на соседнем неприступном утесе он увидал нагого высокого человека, который стоял, опершись на длинный лук. Затем могучими прыжками этот незнакомец бросился вниз по почти отвесным скалам и исчез. На расспросы майора ему местными жителями и его слугами было отвечено:

— Это снежный человек, который охраняет заповедную страну».

Если в Европе существует некая вера в неистощимые силы Матери Природы, законы которой познаются наукой и на основании которых, применяя их, создаются новые, культурные изобретения, усовершенствующие жизнь, в Азии существуют тоже убеждения, что такие великие силы есть, но что они доступны для познания не извне, от опыта, а изнутри, из конгениального соприкосновения с ними.

Один лама говорил Рериху:

«Есть в некоторых гималайских областях священные ашрамы — храмы мудрых Махатм Благословенных. Эти Махатмы управляют внутренними силами природы, направляющими нашу жизнь»*

Эта невидимая связь вещей и жизни Азии проникает и в русскую жизнь, пишет Рерих. У алтайских староверов, где до сих пор почти хранится старая вера и живописный быт XVII века, женщины до революции ходили в кокошниках и в сарафанах, молились старым иконам, хранили свои обычаи, молитвы. И в XIX веке к этим староверам пришла весть:

— В далеких странах, за великими озерами, за высокими горами находится место, где живет высшая справедливость, правильная вера и спасенье всего человечества. И это место есть Беловодье... И нет там ересей, расколов, грабежа, убийств — есть вера праведная.

В Сиккиме слышал Рерих от ламы такое поучение:

«Священны талисманы. Мать много раз просила сына принести ей священное изображение Будды. Но молодец забывал просьбу матери. Говорит она: «Вот умру перед тобою, если не принесешь теперь мне». Но побывал сынок в Лхасе и опять забыл материнскую просьбу. Уже за полдня езды до до-

* Сердце Азии, стр. 18.

му он вспомнил. Но где же в пустыне найти священные предметы? Нет ничего. Вот видит путник череп собачий. Вынул зуб собаки, обернул желтым шелком. Везет к дому. Спрашивает старая: «Не забыл ли, сынок, мою последнюю просьбу?» Подает ей зуб собачий и говорит: «Это зуб Будды». И кладет мать зуб на божницу и творит перед ним священные молитвы и обращает свои помыслы к святыне. И сделалось чудо. Начал светиться зуб чистыми лучами, и произошли от него чудеса»*.

Мудрое и проникновенное сказание. И у Короленко в его «Путешествии к уральским казакам» мы читаем о Беловодье, о святой вере в него и о том, что оттуда являлся даже некий Аркадий, епископ Беловодского ставленья, жил на Урале «с мечтой», с верой, с энергией. Известно было, что судился неоднократно, но вообще же его прошлое было неизвестно. Поставил он на Урале двух попов и архимандрита.

На испытующий вопрос к архимандриту о. Израилю: «как же вы ему поверили?» — тот ответил притчей, вот она:

«Некогда были посланы два старца от христиан на поклонение святыням и должны были принести с собой кусочки святыни. И забыли те старцы сделать это. И на пути обратном один сказал: «Возьмем вещицу наподобие святыни и скажем: вот принесли от святых мест». И от нее, по чистой вере, получались исцеления, прозрения, пока не признались старцы. Тогда «отрада быть прекратилась». Так я верю страшным клятвам Аркадия, что он принял сан патриарха Мелетия в Беловодье. Когда признается — откажусь от него, а пока начисто совести верю, верю Евангельской клятве и надеюсь получить душе спасение...»**

Когда, как прикочевала из Азии эта легенда, какими путями?

Седобородый старовер говорит:

«Отсюда пойдешь между Иртышом и Аргунью. Трудный путь, но коли не затеряешься, то придешь к соленым озерам. Много уже людей погибло в них. И дойдешь до гор Богогорше, а от них дорога еще труднее. И коли осилишь ее — придешь в Кокуши. А потом возьми путь через самый Ергор, к самой снежной стране, а за высокими горами будет снежная долина. Там оно и есть, Беловодье».

И тоже слыхал Рерих повесть о том, как недавно умер в Костроме старый монах и была у него найдена рукопись со

---

* Сердце Азии, стр. 18.

** В. Г. Короленко, т. VI, стр. 180.

многими указаниями об учениях благочестия в Азии...*

Есть общая вера в России и в Азии, есть общая древнейшая убежденность в том, что есть настоящая, сильная Правда, что есть откровения миров иных и в нашей печальной юдоли. Православный верит в то, что сам Христос ходит по земле, водворяет истинную праведность, за которую и сгореть в срубе не жалко... И будет день, когда настанет второе пришествие. А что же говорит Азия? Она тоже ждет гонцов, тоже ждет Мессию. Она дышит учением: Будда приходит периодически. Был Шакья Муни, теперь мир ждет пришествия Майтрейи, в санскритском произношении — «милосердного», Ми Ло-фу — в китайском. Его пришествие означит начатие новой эры в жизни людей.

Рерих приводит тибетские пророчества о пришествии этого Мессии Азии:

«Сокровище с Запада возвращается. По горам зажигаются огни радости. Дается срок, когда расстелить ковер ожидания.

Знаками семи звезд открою врата.
Огнем явлю моих посланных...

Когда вы стережете стадо, не слышите ли вы голоса в камнях? Это работники Майтрейи готовят для вас сокровища.

Когда ветер свистит в ковыле, понимаете ли, что это стрелы Майтрейи летят на защиту?

Когда молния озаряет ваши улусы, знаете ли, что это свет желанного Майтрейи?»**

Таковы голоса Азии, которая, древнейшая из частей света в человеческой истории, полна и сейчас каких-то неслыханных возможностей. Азия просыпается, Азия создает в себе великие силы, и они бродят в ее душе в форме каких-то прекрасных образов, умеющих воплотиться в великие силы.

Эти образы, они первичны, просты, основны, значат для всего человечества, которому еще камни, стекла, электрический свет и дым городов не застлали сознания черной пеленой машинного мира... Азия в своей нетронутости своего основного человеческого сознания показывает, что сильны эти зовы, зовы к новой и прекрасной, божественной жизни даже там, даже в стране «косности и застоя».

И эту быль вплотную придвигает к нам Рерих, дополняя, укрепляя наше сознание.

Россия выявляет эти новые зовы, эти новые формы жизни. Они рано или поздно преобразуют Азию, весь мир. И кому же

---

* Сердце Азии, стр. 111.

** Там же, стр. 94.

учуять эти зовы, как не Рериху с его интуицией, напряженной, как молния! Кому же передать эти образы для видения всем людям, образы благословляющие, зовущие, примиряющие, образы, которые издавна предчувствовала православная Россия, как не художнику Рериху!

Из экспедиции в Азию 1923—29 гг. Рерих привез сотни картин, которые выявляют сущность его идеи. И каких удивительных картин! Уже давно, в 1915 году, писал он пророческую картину свою «Границы царства»... Там высятся горные вершины, незнаемые, неведомые, которые только мерещились творческому сознанию гениального художника. И вот он в Азии, он увидал их воочию. Это — Гималаи, Беловодье, священная земля,. к которой тянулась его русская душа в полном и интимном соприкосновении со своей культурой русской.

Книга «Гималаи»* дает нам, к сожалению, только в репродукциях представление об этой невероятной, неистовой красоте тех мест, где природа остается природой, хотя и дикой, где люди являются нам людьми, хотя и дикими. Большинство этих картин Рериха находится в его музее в Нью-Йорке, часть же — в его имении в Гималаях, где он создал институт по изучению Гималаев и Востока. И краски Рериха, эти плавленые чистейшие драгоценные камни, накладываемые на полотно его кистью, говорят, поют, звучат целыми симфониями реальной красоты, которой еще не знавал мир.

Вот некоторые из этих образов: в глубокое горное ущелье такой характерной, осторожной горной повадкой сходит конь, несущий на себе драгоценный груз — чашу с пылающим над ней розовым пламенем, этот восточный Грааль. Аметистовые, синие и коричневые тона ущелья сверху озарены пылающими отблесками розовых снегов... Внизу глубокое лиловое озеро. И у скал намечены каменные лица, они тоже живут, эти скалы тоже дышат, тоже проясняются розовым огнем чаши.

На этих последних картинах Рериха человеческие фигурки как-то нарочито малы. Видно, что настоящие-то души Рериха скрыты именно в этих массивных, с дольменами схожих, смутных очертаниях самих скал, гор, души которых еще, подобно скульптурам Родена, не вырвались из камня, а погружены в него. Это, вероятно, и есть подлинный мир Рериха, к которому он обращает свои аспекты души, с ним он говорит, это Матерь земли.

Вот еще картина Рериха: в молчании изумительно по колориту синей звездной ночи восседает в синем одеянии, скрытая синим же куполом, некая Владычица. Звезды обтека-

---

* Сердце Азии, 1928, изд. Брентано.

ют ее, Б. Медведица, Сириус и Орион горят над ней, вращаясь вокруг. На скале сидит она, подобно тому как Богоматерь восседала на абсиде храма в Талашкине над рекой Жизни... Здесь образ Матери восседает на скале, на монолите колоссальном, погруженном в синие воды. Нет здесь людей, проплывают мимо три рыбы золотых и тонких, держат свой путь, указывая на молчание этих вод... Глубже, в подземелья человеческих толщ, в души человеческих массивов, идет творчество Рериха и выявляет то, что ему удалось подсмотреть, как когда-то Моисею на Синае,— душу, стремления ее — душу каменных миров, персти базальтов, гранитов, душу Азии, тонкую и нежную, как звоны серебряных струн.

Рерих нашел эту душу Азии. Пространства ее раскрылись в синтезе художника, падающем как молния с неба и до земли. И какими словами можно характеризовать то, что показал Рерих человечеству? Эти молчания, мимо которых пробегают экспрессы наших шумных, но пустых дней.

Это и есть настоящая сущность мира, культуры, цивилизации, которая открывает искусство. И сущность эта — Добро.

А та «культура», которой живет человечество?

Должно быть, только мнимая культура. И Рерих перекликается с великим духом далекой Эллады, с божественным Платоном.

В прелюдии, в вводной части к «Пиру», говорит Аполлодор, почитатель Сократа, возбужденно и страстно своим друзьям:

«Когда возникает философский разговор, который я сам могу вести или хотя бы только прислушиваться к нему,— я всегда рад, да, кроме того, это и полезно... А вот когда мне приходится присутствовать при тех беседах, которые ведете вы, мои друзья, вы, богаты, и вы, деловые люди, то недовольство охватывает меня, а кроме того, о друзья,— сожаление: вы воображаете, что вы творите там, где вы ничего не делаете!»

Слова эти Платона втуне лежали многие века. Ныне как будто человечество начинает понимать, что так называемые «дела» в сущности — безделье. Настоящее же дело — это постижение жизни, а как это делается, показал нам и всему миру Рерих. И вот почему он обращается ко всему миру со страстным призывным кличем:

«Берегите, берегите прежде всего не материальные блага, а искусство. Искусство учит нас интуитивно. Идет эра искусства, эра нового, правильного, не механического постижения жизни».

Знамя мира

Кристалломант в своем хрустальном шаре видит, говорят, всю сущность любой жизни.

Рерих видит бьющееся в пустынях Азии сердце мира через искусство. Никогда еще в мире в такой степени искусство не входило в решение проблем о культуре. На эту роль претендовала наука, политика, даже революция, сила, но не искусство.

Искусством своим Рерих решает величайшую проблему.

В чем же заключается эта проблема?

Отдельная личность — временна и потому — конечна; род движет свои веления, повелевает личности, эти веления глухи, неясны, но сильны. А мир объединяет и личность, и род, все поглощая в своем великом, неясном универсализме.

Привязанные к конечным земным вещам, мыслящие ограниченно — протяженными образами (ведь даже в логике мы употребляем пространственные образы, как-то: «фигуры» силлогизма, «объемы» и «распределение» понятий), мы не можем мыслить объединения, пределы коего в бесконечности. А стало быть, мы не можем и постичь такого объединения. Только искусство выводит нас из этого замкнутого круга нашего существования, только оно дает нам крылья, отрывает нас от силы этого земного притяжения, а также и от границ пространственно-временных, показывая бескрайние, не выразимые словами перспективы.

Россия первая из всего мира сознала это объединительное значение искусства. Все взлеты, все падения своей изумительной судьбы, все ее чаяния, предчувствия ее души, ее пророческие вдохновения черпала она из искусства. Быть может, от этого ее судьба тяжелее, нежели она могла быть; если бы они опирались на твердые и незыблемые понятия, наша страна не знала бы таких испытаний, которые она узнала. Но судьбы мира неисповедимы.

XIX век дал России гениальных мастеров во всех областях искусства, двинувших ее по пути неограничительного самопознания.

И это устремление русского народного духа через искусство идет к провозглашению идеи человечества. Наши худож-

ники, поэты, литераторы, романисты решили эту проблему не так, как ее решил Запад.

Там, на Западе, объединение великое мыслилось через огранку, через формовку отдельной выкованной в праве личности. В его постановке и формулировке превалирует значение организации.

Русский метод объединительного действа не таков. Он основан на едином порыве, взлете, зове всех к объединению, к всеобщности, в которой должна сохраниться вся пестрота, многообразие человеческих выявлений.

Эта идея — идея Вселенности. Данная через искусство в своей ослепительной эстетической и моральной наглядности, избавленная от механического мышления в понятиях, заводящего в тупик конечного, эта идея совершенно, неотразимо бесспорна.

И Рерих означает своей деятельностью в сущности начало совершенно новой эпохи в жизни человечества. До него понятие культуры строили экономисты, свойственным им научным методом. Его строили философы, со всеми разнообразиями подхода к нему. Его, наконец, строили историки, трактовавшие его то как эсхатологические, последние цели человечества, то как «выводы» из наблюдаемых фактов.

И всем нам известно, какое разноречие являлось именно вследствие такого подхода к этому предмету нашего знания. Всякий трактовал проблему культуры по-своему. У всех она носила разные определения. А дело не в определениях, а в наглядных созерцаниях.

Ведь из сухого понятия, положим, «всесовершенства» никак не удается «вывинтить» всю красоту Божьего мира, всю его радость, всю его скорбь, все его безобразие и хаос, наравне с его космосом, красотою. Высшие, отвлеченные понятия Спинозы потому только и жизненны, что они полны созерцания и внутреннего пафоса.

Красота, стремление к красоте — вот что несомненно, что бесспорно. Красота ясна, она признается всеми народами; даже национальные, т. е. изолированные красоты одного народа принимаются другим народом совершенно безо всякого давления и без всякого сопротивления. Не слышно было что-то войн из-за «наследства красоты». Что оставили после себя бесспорно такие народы, исчезнувшие на нашей памяти, как Рим, Эллада, Византия, кроме красоты? И что так действенно, бессмертно, бесспорно, трогательно, как эти античные формы где-нибудь на площади провинциального русского городка николаевских времен?

И недаром пророчески сказано было Федором Михайловичем Достоевским:

«Красота спасет мир».

Носите в мир красоту, показывайте ее во всех ее видах, воспитывайте в ней новые поколения, и многое, очень многое исполнится. Красота берется здесь в формальном значении. Наполните ее каким угодно подлинным содержанием.

И Рерих, как мы видели, своими трудами стремится к этому. Он ищет красоту во всех временах, у всех народов. Своими выступлениями он несет красоту к массам. Он пропагандирует ее во всех кругах, с которыми он только соприкасается. И в селе Талашкине и в Императорском обществе поощрения художеств он — педагог, он — руководитель, он сеет посевы Красоты.

Красота спасет мир, а спасение мира и есть Добро.

Громадные задачи. Бесконечные перспективы. Колоссальные идеи, оплодотворяющие будущее. Новые пути человеческого совершенствования. Идеи тонкие, как паутина, но идеи более крепкие, нежели железо и сталь.

Великую песнь запевает полным голосом Рерих, и голос его звучит на весь мир. Это — песня о Культуре, песня, в дни современных кризисов и разрывов показывающая человечеству новые пути.

Но мало одних песен для Рериха; он русский, значит, он идеалистичен и практичен, значит, он не смотрит на идею как на «заданную», он жаждет ее практического воплощения. Как же можно вести это дело практически?

И Рерих мудро и осторожно утверждает первый путь к этому: прежде всего нужно охранять уже раз созданную, стало быть, явившуюся в мир красоту.

Дело в том, что человечество не только строит; в большей степени оно и разрушает. Войны, эти настоящие бедствия, ураганы человеческой ненависти, истребляют, уничтожают нажитое столь большими трудами. В мировой войне погиб Реймсский собор, погибла библиотека Лувенского университета, погибли невознаградимые сокровища, научные и художественные. А русская революция — сколько сокровищ она погубила! Эти расплавленные на драгоценный металл еще более драгоценные образцы древнего творчества, в которых выразились извечные стремления человеческой души к красоте, эти разрушенные памятники, эти простреленные башни Кремля.

Конечно, было бы просто пустым мечтанием думать, что как-нибудь можно предотвратить эти войны, как и избавить

человечество от революций. Еще много надо пройти человечеству по пути просвещения, чтобы избыть эти страшные навыки — делать военные статьи своего бюджета крупнее статей по просвещению. И Рерих выдвигает проект международного договора, по которому принявшие его разные страны должны принимать все зависящие от них меры, дабы в разные случаи войны и прочих событий памятники искусства и науки щадились бы так, как это только возможно.

«Высокие Договаривающиеся Стороны,— читаем мы в проекте этого договора,— те, чьи высшие обязанности налагают на них священный долг содействовать моральному благосостоянию своих наций к успеху Наук и Искусства,

— те, чьи учреждения, предназначенные образованию юношества Искусствам и Наукам, составляют общественное сокровище всех наций мира,

— припоминая идеи, вдохновленные мудрым и великодушным предвидением, которое привело Высокие Договаривающиеся Стороны к учреждению Женевской конвенции 22 августа 1864 года об улучшении участи раненых (Красный Крест),

— главный акт Конференции в Берлине в феврале 1889 года, который дает право на особое покровительство, оказываемое научным экспедициям.

— И другие —

— решили заключить торжественный договор для улучшения охраны, принятой на себя во всех цивилизованных странах, Учреждений и Миссий, предназначенных Наукам и Искусствам и художественным и научным Коллекциям.

И назначенные для этой цели уполномоченные, которые предъявили один другому все их полномочия в надлежащем виде, пришли к следующему:

Статья I

Образовательные, художественные и научные Учреждения, художественные и научные миссии, персонал и имущество и коллекции таких Учреждений и Миссий будут считаться нейтральными и как таковые будут уважаемы воюющими.

Покровительство и уважение в отношении вышеназванных Учреждений и Миссий во всех местах будут подчинены верховной власти Высоких Договаривающихся Сторон без всякого различия от государственной принадлежности какого-либо отдельного Учреждения или Миссии.

Статья II

Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон имеет представить в регистратуру Постоянного Суда Международного Правосудия в Гааге, в Международный Институт Интеллектуальной Кооперации в Париже или в Образовательный Департамент Всеамериканского Союза в г. Вашингтоне, по выбору,— список Учреждений, Коллекций и Миссий, общественных или частных, которые желательно поставить под особенное покровительство, оказываемое настоящим договором.

Учреждения, Коллекции или Миссии могут, таким образом, выставить отличительный флаг свой (красная окружность на белом фоне, с тремя кругами в середине), который даст право на особенное покровительство и уважение со стороны воюющих государств и народов Высоких Договаривающихся Сторон.

Вышеназванные Учреждения, однако, Коллекции и Миссии перестанут пользоваться своими привилегиями нейтралитета в том случае, если они использованы для военных целей.

Статья III

В случае какого-либо акта, совершенного против защиты и уважения к этим учреждениям, как постановлено в настоящем договоре, потерпевшие имеют право апеллировать через посредничество своего государства в Международное Учреждение, где оно было зарегистрировано. Это Международное Учреждение имеет передать свой протест к сведению всех Высоких Сторон, которые могут решить созвать Международный Комитет Судебного Следствия по этому делу. Приговоры такого Комитета будут опубликованы».

Таково в общих и подлинных словах содержание этого замечательного документа, задуманного тридцать два года тому назад в России и выдвинутого по мысли Н. К. Рериха «Музеем Рериха» в Нью-Йорке в 1931 году.

Но этот документ — ничто, пока он не подписан, и представляет из себя огромную значительность, когда эти подписи в нем поставлены.

Чьи подписи?

Как уже сказано, под ним должны быть подписи всех цивилизованных стран мира. Всех, где чтут науки и искусства и признают их общечеловеческий, всем нужный характер.

И начинается огромная работа рериховских организаций, различных обществ имени Рериха по воплощению в жизнь этого договора. Начинаются призывы — утвердить, так сказать, «флаг Красного Креста» не только для людей, не участвующих уже непосредственно в войне, за ранением, болезнью и т. д., а для результатов творчества этих людей. «Война пройдет, а искусство останется» — вот формула, которая передает всю правильность этого документа. Так нечего же временным наносить ущерб вневременному.

Это дело Рериха, опять-таки соединенное с его практицизмом, строится, растет, расширяется. Оно, собственно, создано не впервые — в 1901 году. Уже в 1902 году, после поездки по России, Рерих сделал сообщение в Об-ве русских архитекторов, указывая, насколько такое объединенное охранение памятников необходимо для русской Культуры.

Затем, во время Великой войны, академик Рерих делает об этом же личный доклад правительству, а также и Верховному Главнокомандующему. Эти доклады были выслушаны с большим вниманием, но события помешали воплотить их в жизнь.

С 1929 года, с возвращением из эспедиции по Азии, Рерихом вновь разрабатываются эти же мысли. Для этого уже имеются большие возможности, в виде обществ Рериха, раскиданных по всему миру. Список этих обществ в последнее время обнимает уже 87 названий в 24 государствах. Собираются две международные конференции по вопросу проектируемого договора об охране культурных ценностей; две эти конференции собираются сперва в Бельгии, а затем третья в 1933 году в Вашингтоне — в Америке.

После этих конференций началась эра систематического ратифицирования разными государствами этого договора. В целом ряде стран, как-то: в Америке, во Франции, в Бельгии, в Латвии — белое знамя трех красных кругов в одном, этого символа объединения в разности, поднимается над некоторыми обществами и учебными учреждениями.

Затем последовал целый ряд ратификаций отдельных стран этого «пакта Рериха», как его принято называть.

В настоящее время этот документ признан рядом государств — Панама, Гондурас, Эквадор, Чили, Уругвай, Гватемала, Перу, Бразилия и др.

15 апреля 1935 года принесло большое торжество друзьям, толпящимся у этого знамени Культуры. Президент САС Рузвельт подписал и скрепил этот документ от имени Америки, утвердив, таким образом, участие в нем, в охране культур-

ных ценностей, Великой заокеанской республики! Несомненно, что впереди идут новые и новые подобные утверждения. Уже 21 страна!

Таким образом, идея, родившаяся в русском художнике Рерихе 32 года тому назад, в русской обстановке, от горестных размышлений над русским небрежением нашими культурными ценностями, идея зова к охране добрых плодов деятельности человеческого духа, приобрела вселенское значение. Зов Рериха слышен теперь по всему миру, зов энергичный, настойчивый, безнасильный и неотвязный, зов, который будит людей и говорит им:

— Так же нельзя. Больше внимательности, больше любви, больше симпатии друг к другу. Жизнь не только борьба всех против всех, но и человеческое сотрудничество. А сотрудничество — это Культура.

* * *

Вся деятельная жизнь Рериха, выросшая из русской земли, есть постоянное и полезное, настойчивое и доброжелательное строительство. Недаром он часто повторяет в своих писаниях французскую поговорку:

«Когда постройка идет — все идет».

Эта поговорка недаром пришлась так Рериху по душе: она встретилась в ней с тем ритмом строительства, который звенит в картине его «Город строят». Не в том дело, какой строят вот этот город — Сапожок или Торжок, а дело в том, что строят, строят, над косностью и притяжением материи вздымают новый дом, выводят отвесные стены, украшают крышу, стеклами закрывают от непогод, создают условия к размышлению, к совершенствованию, к добру бесконечному.

И такой зов к строительству, зов из уст великого художника, то есть человека, творящего не «рассказом», а «показом», впервые раздается на нашей планете. Еще не было такого подхода к изображению, воплощению человеческой культуры. Среди передряг и устремлений к разрозненности в мире, среди угроз войны и непрестанных вооружений, среди договоров, которые создаются лишь для того, чтобы выиграть время, а потом сказать: «клочки бумаги»,— раздается голос Рериха, зовущий к миру.

К миру, не к тишине, не к спокойствию, не ленивому прозябанию в своих отдельных норах. К миру, как к условию непрерывного творчества, к миру, как к уважению к тому,

что не всегда можно пощупать руками, что не всегда «материально», но что всегда звенит и благовестит в нашей душе.

Этот зов — никогда не забудем — подымается из России, подымается русским художником, подымается человеком, впитавшем в себя всю силу культуры России и претворяющим ее по-новому, дабы идти к просвещению мира. И в то время как в эмиграции нашей соль и мозг — интеллигенция тратит лишь время и жизнь на бессильные скорби,— Рерих идет в непрерывном темпе творчества выше и выше. И он говорит:

— Мы вовсе не мечтатели, но работники жизни, и наше посольство в том, что мы стремимся сказать народу: «Помни о Красоте, не изгоняй ее облика из жизни, зови действенно и других к этой трапезе радости.

А увидишь союзников, не отгоняй их, зови на мирное, необъятное поле труда и созидания».

Пойдут ли народы на это поле? Конечно, пойдут. Но разве в этом походе дело? Только в поле? Нет, дело еще в некоем внутреннем преломлении:

Волнением весь расцвеченный,
Мальчик принес весть благую
О том, что пойдут все на гору,
О сдвиге народа велели сказать.
Добрая весть, но, мой милый,
Маленький вестник, скорей
Слово одно замени:
— Когда ты дальше пойдешь,
Ты назовешь твою светлую
Новость не сдвигом,
Но скажешь ты:
— Подвиг.

Жизнь — это подвиг, и недаром в историческом русском народе самые жизненные, самые глубокие люди — это подвижники, люди, отдавшиеся подвигу. Знаменательно, что ни в одном иностранном языке нет этого слова, точно соответствовавшего бы слову «подвиг».

И Николай Константинович Рерих и несет свой русский подвиг, несет, все время его бескрайно расширяя, утверждая, двигая бодро вперед, в дни тяжелых испытаний русского народа не теряя ни энергии, ни времени.

И в этом подвиге Рериха — вся русская Культура, нашедшая новые пути к своему небывалому расширению.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕРИХ — ХУДОЖНИК-МЫСЛИТЕЛЬ